

Ежемесячный
литературно-художественный журнал



ПОДЪЁМ

Издается
с января 1931 года

Главный редактор
Иван ЩЕЛОКОВ

Редколлегия:

АВРУТИН А.Ю. (Минск, Беларусь)
АГЕЕВ Б.П. (Курск)
АКАТКИН В.М.
АРШАНСКИЙ В.С. (Мичуринск)
БОНДАРЕВ Ю.В. (Москва)
ЖИХАРЕВ В.И.
ИВАНОВ Г.В. (Москва)
КАН Д.Е. (Новокуйбышевск)
КОНДРАТЕНКО А.И. (Орел)
ЛАПИН А.А.
ЛЮТЫЙ В.Д. — заместитель главного редактора
МИЗГУЛИН Д.А. (Ханты-Мансийск)
МОЛЧАНОВ В.Е. (Белгород)
НЕСТРУГИН А.Г.
НИКИТИН В.Н.
НОВИЧИХИН Е.Г.
НОВОХАТСКИЙ В.Е. — ответственный секретарь
ПАВЛОВ Ю.М. (Армавир)
ПЕРМИНОВ Ю.П. (Омск)
ПОНОМАРЁВ А.А. (Липецк)
РОМАНОВСКИЙ А.Г. (Харьков, Украина)
СКИФ В.П. (Иркутск)
СЫРНЕВА С.А. (Киров)
СЫЧЁВА Л.А. (Москва)
ШАЦКОВ А.В. (Москва)
ШЕМШУЧЕНКО В.И. (Санкт-Петербург)
ЯКУНИНА Г.П. (Владивосток)

Воронеж

6 ■ 2015



В НОМЕРЕ:

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА	Иван АЛЕЙНИК, глава администрации Россошанского муниципального района. Год литературы — каждый день 5
ПРОЗА	Петр ЧАЛЫЙ. Окрасился месяц багрянцем. Повесть .. 11 Леонид ЮЖАНИНОВ. Подсолнухи. Рассказы 55 Валентина ФИСАЙ. Только не бойся. Рассказ 73 Марина ВЕНДЕЛОВСКАЯ. Отец. Отрывок из повести 82 Иван КВЕТКИН. Выстрел после дождя. Рассказ-быль ... 93
ПОЭЗИЯ	Светлана ЛЯШОВА. Неосторожно задевая сердцем. Стихи 8 Рита ОДИНОКОВА. Второе рождение. Стихи 52 Алексей ШАПОВАЛОВ. Воспаленными губами. Стихи .. 70 Виктор БЕЛИКОВ. Синие вьюнки. Стихи 79 Светлана РЕДЬКО. На пяточке земли. Стихи 90 Николай ДОЛИНСКИЙ. Речные острова. Стихи 97 Раиса ДЕРИКОТ. На перекрестке двух дорог. Стихи ... 140 Татьяна ВОРОБЬЁВА. Ночной побег. Стихи 159 Артур КТЕЯНЦ. Тонкий холст. Стихи 177 Домик белокаменный. Стихи росошанских поэтов ... 187 Южный ветер. Стихи членов литературного клуба «Малая Медведица» 207
ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ	Виктор БУДАКОВ. Сквозь годы увидеть лица. Беседы о жизни и литературе с Владимиром Кораблиновым 99
СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ	Алим МОРОЗОВ. Экипаж машины боевой. Уникальный танковый рейд лейтенанта Цыганка 143

СУДЬБЫ	Татьяна МАЛЮТИНА, Петр ЧАЛЫЙ. Сражались не за ордена 162
ИСТОКИ	Галина ПЕТРИЕВА. Светлые кринички. Миниатюры .. 181
ИМЕНА	Виктор БЕЛИКОВ. «Печаль и благодать» поэта. Жизнь и творчество Михаила Тимошечкина 196 Евгений КАРПОВ. Наш храм. (<i>Предисловие Петра ЧАЛОГО</i>) 202
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН	Николай ТИМОФЕЕВ. Чистый свет в нашей жизни. Из творческой истории Россошанской актерской молодежной студии 210
ДАЛЕКОЕ- БЛИЗКОЕ	Иван ХАРИЧЕВ. Калитва — у порога и окрест. Страницы летописи старейшего придонского села .. 216
ОТЧИЙ КРАЙ	Алексей ДЕВЯТКО. Рядом с древностями. Необычные экспонаты из сельского музея 221

В номере использованы фотографии и фоторепродукции
Светланы Паршиковой

Подписные индексы: агентство «Роспечать» 73312; МАП 51228

Сайт журнала: <http://www.podiemvrn.ru>

В лазоревом поле — золотой цветок



В лазоревом поле сверху — золотой, с черными семенами, цветок подсолнуха между двумя золотыми же головками колосьев; внизу — серебряное выгнутое опрокинутое и вписанное стропило, сопровождаемое между плечами тремя безантами того же металла — один и два; поле ниже стропила зеленое.



Иван Алейник,
*глава администрации
Россошанского
муниципального района
Воронежской области*

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ — КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В Российской Федерации нынешний 2015-й год Указом Президента России Владимира Владимировича Путина объявлен Годом литературы — «в целях привлечения внимания общественности к книге и чтению».

Такое решение принято не случайно.

Осталось еще в памяти многих, как не без оснований гордились, что мы самая читающая в мире страна. Сейчас все обстоит иначе. Книгу теснят компьютерные сети и телевизор с видеофильмами. Теснят, правда, но пока не заменяют. Беда в другом. На прилавках и библиотечных полках нередко плещется «разливанное» море низкопробной литературы, которая не формирует душу читателя, а напротив — расформирует ее. Под хитроватым объяснением — мол, спрос диктует рынок — творится, по сути, подмена истинных жизненных ценностей мнимыми.

А поскольку этому противостоит русская классика — основа учебных общеобразовательных программ по курсу литературы, то ей и достается больше всего. Золотой фонд отечественной культуры сбрасывают с «парохода современности». Малоизвестные критики распинают писателей, чьи имена — гордость наша. Немалыми тиражами печатаются «образцы» школьных сочинений, краткие пересказы изучаемых книг и им подобные «пособия» сомнительного качества. Тем самым не облегчается учение, а отупляется, оглушается ученик.

Трудно в такой обстановке не растеряться учителю отечественной словесности, библиотекарям и родителям. Как же не отвратить, а приучить ребят да и взрослых к осмысленному чтению? Как проложить тропинку к настоящей книге — «учебнику жизни», чтобы она не зарастала, а оставалась необходимой твоим воспитанникам, читателям, сыну или дочери? Чтобы они уже сами могли находить и ценить литературу, пробуждающую и утверждающую человеческое в человеке.

Обращаюсь к собственному жизненному опыту. Учился я в школе села Копанная Ольховатского района. Моя первая учительница Анна Михайловна Жиленко выделяла тех, кто быстрее других начинал уверенно читать. Дошел черед до меня, когда она сказала: «Иди, записывайся в сельскую библиотеку». Первую книгу выбрал на книжной полке — «Пепе — маленький кубинец». Шли шестидесятые годы. О небольшом острове Куба у берегов могущественных Соединенных Штатов Америки тогда говорили все, слагали песни. Народ небольшой латиноамериканской страны избавился от колониальной зависимости. Герой книги — мальчик Пепе — тоже участвовал вместе со взрослыми в борьбе за то, чтобы его родина стала островом Свободы. А дальше с таким же упоением я читал книги о юных героях Великой Отечественной войны — Лене Голикове, Марате Казее, Вале Котике, Зине Портновой. Они становились подпольщиками, партизанами, не жалели себя в боях с фашистами. И мы хотели на них походить...

В старших классах увлекся Пушкиным, читал Лермонтова, Тургенева. Особенно нравился Николай Васильевич Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» будто написаны о нашем селе, где рядом жили русские и украинцы. Наверное, с той поры пристрастился и к краеведческой литературе.

Книга приучала к родной отечественной культуре.

Потянулся к исторической литературе, как, впрочем, и современной. У сельского инженера, председателя колхоза, советского и партийного работника, кем пришлось мне трудиться, дел и забот было невпроворот. Но всегда под рукой была «Роман-газета». Не пропускал книги, о которых говорили все.

Постепенно копилась домашняя библиотека.

Книга всю жизнь была рядом.

Вот недавно на большой койке удалось не торопясь и вдумчиво прочитать «Генералиссимуса» Владимира Карпова. Постоянно перечитываю книги моего самого любимого писателя, считай, нашего земляка, Михаила Александровича Шолохова.

Чтение стало необходимой потребностью. Пожалуй, схоже может сказать о себе большинство людей моего поколения.

А насколько доступны книги людям сейчас? Передо мной небольшая справка. В городе и на селе у нас проживает 93,5 тысяч человек, 24 тысяч из них дети и молодежь. Для них открыты 86 библиотек, в том числе — 39 муниципальных городских и сельских. Общий книжный фонд около четырехсот тысяч экземпляров. Есть такой показатель — книговыдача. Он у нас — из лучших в области, в прошлом 2014 году составил 389 тысяч книг и журналов, в первом квартале — 225 тысяч.

Встречают читателей опытные библиотекари — заведующие сектором краеведения Нина Ивановна Герасимова, отделами комплектования литературы Татьяна Николаевна Полипенская, по обслуживанию инвалидов и пожилых Татьяна Викторовна Закурко. Их работа отмечена Почетными грамотами, благодарностями Министерства культуры РФ, областного департамента культуры.

Имеются еще 42 школьные и студенческие библиотеки, 2 технические, медицинская, профсоюзная и православная при воскресной школе.

Так что кадрами, материальной базой располагаем приличной. О делах тоже можно сказать немало хорошего. Стараемся идти в ногу со временем. Есть в школах, библиотеках связь с Интернетом. Но главное сей-

час, на мой взгляд, увлечь людей книгой. Год литературы — самое время для этого. Как и задумывалось, «учебно-показательным» вышло открытие Года, подготовленное опытными методистами отдела районного образования, учителями, библиотекарями на базе десятой школы Россоши. Будто с книжных библиотечных полок сошли княжна Мэри и Печорин, Татьяна Ларина и Евгений Онегин, Наташа Ростова и Андрей Болконский, даже хвастун Хлестаков. Беседуя друг с другом, они гуляли по коридорам, как по аллеям старинного дворянского парка. Гуляли неторопливо, позволяя своим школьным товарищам разглядеть и узнать: кто есть кто. В школьном актовом зале яблоку негде упасть. Собрались гости со всего района. Я уверен, что многим ребятам книга открылась здесь с привлекательной стороны.

Год литературы совпал с семидесятилетием Великой Победы. Потому в каждой библиотеке, школах, колледжах проходят встречи, вечера, чтения. И здесь отдельная часть спектакля-композиции была посвящена воинской славе нашего Отечества. Тут был представлен Василий Тёркин, боец из книги Александра Твардовского. Звучали стихи и песни тех лет, среди которых особой страницей было обозначено творческое наследие известных в современной русской литературе земляков-россошанцев: Михаила Тимошечкина, Алексея Прасолова, Михаила Шевченко.

А вот в Россошанском педагогическом училище-колледже прошли историко-литературные чтения «Великая Отечественная война в судьбе моих родных». Их предваряли выставки книг и фотографий. На суд жюри по секциям участники чтений представили 68 творческих работ, каждая из которых сопровождалась показом на экране писем с фронта, архивных документов и снимков. Главное — не бесследными остаются ратные подвиги родных и близких ратников и тружеников войны не только в семейных преданиях.

Как всегда познавательными и поучительными обещают быть уже традиционные Прасоловские чтения, литературные вечера «Свет души» памяти Райсы Дерикот, осенние встречи творческой интеллигенции, приуроченные ко Дню Россоши...

Образно говоря, Год литературы у нас проходит каждый день.

В этих и других мероприятиях активно участвует наша местная «ячейка» членов Союза писателей России — Светлана Ляшова и Рита Одинокова, Виктор Беликов, Василий Жиляев, Леонид Южанинов, Петр Чалый и другие сочинители. С их стихами и прозой, трудами собратьев по перу можно познакомиться в этом выпуске журнала «Подъём». Кстати, наше сотрудничество с редакцией становится уже постоянным. В 2011 году апрельский номер журнала тоже был посвящен творчеству авторов из Россоши, ее уроженцев. И нашел свою тропу к сердцу читателей. Верю, что слово наших талантливых поэтов, прозаиков, краеведов из глублинки и сейчас будет воспринято с интересом.





Светлана Алексеевна Ляшова родилась в селе Тхоревка Воронежской области. Окончила отделение журналистики филологического факультета Воронежского государственного университета. В настоящее время заведует Старокалитвянской библиотекой. Автор нескольких поэтических сборников, среди которых «Не загоститесь на земле», «Сорвется серп луны», «И вновь побеждает любовь». Член Союза писателей России. Живет в селе Старая Калитва Воронежской области.

Светлана Ляшова

НЕОСТОРОЖНО ЗАДЕВАЯ СЕРДЦЕМ

ВЕСНА

Оврага ненасытный рот
Весенний мягкий склон жует,
И хаты сыпятся со склона...
И я уже не узнаю
Чужих небес в родном краю,
Где свадьбы празднуют вороны.
В родимой вере и грязи
Стихов завелся паразит
И точит, истовый, и точит...
Овраги движутся на юг.
Сорняк рождается — овсюг,
Подснежников восходят очи.
Деревни русские во мгле,
По пузо в глине и в земле, —
Здесь не какие-то вам — сити...
Но я смотрю на тот лесок,
Что за горой наискосок,
И вижу профиль Нефертити.

...Забить смятенные тетради
И искустельные «ять»
Венца единственного ради:
Легко младенцев пеленать!
Обманы знаний бесполезных
На меру кратости сменять,

Чтоб здесь, не вглядываясь в бездны,
Легко младенцев пеленать.
Сверчки затикают за миром...
Сладка земная благодать!
Но мир — замедленная мина.
Легко ль младенцев пеленать?

* * *

Крылатых ласкают нечасто, —
Мне мама сказала однажды.
Касайтесь, холодные ласты...
Цепляйтесь о душу наждачно...
Какие моря за морями,
Какие холмы за холмами!
Какие меж мною и вами
Олимпы, бараки, вигвамы...
Боясь этих крыльев разбитых,
Не смеете, взгляды потупив:
А впрямь, и за что вам любить их,
Себя изломавших так глупо?
Взмывавших легко и открыто
Сквозь все, что нелепо и слепо,
Упавших в житейское жито,
Почив между небом и небом.

* * *

Нет в России села, где бы плач не цеплялся за тучи, —
При царях, при вождах, на припеке Второй мировой...
Не ухабы страны, а свою непроглядную участь
Безутешная баба полощет водой дождевой.
Нет в России избы, в лихолетье врастающей, где бы
Не молились так истово у неподкупных икон.
А в окне облака — санитары кричащего неба —
Уплывают туда, где закат размозжил горизонт.
На закат, на закат... Огород на закат не пускает.
«Вот ужю приберусь, накопаю картох и помру...»
И до сумерек бабка мотыжит и тяжело вздыхает,
И в тревожное небо подолгу глядит ввечеру.

* * *

Открыв закон пронзительной тоски
И нежилые области бессмертья,
Как целовала, тихая, виски,
Неосторожно задевая сердце!..
Как ласковая ласточка была
И затмевала властные светила,
Когда ни на коханье не лгала,
Когда любила...

* * *

А.Г. Нестругину

Я не умею говорить
«Красивые слова»,
Но как Ваш краснотал горит,
Цветет кипрей-трава!
Но как у Вас пчела звенит,
И девочка-река
В луга уходит и в зенит
Под пенье ветерка.
...Велюр воды, бурьянный фетр,
Небес крестильный свод,
Российских зим алмазный ветер
И музыки полет!
Мне ваши чуткие стихи,
Как очи с образов,
Они — от поля и сохи,
От луга и озер.
Когда меж небом и землей
Идет такая брань,
Они — меж небом и землей —
Связующая ткань.
И только эта простота
Вранье переживет,
И только эта высота
Дымы пережует.
Читая пропасти с листа,
Я поняла навзрыд,
Что только эта чистота
Спасет и сохранит.



Петр Дмитриевич Чалый родился в 1946 году в селе Первомайское Россошанского района Воронежской области. Автор десяти книг прозы. Более тридцати лет работал корреспондентом воронежской областной газеты «Коммуна». Публиковался в журналах «Подъём», «Волга», «Наш современник», «Кольцовский сквер», «Воин России». Награжден орденом «Знак Почета». Дипломант IV Международного славянского форума «Золотой витязь», лауреат литературных премий «Имперская культура» им. Э. Володина, всероссийского конкурса «О казаках замолвите слово» и др. Член Союза писателей России. Живет в Россоши.

Петр Чалый

ОКРАСИЛСЯ МЕСЯЦ БАГРЯНЦЕМ

Повесть

В сорок пять лет Ивана Чабреца, колхозного тракториста, судьба вывела на Божью дорогу.

Еще в детскую память ему врезалось: на Божьей дороге человек — так в селе с состраданием жалостливо говорили о Никитке, горбатеньком пареньке, бесперебойно день и ночь выкашливающим неизлечимую из-за запущенности чахотку. Деревенская пацанва зло дразнила его:

— Дядь Никитка, вы откуда? Вы похожи на верблюда!

Никитка в ответ ругался по-черному и кидал в обидчиков чем ни попадя — камень под рукой, так камнем, конскими катышами и засохшими коровьими лепехами, земляными комьями. Ваня же никогда не цеплял его, потому что жалко было калеку. Когда Никитка помер, маленький Ваня никак не мог забыть его. То были первые на его памяти похороны, и детская душонка не примирялась с тем, что живой человек вдруг помирал и его в деревянном ящике закапывали в землю. Не утешали бабусины рассказы о светлой жизни на Том Свете. Ясными вечерами, уместившись по-петушиному на потрескивающем пересохшем тальниковом плетне, он цепко хватался ручонками за высоко выступающие колья, запрокидывал вверх к чистому небесному своду голову. Долго взгляды-

вался в богатый звездами высев, пытался на ясно рассвеченном Млечном пути высмотреть блуждающую яркую звездочку — бессмертную душу Никитки.

— А мы все помрем — и ты? и я? — допытывался у матери, укладываясь на ночлег на просторной печи.

— Рано, сына, про такое тебе думать, наживешься еще и устанешь, — отвечала мать и нескончаемо гремела сковородами, чугунками. Под привычную стукотню Ваня успокоенно засыпал, додумывая в полудреме: буду жить, сколько захочу, обману ее, костлявую (смерть представлялась ему бабкой Дерюжиной — скрюченной в три погибели, беззубой и ругливой), построю крепость с толстыми глухими безоконными стенами, там и схоронимся с мамкой, а папке пропишем (он солдатом служил по срочной), чтобы наган привез, попробует Она только сунуться.

Раз Никиток даже привиделся ему во сне. Стоит у окна, остроносый, глаза блестят, как всегда, на вздернутых плечах заношенная стеганка, широкие рукава болтаются, манит Ваню белой-белой рукой и гундосит отчетливо:

— Иди ко мне. Иди ко мне...

Ваня кинулся ото сна, выпучив глаза — а у окна и в хате пусто. Материна койка уже застелена, в потемках ушла на ферму управлять коров. Тускло светится, хлыпает повернутым фитилем с печурки керосиновая лампа-пятилинейка. Вгорячах Ваня бросился к двери, за щеколду ухватился — не заперто, вылетел из сеней во двор, не чуя босыми пятнами остуженной земли (поздняя осень стояла), бежал хату — никого. От холода, а больше от страха заклацал зубами, да обратно — на печь. Успел, правда, в дверную ручку вставить запор — колченогую кочергу. Вооружился и сам, с запечка вытащил и положил под руку ухватистый дубовый рубель, которым мать наглаживала отстиранное и высохшее барахлишко.

Настороженно приглядывался к каждой тени, прислушивался ко всякому шороху.

Потрескивал горящий фитилек, чадил ровным столбиком черного дымка под самый потолок. На неостывших за долгую ночь печных кирпичях урчал вскочивший за Ванюшей с улицы кот. Пахло поросычьим варевом из-под лавки, мать с вечера наготовила болтушку в самом большом чугуне. Все на месте. И только ветер нет-нет, да как взвояет протяжно где-то в печном нутре — Ваня тогда отворачивается от окна, поближе подсовывается к коту и сжимает руками ребристый рубель. Искоса посматривает в угол, занавешенный набожником, там хоть и нет иконы, но бабуся, когда приходит в гости, называет его святым. Выбеленное полотно красиво расшито малиновыми петухами: они вытянули шеи, распушили хвосты — вот закукарекают. Ваня невольно думает о своем живом белоклювом пивне, сшибающем в драках соседских петухов. Пока вспоминает, страхи понемногу уходят прочь.

Дождался матери, лишь когда развиднелось, посветлели оконные шибки, вошла раскрасневшаяся с холода. Мама у Вани высокая, под густыми бровями поблескивают черносливом крупные и всегда смешливые глаза. Набрякшими руками сбросила верхнюю одежду. Зарыпели сапоги по хате — враз шумно стало.

Нажаловался ей: Никитка-горбатенький кличет.

Мать не охнула.

— А ты не отозвался? — сразу спросила.

— Не-е, — замотал Ваня головой.

— Ничего страшного, — сказала, пожав плечами, не выказала в голосе сомнения. — Больше Никитка к тебе не придет.

Ни страха, ни удивления случившемуся она тоже не выказала.

— Хватит, сына, бока отлеживать. Умывайся — и за стол.

Ваня сразу же успокоился. А мать прикрикивала:

— Наедайся, работничек. В займище пойдем за хворостом...

Пожалуй, с той поры и вытравился Никитка-горбатенький у Вани из головы. Осталась только при памяти — Божья дорога, на которую теперь вступил, зная про то, сам Иван.

Хвори его начали донимать еще в армии — порой нестерпимо пекло нутро в боку и поясице. Было после чего печь: детство выпало на голодные и неприятные годы войны, разрухи, а рос без отца; он то на действительной служил, то по возвращении вскоре опять проводили его, теперь уже на фронт, в первую военную зиму погиб «верный воинской присяге, проявив геройство и мужество», — скупо сообщило казенное письмо. По вербовке малолетний Чабрец попал учиться, но и на тамошних харчах «фэззушнику» жилось несладко. У кого родимые села были вблизи города, тот хоть нет-нет да и получит торбу с картошкой на подкрепление. Ивану такие праздники не светили, далековато занесло от своего хутора, затерявшегося в неоглядном черноземном поле вдоль малоезженного проселка.

Из тех тяжких лет и пристыли к Ивану хворобы.

Подлатали бока в армейском госпитале и до срока отпустили на гражданку. Домой заявился тощий, будто высохший. Мать, глядячи, вытирала слезы да приговаривала: «Господи, в чем только душа держится?» У Ивана на то один ответ: «Были б кожа да кости...» Холостяковал он недолго, женился. Не без Марусиных хлопот (посмеивалась: синицу хоть на пшеницу) заметно отянулся, заматерел, по ее же словам, на человека стал походить. «А кем до женитьбы был?» — допытывался с ухмылкой Иван. Сынишка хлопал отца по уже заметному пухлому животику, прикрикивал: «Папа скушал мячик!»

Колхоз в санаторий направлял Ивана. Из райцентровской поликлиники весной-осенью обязательно присылали вызовы на врачебный досмотр, где рентгеном просвечивали нутро, заставляли глотать неприятную резиновую кишку, как лечение прописывали пилюли да травяные настои.

Вроде подладилось здоровьишко, и, как это по обыкновению случается с русским человеком (да еще деревенским домоседом — таким Чабрец и стал к своим сорока летам), махнул Иван на все рукой и, дотоле строго обязательный к наказам докторов, вовсе не стал следить за собой. Водчонкой забаловался, тракторист в селе приметен: то дров, сено подвезти, огород вспахать — теперь не чарку, бутылку поднесут, откажешься, скажут — гордый, гребует знаться. Случалось — вдруг засверлит вновь знаемая боль в боку, перескрипит зубами Иван, глотнет залежалое аптечное снадобье (по части лекарств сам себе профессор), а назавтра впрямь полегчало. Постоянные больничные вызовы, даже повторные, пылились на широком подоконнике. А когда вдруг соберется в райцентр, тут выясняется, к примеру, что силос колхозным коровам на текущий момент, кроме него, Чабреца, и подвезти некому, а там посевная, прополочная, уборочная надвигаются нескончаемой чередой по кругу. Про себя обрадовавшись, согласится:

— Не край. Отбуду, раз без меня не обойдутся, а после поеду лечиться, успеется.

В зимние месяцы обычно на колхоз путевки подсылали. Предлагают Ивану, а он отнекивается:

— На сей случай из дому не выберусь: корове срок телиться, а Маруся как на грех окалечилась, ногу подвернула, по хате еле ходит.

А если правду сказать, то не будь стельной коровы, не вывихни жена ногу, другая причина нашлась бы, лишь бы не ехать за здоровьем за тридевять земель. Подумает Иван про то, как будет нудиться на курортах от вынужденного безделья, от всенедных-всенощных разговоров и дум о болячках, будет томиться и тосковать без привычного сельского окружения, без родимого чисто побеленного дома

с устоявшимся своим запахом — утешит себя: «Там одних балачек наслушаешься, на хворобных наглядисься, сам поневоле занедужишь».

Все сходится — с возрастом тяжелее стал переносить разлуку с домом, санаторный месяц не раз заставляет задумываться о том, что не вечен ты на земле. Все верно. Да только частенько Чабрец при случае вспоминает, что именно после курортной минералочки вновь почувствовал себя человеком.

Весна пестроцветьем встречается с летом, осень торит чернотропом дорогу зиме — течет время.

Маруся приглядывается к мужниной голове:

— Никак сесть начал? — дергала из Ивановаго чуба волос.

— На весну обновляюсь, — отталкивал ее ладони Иван и посмеивался, — на весну и к курортам. Мужики есть специально так красятся, там на седых бабы заглядываются.

В санаторий он, действительно, засобирался. Боли участились, и лекарства уже не помогали, днем на людях, на работе кой-как забывался, а ночью уже невмочь было терпеть. Подперло, и Чабрец сам попросил председателя:

— Капитальный ремонт организму требуется. Похлопочите насчет путевки.

Председатель похлопотал.

Принесла Маруся из сельмага мужу похватной чемоданчик — весь в скрипучих ремнях и блескучих застежках. Цветастых рубах накупила.

— Костюм и плащ тебе справим. — Исхлопоталась, собирая своего Ваню в дальнюю дорогу.

Да доктор повернул дело по-другому.

Переглядел все бумаги-анализы, коряво и торопливо выписанные Чабрецу хоть и в разных кабинетах, но схожим по неразборчивости почерком. Иван сам дивился: вроде ученые девки приставлены к писарским должностям, каждая не меньше десяти классов с училищем закончила, а пишут, что та курица лапой. Его занимало это и раньше, сейчас хотел изъясниться своими соображениями на этот счет с врачом. Перед доктором не робел — Ратиев Влас Николаевич был намного моложе Чабреца, приезжал в колхоз в качестве представителя из района на собрания, за крытым кумачом столом в президиуме рядышком сидели, за руку с Иваном здоровался при встрече. Но сейчас пришлось смолчать. Иван сообразил, что Ратиева (судя по насупленному виду: сдвинул к переносице брови, сузил застекленные очками серые глаза так, что крутой лоб наискось прорезали глубокие морщины) озадачил и озаботил, скорее всего, не вид бумаг, а написанное в них. Сипловатым, скорее всего от долголетнего курева, голосом заставил Ивана раздеться, упредив:

— До пояса.

Долго оглядывал, больно ощупывая тонкими, но сильными пальцами нетрогнутое загаром тело, белое до бледности как простынь, которой была ровненько застлана кушетка. Спрашивал, где больно, хоть и видел это по подергивающимся Ивановым губам.

— Выпиваешь?

— Как все, — попытался улыбнуться Иван, а у самого солнечные шарики сверкали в очах от резкой боли — так надавил доктор живот.

— Спрашиваю не обо всех. С сегодняшнего дня забудь про выпивки.

В конце приема Ратиев ошарашил:

— Тебе, Чабрец, не на курорты надо лыжи вострить, в больницу придется ложиться. Буду, скорее всего, оперировать.

— Резать? — переспросил потерянно Иван.

— Резать, — подтвердил доктор.

Нельзя сказать: Ивана страшила операция. В селе через одного млад и стар преспокойно живут с больничными отметинами на животе, особенно в той его части, где обитает аппендицит. Старший сынишка Чабреца попадал по этому делу под скальпель Ратиева. После Иван цмакал губами: след операции — коротенькая полоса пореза, через неделю Мишка плясал по кровати. За Власом Николаевичем в округе жила молва — как о легком на руку докторе. Из областного города порой приезжали ложиться к нему на операционный стол, чем гордились земляки Ратиева.

Как это все ни успокаивало, мысль о том, что тебе не сегодня-завтра хоть и легкой рукой, но распанахают полбока и потом еще будут потрошить твою начинку, конечно, заранее точила червем Ивану мозги. Да так точила, что он и о болячках своих на время забывал.

Прошли дни — черт и вправду показался Чабрецу намалеванным.

Операция, по словам доктора, а, значит, и по Ивановому разумению, была сделана как нужно. Отлеживался теперь недвижно на койке, вновь привыкал к больничному обхождению. А что палит огнем бок, нутро, так нужно перетерпеть. Хотя обстановка, конечно, расхолаживала. Иван не раз замечал: окрутит тебя простуда, горишь весь, но когда на ногах ее переносишь, делом не бросаешь заниматься — легче; стоит сунуть градусник под мышку, своими глазами увидеть, куда загнало ртутный столбик — враз покидают силы, просто хоть ложись и помирай. В больнице же без перерыва то давься таблетками, то заголяйся — медсестра со шприцем наперевес подошла, то терпи врачебный осмотр, выставляйся напоказ врачу — поневоле до горьких слез становится жалко самого себя.

Навещала жена с младшим Олегом, в первые дни только в стеклянный оконный проем заглядывали, пока Ратиев не распорядился, чтобы их пропускали в палату. Сынишка-пятиклассник с любопытством смотрел на непохожего на себя отца (худой сразу на лицо стал, щеки запали, одни глаза хоть и сидели теперь глубоко, но так же понимающе незаметно подмигивали Олегу). Неузнаваемой становилась и обряженная в белый халат мама. Сын больше отмалчивался, односложно отвечал на вопросы отца. А Маруся старалась не смыкать губ, больше говорила и говорила, тогда слезливый ком не успевал подступить к горлу.

— Ходила в военкомат. Попросила написать командиру части про твою болезнь, может, Мише отпуск дадут.

— У меня нужно было спроситься, — укорял недовольно Иван. — Чего зря людей колготить?

— А чего тут зазорного? — оправдывалась Маруся. — Тютеревы так вызывали своего Сашку. У Волошиных бабка занедужила, отбили телеграмму внуку.

— Завели моду: у батьки прыщик выдавили, а солдату гуляй, — ворчал все же Иван. А самому хотелось ведь увидеть старшего в армейском наряде. В больницу когда направлялся, вложил в широкий кошель-гаманок фотографию остриженного Миши-солдата с сержантскими лычками — чем-то схож с молодым Иваном, хоть лицом вылит в мать. Даже хвалился сыном, показывал фотографию доктору. Скучал в себе, а жене выговаривал:

— Пусть службой зарабатывает отпуск...

Ратиев разрешил Чабрецу вставать с кровати.

Ивану больше всего любилось сидеть утренними и предвечерними часами в редко свободном от людей коридоре на каменной плите подоконника.

Двухэтажная больничка (Олежка сказал о ней: «Хата на хате сидит») стояла за околицей сельского райцентра на самом бугристом взлобке средь нетронутого человеком степного островка. После обложных теплых дождей сейчас, в начале лета, все росло и радовалось жизни. Впритык к поседевшему от непогоды и скособочившемуся от долгого существования штакетнику подступала непролазно сплетав-

шаяся, начавшая цвести скромным желтым цветом дереза. Иван знал, что даже это колючее растение отходило в вешнюю пору, становилось неколким. Обступила дерезу пепельно-голубоватая, еще не набравшаяся горечи полынь, в которой разбросано и одиноко высылся часовым ковыль, стлал по ветру белые гривки, а еще выше красовался островерхой вершиной, сплошь желтой, коровяк. В распахнутое настезь коридорное окно нет-нет, да и доходил свежий, замешанный на степных травах, ветерок, забывая напитанный лекарствами больничный дух. И прямо, как в поле, из голубого поднебесья слышны были нескончаемые звоны жавороночьих колокольцев. Впрочем, вон они и поля, всхолмленные, в соковой зелени вступающих в силу хлебов.

Больничка стоит на обдонском холме, в тысячеверстовой гряде похожих, обрывисто выстроившихся по правому берегу большой реки. В оконном проеме выступают справа и слева шлемами древних богатырей Белая, Холодная, Мирнова горы, по благодатной весне озеленившиеся даже на крейдяных-меловых залысинах до самых вершин.

Смотреть прямо из окна: разбежалась по крутоярью слобода, да и застыла вкопанно на века, залюбовавшись лебединым изгибом реки. Обрывисто скатываются вниз, петляют слободские улочки, вверху редкими побеленными домами (среди них стоят казацки курени с нахлобученными до самых прижмуренных окошек камышовыми стрехами) и скучковавшимися толпой под неохватными тополями и вербами у самой речной излучины.

Слепящий свет крейдяных осыпей, лазоревый цвет песчаных разливов в светло-зеленых проталинах краснотала, ширь речной сини, неумное многоцветье трав в луговой пойме, темные дубравы и сосновый бор, сливающиеся в голубоватой дымке с самим небосводом, — неоглядна даль ясным днем с высоты приречных холмов. Ивана, живущего хоть и неподалеку отсюда, но уже в скуповатом с виду на броские цвета суходольном сельце, сызмалу и до текущих дней по-детски дивило ощущение нигде не встреченной им неизъяснимой красоты здешней беспредельной неохватной шири. Пожалуй, такие же чувства носили в себе большинство Ивановых сокоешников. Но, как истые сельские жители, не высказывали вслух слов восхищения окружающим миром, не закатывали заполошно глаза, не прицокивали языком, — просто сидели-стояли у окна, смотрели на белый свет, слушали певчий перезвон птиц, шепот кружевной вязи в мелколистой акации, тихо говорили, покуривали, пряча папиросу от ворчливо докучных нянек.

— Богата на воду нынче река.

— Всю весну дожди, когда это трава на мелу дуроломом перла?

— Там и моя «казанка» — в выводке лодок у паромного причала. Выпишусь, хоть порыбалью.

— Запамятовал, что ли: июнь — на рыбалку плюнь...

Когда к окну приходил квелый больничный должжитель Чомбе, прозванный так за внешнее сходство с африканским тезкой — малый ростом, широкоскулое лицо, пухлые губы-вареники и короткий ноздреватый нос — и нисколько не обижавшийся за новое имя, то разговор сразу заводился о политике в международных размерах.

— Смотрел телевизор...

Каждому только поступившему в больницу новичку он доверительно сообщал, непременно теребя собеседнику пуговицу халата и заглядывая прямо в глаза:

— Мне дедусь читал в детстве большую книгу, Библия называется. В ней прямо было сказано: заваруха на земле начнется из-за малой страны. Глядел телевизор — вот оно и выходит то на то.

— У нас Библию не читали, — доказывал кто-нибудь знающий. — Больше Евангелие знали.

— Все одно: выходит то на то, — начинал гоношиться и желтеть лицом Чомбе. Вкруг чего бы ни затевались беседы, а сбивались в конце концов на один разговор — про крестьянскую долю, которой жили, которую несли все страждущие здесь хворобами. И уж тут без споров не обходилось.

— Спецхозы, говоришь, комплексы. В новом коровнике зимовал кормачом. Весной выпустили коров на баз: в грязь поприпадали всем телом к земле — батоном с места не стронешь. Трясучка колотит, а не встает. Належалась на бетоне.

— Не бетон скотину губит — наша неразумная голова. Поселили корову во дворец, а порядки остались те же, что и под соломенной стрехой в сарае.

— Слыхал: новую пшеницу завели, теперь с хлебом во всякий год будем. Из района начальник на колхозном собрании у нас так и говорил.

— Тьфу ты, напасть, зарекался не матюкаться, ровно малы дети. Той пшенице, что есть, сделай условие. Сурепкой и щирцей по уши обросли — на новую пшеницу надеются. Да на то поле хоть золотые семена высей, толку в самый хлебобородный год не будет.

— Анекдот прямо про наш колхоз. — Рассказчик заходил в хохоте: — Купим, говорит, фанеру на ироплан. — Хватался ладонями за живот: — Не могу, швы лопаются. И, говорит, разлетимся к идреной матери, чтоб коровы нас не слопали.

— Гыгыкать все умеем. Кому только тех коров доить, не скажешь?

Раз чуть не до драки сцепились. Подзавел, подзучил всех, как обычно, Чомбе. На коридорной сходке.

— Гляжу, — сказал кто-то, — бабка тепаёт вон к тем козам, что на привязи пасутся по выгону. В руках белая буханка покупного магазинного хлеба. Разломила пополам и сует козе в зубы. Братцы, коза не трескает белый хлеб! Положила его бабка наземь в расчете на то, что проголодаются — съедят. Вышел я после поглядеть — валяются куски хлеба в полыни.

— Нашел с кого спрашивать? После нас, хворобных, выварками хлебные недоделки каждый день выносят с кухни. После нас, деревенских. И все знаем, как хлеб растёт.

— Рыбалить наладишься, тоже, небось, мешком буханки в реку на закрыху-приманку кидаешь.

— По телевизору видел: ученый человек говорил — после выходного дня в пригородской лес стыдно зайти. Пускай, рассудил, бросили на этом, на пикви..., черт, выскочило из головы, одним словом, по пьянке, мол, пускай бросили в кустах хлеб, птицы-звери за то спасибо скажут. А вот банки консервные, бутылки стеклянные оставили — нехорошо.

— Здраво рассудил. Пропиши ему: за бутылки тоже спасибо скажут, подберут и в магазин снесут...

Наперебой вспоминали, говорили о непочтении к хлебу. Скуластый Чомбе щурил и без того узкие щелки глаз и молчал. Дождался, когда все вроде высказались. Тогда и заявил с какой-то подковыркой в голосе:

— Зато едим, извините-подвиньтесь, самый дешевый во всем мире хлеб.

Иван тогда же сразу припомнил: таким голосом по-блатному выпевал сиплые песни магнитофонный певец в Мишкиных пленках. Было время, Мишка не выключал магнитофон днями и ночами, тогда и Иван выучил эти песни наизусть — «мы делаем ракеты и покоряем Енисей, и даже в области балета мы впереди планеты всей!»

Точь-в-точь похоже высказался и Чомбе.

— Зато едим, извините-подвиньтесь, самый дешевый во всем мире хлеб.

— И больше всех его съедаем, — услужливо поддакнули Чомбе со стороны. Но он сразу же ошарашил говорившего резким вопросом:

— А каким компьютером (Чомбе выразительно постучал указательным пальцем в лоб, он любил произносить свежечитанные в газетных листах слова), каким ком-пью-тэром, спрашиваю, подсчитали, кто в точности умолотил буханку: я, — указательным пальцем опять-таки стучал беззвучно себе в петушиную грудь, не прикрытую воротом полосатого халата, — или, извините-подвиньтесь, бабушина козочка? Или твой хряк?

Чомбе медленно обводил всех недрогнувшей рукой и глядел, прижмурясь и не мигая, по-кошачьи зелеными зрачками, буравил ими каждого насквозь.

— Я спрашиваю?

Никто ему не отвечал.

— Я спрашиваю у вас — у работяг?

Чуть погодя отозвался Иван:

— Не пойму, к чему ты клонишь? Пускай и не подсчитано.

Среди собравшихся в коридоре Чомбе, пожалуй, был ростом ниже всех. Но сейчас глядел на собеседников по крайней мере с высоты гранитного постамента.

— Пока хлеб будет дешевый, будем пинать ногой плоды твоего серпа, дорогой Иван Чабрец, и труда других Иванов, держащихся за молот. Будем мы топтать, и наши дети вместе с нами.

— Загнул же ты, — изумился Иван. — Сколь народ перестрадал, сколько крови и кровавого пота пролито, чтобы ели люди хлеба вдосталь, дешевого хлеба. Чтобы дети не знали голода...

— Минуточку, — распрямленной набряклой ладонью Чомбе остановил Ивана, заставил его замолчать на полуслове. — Я не рекомендую подтянуть на наших потолстевших животиках ремешки. Мое предложение — мера вынужденная, но необходимая. Деньги сейчас, извините-подвиньтесь, у каждого на хлеб имеются. — Голос его прорезался, почти выкрикнул: — Водку меньше лакать будем!

— Не выступай, — разом загалдели обиженно мужики, — только ты нас еще не воспитывал.

— И что ж, по-твоему, получится из такой реформы? — пытался допытываться у него Чабрец.

Чомбе снисходительно усмехнулся и культурненько сплюнул в жестяную пасть урны, сделанной под пингвина.

— Сейчас хлеб для тебя ничего не стоит, буханка — копейки, дешевка. Но после того, как откусает его твоя свинushка, батон обернется в бекон, который, извините-подвиньтесь, ценится подороже. Так?

— Бреши дальше, — согласился Иван.

Чомбе несколько не обиделся. Он слышал в эту минуту только себя.

— Приходишь завтра в магазин. На витрину шасть глазом, а хлебушек — того, кусается. И берешь не пять буханок, как бывало, а только одну. Дома, за столом, не смолчишь, когда твои гривастые охламонята кидаются хлебом друг в друга и по-интеллигентному корочкой вытирают вилку, оставляют подле себя горные вершины недоедков. Гроши напоминают про цену хлеба: сгребешь на ручку все крохи и в ротик ссыплешь — как это делал твой дедushка. Врежешь по уху остолопикам для острастки, небось, понятливее станут почитать хлеб. А свинushку станешь кормить не печеным батоном, а дертью, отрубями, то есть комбикормом.

Мужики слушали. Кто посмеивался, а кто и согласно кивал головой.

— Цены поднять — дело немудренное, — не смолчал Иван.

— Учить человека надо почитать хлеб.

— Учите. Мне не к спеху. Я подожду. — Чомбе похлопал по заду, оттопырив его, и направился на лечебные процедуры. Перед уходом он, правда, покривил губы, мол, еще бы рассудил вам, непонятливым, да время на уколы приспело.

Впрочем, Чомбе уже не первый раз старался так покидать компанию: выскажетя, подзудит всех — и в сторону, не выслушивая возражений собеседников.

— Мастак же ты мозги вправлять, — только и успел сказать ему уже в спину Иван. Почесал в затылке растопыренной пятерней. И ответить ничего с ходу не нашлось. Не правда ли, иной раз жалостливо глянешь на зачерствевшие ломти, подумаешь моментом: сколько твоего же соленого пота в том объедке? А за тарелкой же по новой отщипываешь непоказавшуюся шкуринку, откидываешь в сторону. Чего там еще спрашивать с тех, для кого булки в поле растут...

На коридорный галдеж выглянула из своего кабинетика женщина-врач, молодая, но уже располневшая. Ивану она сразу не поглянулась, как увидел на оголенных плетеными босоножками ногах ало раскрашенные ногти. Протиснувшись боком в дверной проем, врач крикливо утихомирила коридорное сборище и разогнала всех по палатам. Чабрец слышал, раз она уже жаловалась Ратиеву:

— Что за люди? На краю могилы стоят, а пекутся не за свои поротые животы, — государственные дела, видите ли, решают. — Как артистка потрясла пухленькими, будто надутыми ладонями и расстановочно подчеркивала: — Решают. Влас Николаевич, запретите им базарить в коридоре, работать нормально не дают. На лестничной площадке отведено специальное место.

Ратиев при Иване смолчал, лишь хмыкнул непонятливо.

Доктор ведь и сам, когда выпадала свободная минута, посещал коридорные сиделки-постоялки. Больше слушал. Когда смеялся, то негромко, но заразительно, и всегда при этом закрывал глаза, отчего по лицу лучисто разбегались морщинки.

В кабинете же, как всегда, со стороны Ратиев виделся очень строгим.

— Шов затянуло, как на собаке, а в середке болит, — объяснял ему Иван, когда его выписывали из больницы.

— А ты думал — так сразу и вылечишься, — доктор говорил и черкал авторучкой бумажные листки. — Прибудешь, Чабрец, на врачебно-трудовую комиссию, сообщим заблаговременно, определим тебе группу.

— Рано вроде в инвалиды записываться, — пытался возразить Иван.

— Я говорю: временно, — повысил голос доктор. Долго и подробно растолковывал Чабрецу расписание его дальнейшей жизни.

А дома Маруся не отстала с расспросами, пока муж доподлинно не пересказал указы врача: когда ему являться в райцентровскую поликлинику на осмотры, сколько положено лежать и что можно есть, когда ходить на уколы в сельский медпункт и какие пить лекарства...

У двора Ивана Чабреца обузилась затравелая тропа, добро по ней плел густую и крепкую сеть шустрый спорыш да рясным лопухом раскустился придорожник, под разудалого парня выметнул вверх светлую кисть, обочье же и весь выгон полыхали дремучим бурьяном. Сиднем сидеть дома, видеть такое из окна — не в Ивановой натуре. Потому, как только Маруся оставила одного (она не позволяла ему затевать любое дело по хозяйству), Чабрец засуетился: разыскал в сарае узкую наковаленку, отбил молотком и наострил точильным бруском посеревшую без хозяина литовку.

Еще ни разу не махнул косой, а уже пристал Иван, холодным потом взялось все тело.

— Зараза, припендючила, — зло сказал он хворобе.

Пересидел чуток на согретых утренним солнышком морщинистых неошкуренных дубках (зимой про запасы заготовлял, еще один сараюшко замышлял поставить). Прошла минута, другая, стало легче дышать, уж тогда и вышел с косой за ворота. Огляделся по сторонам. После больничного заточения Иван смотрел на

родимое сельцо, как муж на добрую жену после долгой разлуки. И покойно становилось душе: в этот тихий час летнего утра хороша полевая полынная сторона, освеженная зоревым туманом и рясно павшей росой. Живи да радуйся.

Иваново сельцо невелико, но просторно поставлены дома посреди полей по склонам крутого яра. Крутосклонье сплошь расколото змеисто хвостатыми кручами, красными от обнаженной земли. Передается теперь из рода в род: в те далекие времена, когда пришли в Поле на жительство первопоселенцы, шумела здесь дубрава. Но то ли нажились люди в непроходимых дремучих северных лесах, а после от нужды — не сберегли дерево в степном краю. Голо теперь окрест, просторно. А по зелени правнуки в неподдающемся счету колене затосковали, все сажают и растят у своего дома дерево, не яблоню-вишню, тем место в саду, а островерхие вытянувшиеся солдатиком тополя, белую акацию, распутившую листву беспутной девкой, и, конечно, трогающую даже зачерствелую душу русскую березу, рядом — с вечно зеленой прической сосенку, липу, ясенюк, вяз, дубок...

Но дубравы враз не вырастают.

Меж глубоких круч, застылой молнией прорезавших землю, почти на самом всполье подворье Чабреца. Здесь уже на Ивановом веку довелось порушить поставленную дедами и верно отслужившую свой срок дубовую хатенку. На ее месте красуется петухом краснокирпичный дом, еще и Маруся постаралась — в канун Троицы поновила свежими красками оконницы, наличники и карнизы, обшитую доской веранду. И как-то не личило, по Ивановому разумению, перед ухоженным домом с накрашенными «губами» — глухое дурнотравье.

— Доживемся, в бурьянах скоро и волки заведутся, — ворчал вслух сам себе Иван. Поплевал в горсть ладоней и взялся за косу. Первую ручку он наметил пройти вдоль штaketникового забора, обкосить траву вокруг ног голенастым, будто побывавшим в райцентровской парикмахерской и только подстриженным тополям, в одной шеренге вытянулись ввысь зелеными свечами. Уже немало таких пирамидальных тополей по сельцу, а Ивановы выше всех, потому что завел он их первым. Выросший и живущий в почти безлесном краю, Чабрец с детства не мог с безразличием пройти мимо дерева, считая его подобным человеку живым существом.

— Не заламывай ветки, деревцу больно, — наставлял когда-то своих малых сыновей беречь саженцы. Учил и верил в то, поныне верит: так оно и есть.

Довоенных лет сельцо ему самому помнилось в вишневых да яблоневох садах. Сады-садочечки, сады зеленые...

Какие усохли, какие в нужду порубили — оголились и подворья. Зажило село, наново посаженные сады вырастают. У Чабреца двор уже весь в зеленом цвету. По улице перед домом рядом с топольками росла еще белая акация, молодая поросль глушила выгон, а в палисаде торкался в оконное стекло ветвями широколистый куст калины и кучерявились веселенькие березки. Тремя нападами заводил Иван березки, отчего-то не приживались. Маруся не в настроении недовольно выговаривала:

— Смородину насадил бы, хоть какая польза была б...

Теперь сама не нахвалится, радуясь светлоствольным подружкам, в любую пору пригожи, сразу бросаюся в глаза, откуда ни погляди на дом. А сад Иван тоже развел, за сортовыми саженцами мотался на неблизкую плодово-ягодную станцию, нечаянно встретился и разговором расположил к себе ученого садовода, тот его и самолично выведенными сортами наделил, и свою книжонку дал с дарственной подписью. По науке растил бы сад и Чабрец, но вволю не давала заняться им работа.

— Не спутай ноги война, — не раз говорил он, — в садоводы пошел бы или в лесники на крайний случай.

В душевном расположении Маруся так и утешала его:

— Лесовичок ты наш, неудалый...

Посвистывала в полукружье коса.

— Вжик! — рыпел, расставаясь с корневищем, подсеченный лопух.

— Вжик! — любимый лишь пчелами колючий синяк ник в валке. Не качнувшись, рухнул малиновыми головками оземь татарник. Резко запахла свежим соком полянка срезанного донника-буркуна. И вновь несмытым лилово-желтым островершьем лег к ногам косаря высоченный коровяк.

— Вж!.. — недопела коса. И раз, и другой. Чабрец озлился сам на себя. Против Ивановой воли коса начала зарываться носом в землю по той причине, что выгон был измолот глубокими, чуть ли не в колено, тракторными колеями. И проторил их тут собственноручно сам хозяин. Сколько раз Иван зарекался по грязи не переть на машине ко двору, не буровать улицу бороздами. Чаще зарекался, когда дело не доходило до горячего — вот так вот тыкался в колею носом. А как садился за руль, вылетало, опять и ухом не вел: дождь не дождь, колесовал напрямик.

— Чтоб твоего батька черт так полосовал, — припомнил Иван вслух старое при-слове. Кое-как срезав бурьян по колее, бурчал:

— Ноги отвалились, кабы в грязь бросил трактор за околицей и прошелся. Так нет же. Было б можно — точно, в уборную на машине ездил. На детишек еще обижаемся, не такими растут. Ходить не научится, а уже требует: покупай мопед. Новая мода завелась — без «Жигулей» не слазят с родительской шеи. А после: ах! Семенов пацан на мотоцикле разбился, соседев свояк, вместе гостевались, удружил родственничку — на «Москвиче» с комбайном не смог разминуться. Только руками разводим: клятые колеса живого места на земле не оставляют. Наверное, какие сами, такие и кони.

Так размышлял Иван. А косьба по колдобинам да кочкам притомляла, то и дело заставляла оставлять литовку и присаживаться на лавочку у палисада. А руки так и на коленях не улежат покойно, ходят в трясучке. Совсем невесело стало душе, скис, да вовремя вспомнился больничный сокоешник, тот говорливый Чомбе. Влили ему кровь, своей много потерял — не может мужик поест, расплескивается все из ложки, пока донесет ее ко рту. Он же одно посмеивается: «Родную кровь в нужник спустил, а чужая не приживается. Никак кто-то с похмелья сдавал». Допытывался у него Иван:

— Чем хвораешь?

— Геморрой допек. Не знаешь толком, что за болезнь? А зубы у тебя когда-нибудь болели?

— А то нет.

— Вот и прикинь: в заду три десятка зубов и все разом болят.

До ушей Ратиева дошло такое объяснение хворобы, так он, говорили хлопцы, и смеялся. Чуть Чомбе ему операцию не сорвал.

Вообще-то Иван моментами недолюбливал таких говорунов, с виду много знающих, на людях рассуждающих не как все, настырно упрямых в своей правоте. Там глубже загляни в душу — пустобрех пустобрехом окажется. Считал Иван так скорее всего потому, что сам на народе больше отмалчивался. Вот и нравились ему люди по себе: мало рассуждающие, сопком-сопком дело делающие.

Теперь вдруг почувствовал — сколько тут времени после больницы прошло, а уже вновь не отказался бы послушать брехни этого Чомбе. Припомнилось, вот так же точно еще в детстве все пацаны Ивановых лет невзлюбили Илюшу Ориного. Мальчишка никогда не говорил слов «не знаю», а врал складно и весело. Сколько раз припирали его к стенке, уличали в неправде, на смех выставляли. Всегда стоял как каменный на своем. Нередко случалось: то, что с ходу выдумывал Илюша, на проверку сходилось с действительностью. Любить его не любили,

но и из своих компаний не гнали. А вот прозвища ему часто давали, может, потому, что каждый хоть чуть-чуть да завидовал Илюшину умению врать в лад. Да и прозвища, пусть самые обидные, он принимал нисколько не выказывая обиды, потому они к нему надолго и не липли. Киселем, пожалуй, его дольше всего и звали. Раз смотрели кино, где часто повторялось: по-ласточьи разодетые господа меж разговорами что-то горячее из красивых чашек прихлебывали.

— Вот и не скажешь, что пили? — допытывался знающий после кино у Илюши.

— Как не знать, — прямодушно ответил Илюша, — кисель. (Не только ему одному так казалось, у всех урча ссыхались подтянутые животы: что еще вкуснее киселя могли себе пожелать киношные господа.)

— Кофий, — в несчетный раз пересказав доказательства, уже зеленел от злости знающий.

— Кисель, — нисколько не волнуясь, стоял на своем Илюша.

Вслух пацаны соглашались со знатоком, а втайне каждый больше верил Илюше. Вкус киселя могли почуять на языке, а заморский «кофий» Иван, например, отведал уже лет в пятнадцать в «фэзэошной» столовке, да и то стошнило, вырвал то пошло за первым углом, потому и запомнилось.

Илюша погиб молодым по своей же оплошности: в ночной сонным попал под плуг трактора. Не одному ему была уготована такая судьба, много его сверстников подорвалось на минах, щедро оставленных на долгие годы в земле войной. По прошествии стольких лет, когда тогдашние пацаны, теперь-то мужики, в разговорах вспоминают о прожитых рядом людях, обязательно кто-нибудь один, а то и разом в один голос вызывают из памяти:

— А помнишь, Илюша Оринин...

Вот и сейчас, вернувшись из больнички в свои углы, кого припоминают, посмеиваясь, хлопцы в первую очередь? Конечно, завирального спорщика.

Край необходимы они людям. Без них и жизнь тоскливей бы была, все в серенькую полосочку...

Цепляясь зуб за зуб, одна шестеренка вращает другую, так и у Ивана — выплывший в памяти случай вызывал за собой другой, заставлял думать о чем-то постороннем, отвлекая от боли, прочно прижившейся в теле.

Отдыхал Иван, облокотясь плечом на ясеневый держак косы. По остриженному выгону в накаляющемся июльском зное на глазах увядал поверженный бурьян, морщились, усыхая, валки.

Несвычно ломило тело.

— Обленился на дармовых харчах, — рассудил Иван.

Как тракторист Чабрец работал на разномастных машинах — на колесных и гусеничных тракторах, на самоходных и прицепных комбайнах. Механизаторов в колхозе не доставало, по необходимости приходилось пересаживаться из кабины в кабину и приравливаясь к новой технике на ходу. А в домашнем хозяйстве машины не освобождали от извечного крестьянского труда — приходилось браться не только за косу, во дворе блестели отполированные ладонями ручки лопат, вил, топора. Другие мужики уже глядишь — приспособлялись: дрова пилит бензопилой, выгон выкосит тракторной косилкой, навоз по огороду рассучет бульдозером, коров своих, подходит черед, пасет верхом на мотоцикле. Чабрец же с охотой и удовольствием, если позволяла обстановка, брался за все своими руками. С возрастом, подмечал, даже больше нравилось тюкать топором, нежели крутить руль.

— Устаю от машины, — так считал.

А проходил свободный от механизаторских хлопот день, другой, когда являлась непогода или еще что отлучавшее Ивана от техники, усталость куда и пропа-

дала, он начинал дома нудьговать без машинного запаха, без ее стукотливого голоса, без движения на колесах — без привычного душе дела.

Маруся застала мужа сидящим на лавочке, в тополевой тени скрывался от зноя, отдыхал после трудов. Загнала его в дом. Как и ожидал Иван, устроила нагоняй.

Ругалась:

— Когда же ты поумнеешь, себя жалеть станешь?

Пугала:

— Доктору расскажу, пусть тебя еще положит в больницу!

Причитала:

— Пропади оно пропадом, все хозяйство. Согнешься в три погибели, кикнешь — кому оно останется? Кому оно нужно?

Иван согласно молчал, знал: пусть баба себе выговорится, быстрее утихомирится.

Наставляла Маруся уже со слезами в голосе, а то вдруг разревелась и припала на плечо мужу. Успокоившись, целовала, ласкала горячими, распаленными, как огонь, губами.

— Чего лижешься? — говорил Иван и не отталкивал жену.

— Господи, вот таким сморенным ты мне и приглянулся. Как счас вижу: идет утречком по улочке, шкрябает кирзовыми сапогами дорогу, не поднимет их от земли, замурзанный — на лице пыль растерта, а он еще и лыбится.

— Поглядел бы на тебя после переходной смены, оттарабань день-ночь, не то ног, всего себя не чувствуешь. Идешь, а тебя всего тракторным гудом трясет, — вспомнил Иван. В те еще эмтээсовские времена с техникой было негусто, на тракторе посменно работали два человека, на воскресенье припадала кому-то переходная смена — заступал с утра и сдавал трактор напарнику ровно через сутки.

— А я от криницы воду несла, с полнехонькими ведрами дорогу тебе переходила.

— Не ошибаешься?.. — подначивал Иван. — Вроде как с пустыми ведрами встретишься. И уже почти просватанная за Митьку Балана.

— Ну тебя, — смеясь, отмахивалась Маруся. — Знать, в цене в девках была. — И прикидываясь обиженной, дула губы. — Нет бы, хорошее что сказать жене. После покрашенных докторш на доярку, небось, и глядеть не хочется, навозом воняет.

— Непутевая ты моя... — Иван огрубелыми ладонями, не отмякшими и в больничных ваннах, приглаживал вихрастые пряди неподчиняющихся заколкам Марусиных волос — черных, как смоль, — неразворотливыми толстыми пальцами легонько обводил полукружья густых бровей, трогал и будто заново узнавал никогда не сходящее загаром Марусино лицо — столько вдруг ласки нежно выказывали тяжелые руки, что любые слова тут бы звучали пустоцветом.

Погодя Иван порушил молчание опять шутливо:

— Ты ж у нас не доярка — операторка... — Так в семье Марусю стали поддразнивать муж и сыновья, когда она пришла домой с краснокорой книжечкой-дипломом. В ней значилось: за высокие надои молока награждается оператор...

— Тю, с чего это тебя так окрестили, — удивился тогда Иван.

— Заело? — смеясь, допытывалась Маруся. — Про доярку теперь забудьте.

— Понавыдумают же, — качал головой Иван. — Хоть та же свита, но зато на выворот сшита.

— Зато у нас и у нашего начальства радости полные штаны, — отвечала Маруся. — Новая специальность на селе народилась. Без тяжелого труда. Можно доклатывать: прежде и теперь...

Весело загремела по дому посуда, с веранды (как обзавелись газовой печкой, на веранду на лето переселяли кухню, в доме мух меньше водится, да и Марусе с приборкой легче) запахло варевом. Скорая на руку, Маруся накрывала стол, взялась за тесто и пирожки, приговаривала, не пряча радости:

— Заявилась из больницы наша ехидна, заявила. — Это она об Иване.

Звучногласа, не по своей полноте подвижна. Плотнo заставленный покупной мебелью, полированными коробами на ножках, но кажущийся пустынным дом только с приходом жены оживает и становится Ивану роднее. От Марусиной ступотни (сильно хлопнула дверью, что ли) громким, будто проспавшимся голосом включается молчаливый до того репродуктор. Маруся не дает ему и выговориться, оборвав на полуслове — лишь покачивается на стене маятником выдернутая с ходу вилка. Пояснила Ивану, не останавливаясь:

— Слушай меня, я тебе вместо радио.

Глядя на нее со стороны, не подумаешь, что еще до того, как настать нынешнему дню, Маруся уже была нынче на ногах, на ферме. Доярки туда являются до петушиного переклика. Впрочем, сельцо теперь будят не петухи, а пронзительный и нескончаемый гуд (точнее называть — зуд) молочной доилки — доильной машины. Пускай зудит, раз не придумали пока ничего лучшего, только ради того, чтобы не надрывали руки сельские кормилицы.

У них и с этой машиной забот хватает.

Из кладовки перетаскала Маруся на спине оклунки с комбикормом, засыпала его в высокие жестяные короба кормушек. Унюхав мучной хлебный запах, замычали в базу коровы, как сговорившись, стали подниматься, оставляя за собой теплый белый парок на вылежалой, прогретой телом, уनावоженной земле. Полюдски выстраивались в очередь цепочкой друг за другом, каждая группа — у своих дверей к доильной площадке.

Из посудомоечной перенесла Маруся молочные бадейки, опутанные паучьими черными резиновыми трубками. Наготовила ведро с чистой водой, полотенце — подмывать коровам вымя.

Подуправилась вовремя. Тут и завел свою однострунную балалайку другой, не ее Иван, — включил машину. Разом ожили, распрямили трубчатые лапы резиновые пауки, зачмокали доильные стаканчики, запрыгали вверх-вниз на коровьих сосках. В стеклянном глазку запенились молочные струи, потекли в бадейки. Четыре аппарата в Марусиных руках, полсотни коров выстраиваются к ее станкам — только успевай вертеться.

— Жданка, стоять! Жданка! — Куда там, даже к окрику разве прислушается норовистая рыжая коровенка, у которой уже в круто загнутых рогах видна настырная натура. Жданка длинным языком начисто вычерпывает кормушку, рогом зло пинает короб, чтобы оттуда сыпались и сыпались отруби. Жданка никак не догадается, что доярка уже прикрыла лючок, и теперь хоть сверни себе рога, ничего не получишь. Убедившись, что желоб кормушки пустой, корова задней ногой шаркает по вымени, и все доильные снасти летят оземь. Корова недовольно косит крупным фиолетовым глазом, широко раздувает ноздри, но опять-таки подчиняется Марусе.

— Где нальгач? — спрашивает доярка у соседки и, накинув Ласточке на рога веревку, выводит корову из станка, привязывает ее под навесом, где хозяйство ветеринара. Ласточка недавно растелилась, вымя разбарабанило, раздаивает ее Маруся руками.

— Заходи, Снегурка, заходи, — зазывает она опять в доильный станок опрятную белошерстую корову. А бадейка уже тяжела, пора тащить Марусе в сливочную молоко на учет. Опять по новому кругу: полотенце-ведро-стаканчики, все тяжелеющая бадейка...

— Когда же молокопровод нам поставят, — набрасываются женщины на председателя колхоза, когда он появляется на ферме. — А ну-ка, цистерну молока перетаскать за день, железных рук не хватит. У соседей доярки давно отмутились, забыли про фляги.

Молодой, но уже усвоивший, как надо беседовать с людьми, председатель деловито и коротко объясняет:

— Наряд уже в сельхозтехнике есть, поступит команда из управления...

Доярки слушают его и хоть мало верят обещанному (им уже не раз рассказывали про наряды и сельхозтехнику), бодро-уверенный голос действует на всех умиротворяюще, расходятся все успокоенные. Каждая знает, не так уж и давно лишь соленым бабьим потом доставалось белое молочко. Воду ведрами, корма вилами, навоз лопатой, молоко — все-все вынесено на женских руках, наделенных крепостью, которую точно называет только одно слово — семижильной.

Теперь-то на ферме доярке есть облегчение.

Пляшут на коровьем вымени доильные стаканчики — резиновые присоски. Присматривая за ними, Маруся уже не вспоминает, как не верили в то, что машиной можно подоить корову.

— С молоком кровь высосет.

— Коров попортит.

Ржавели трубчатые доильные «елочки», пока не припекло. Когда уже некому вручную было доить коров, дали ума и «елочке».

Придет срок — будет и молокопровод на Марусиной ферме. Но отчего же он опять только тогда появится, когда вновь припечет?

Попривыкали, но все одно закладывает уши от машинного зуда. Не хуже установки зудит заведующий фермой, гусакom вышагивая по площадке, вытянутой вперед рукой остерегаясь коровьих хвостов, что беспрестанно взлетают вверх-вниз, распугивают надоедливых мух. Заведующий повторяет одно:

— Жир нужен, додаивайте, девчата, коров руками, под конец дойки жир в молоке остается.

Девчата, среди которых большинство некрашено-седоватые, не отмалчиваются:

— Нахлбучку от начальства получил? Попробуй сам передоить пятьдесят голов, до самого вечера не управишься. Кукурузной сечки больше пусть подвозят, появится и жир в молоке.

Машина гудит свое, а Зорьки выказывают характеры доярке. Для нее коровы не на одно лицо. На ту прикрикнет, а то и хлыстнет по боку — враз смирной стала, другую приласкает, лишнюю пригоршню отрубей подсыплет. Подвигается коровья очередь.

Набрало силу солнце, пригрело.

Выстроены в ряд полнехонькие молочные фляги.

Теплый парок курится теперь дымком над взмокревшей Марусиной спиной. Не скоро сойдет с рук усталость.

Знает про то Иван, потому и уговаривает жену:

— Угомонись хоть на минуту. Присядь, передохни. Скоро опять на обеденную дойку побежишь. Хватит нам на месяц того, что уже наварено.

— Полеживай себе уж, — отмахивалась Маруся. — Бабы мне, знаешь, что поют? По тебе, говорят, не поверишь, что твой сын уже в армии служит.

И смеется, довольная:

— На погляд моложава еще у тебя женушка. Не выработанная. Окорачивай ей хвост, мужичок.

— Пойдешь на дойку, коровы окоротят.

— Не скажи, Ваня, ухайдакают. — А сама хохочет, белозубая.

Держа тяпку наперевес, мимо окон прошел Олег.

— С прополком заявился наш вещий князь. — В хорошем душевном расположении так именвал сынишку Иван.

Олег погрел рукомяйником в коридоре. Умытый, усевшись за стол, с хозяйским доглядом рассудил:

— Тяпку в доску затупил. А была бритвой. Насеют — сплошняком лес дремучий. Половину подсолнуха теперь вырубываем. Тренируйтесь, ребята, вместо зарядки. — Сынишка прошелся по комнате, ссутулившись, по-обезьяньи опустив длинные плечи худощавых рук чуть ли не ниже колен — точь-в-точь бригадиров портрет. Иван по-своему понял про «насеют»: и в батькин огород камешек. Но обиды не высказал, попытался пояснить ему, выгораживая трактористов:

— Мало ли семена какие были. Если не откалиброваны, так как ни старайся равномерно высеять — не получится. Весна нынче не для подсолнуха: холодная и сырая, а он тепло любит.

Поинтересовался у сына:

— А ты отчего вроде как надутый?

— Целый год по школе людьми ходили как дураки, — буркнул Олег. — Баллы набирали, а нас надули.

— Чего-чего? — переспросил Иван. — Какие такие баллы?

Все еще недовольный сын пояснил:

— За поведение, за учебу, за всякое такое каждому классу отметки выставляли. Лучших обещали в Севастополь свозить на экскурсию. На первое место выперлись — друг друга грызли. А теперь, видите ли (Олег трубочкой оттопырил тонкие губы), школе не выделили автобуса.

Иван, не удивившись случившемуся, пожал плечами:

— По-другому как-нибудь вас отметят за старание.

— Отметили (теперь Олег скривил плотно сжатые губы) вымпелом. Вывесим на стеночку и радуемся. Спасибо, тронуты.

— О, е-мое! Публика подрастает, — изумился Иван. — Да вы чо — из-за этой поездки на людей старались походить?

Сын не удостоил его прямым ответом. Уклонился:

— Слово надо держать.

...Окунулся Иван в домашние заботы с головой, забылись, словно смылись с души и тела все хвори, вроде привиделись ему на миг та смертно-белая операционная, нудное больничное заточение — будто не покидал он этой весной родимого гнезда. Время от времени в таком странном состоянии — вдруг не ощущалось столь привычной за многие годы боли — он спохватывался (неприметно для ближних) и начинал дотошно ослушивать самого себя. Общаюсь с больницей и ее людьми, Иван научился чувствовать внутреннюю жизнь собственного организма, чують, как он называл, соотнося с мотором машины, рабочее состояние будь то сердца, желудка или другой не менее важной детали своего тела. Прислушивался Иван: и, кажется, там покалывало острым игольным кончиком, прижигало.

— Сам придумываю, оно и болит, — встряхивал он по-лошадиному головой, отгоняя навязчивые наваждения, как липучего овода. Прислушивался опять и убеждался: совершенно точно, что там нет никакой боли. Легкий на руку Ратиев все-таки выжил ее прочь оттуда.

— Отпустило, — улыбался неверяще Иван.

Отпустило, действительно. Да ненадолго. Железной крючковой хваткой, будто набравшись силы, боль так впилась в нутро, что просто хотелось взять нож и пырнуть острым жалом в болочее место. И тогда, казалось, наступит успокоение.

Как затраведая в мокрое лето дорога, обузилась у Ивана жизнь.

В означенные доктором дни Чабрец наряжался в выходную одежду, собирался в райцентровскую поликлинику. Скоро за воротами с улицы пронзительно «пипикал», истошно пугал кублившихся в проселочной пылюке растрепанных кур, резко надавливая на сигнал, шофер колхозной молоковозки с приплюснутой желтой

бочкой вместо кузова. (Маруся с председателем и самим Борькой договаривалась, чтобы подвозили Ивана).

— Готов? — крикливо спрашивал Борька, с жестяным скрежетом открывая Ивану дверку кабины. Не дождавшись, пока попутчик влезет и устроится на затертом и продавленном сиденье, он выбрасывал встречу растопыренную пятерню с присказкой «держи кардан!» и так старался жать руку, что у обоих хрустели ладони, рывком отпускал вперед им самим же разгоряченную машину, отчего с грохотом захлопывалась дверка.

Борька, рослый, кругломордый и на редкость белявый парень. Лицом всегда вроде удивленный чем-то — широко поставлены округлые серо-голубые глаза, подвздошья опушенные густыми ресницами. Отличался он еще и тем, что никогда — будь подле собеседник, наедине, мать говорила, даже во сне — не молчал, тараторил без умолку, все рождающееся и вертящееся в его большой голове под капелюхой шестидесятого размера с ходу слетало с языка.

— Кино в телевизоре про шпионов смотрел? Там наш, я засек, не меньше килограмма за раз в ресторане усидел. Конечно, коньячки всякие подают. А ему хоть бы хны. Чешет по-ихнему. Надо же так, контроль не терять. — Борька на минуту задумывался, прицокивал языком, и тотчас пытался по-своему объяснить увиденное. — У них, наверное, таблетки есть специальные. Глотнет парочку, спирт в животе растворяется и становится обыкновенной водой.

Борька тут же загорался:

— Вот бы нам таких разжиться, а?

Иван одобрительно поддакивал кивком головы (неудобно, тебе добро делает человек, подвозит тебя, а ты его тут не поддерживай). Борька мечтал:

— Возник на дороге Коломойцев (автоинспектор, гроза всем шоферам в округе), указывает палочкой. Я ему: вас понял, мерси, значит, — подруливаю, а в животику уже таблеточки свое дело делают. К экспертизе готовы. Подставляй, Вася, любую трубку — фукнем в нее. Сам посинеешь и позеленеешь от того, что навару тебе не будет, а мы опять гулять.

Парень глянул на попутчика и хохотнул:

— Если не пронесет после тех таблеток.

Борька молол себе, но, отмечал про себя Иван, дело тоже знал. По ухабистой и каменистой колее не разбежишься, проселок уткой ныряет вверх-вниз по крутосклоньям, мотор же машины гудит не натужно, потому что водитель чутко подбирает подходящую скорость.

Наклонившись к Ивану, Борька доверительно сообщал:

— Я отцу дорого стоил, пока учился в автошколе. Одних штрафов за меня на шестьсот рублей заплатил. — И начинал припоминать свои похождения.

— Рыбу в Косянском ставку глушили, мне руку разворотило. Хирург талдычит: только отрежу. Я не даюсь, какой же из меня шофер будет с одной рукой?.. Доктору говорю: свою бы, небось, пожалел отрезать. Отстоял, и срослась. Зажило, видишь, как на собаке...

В разговорах и путь короче.

Высадив Ивана у больнички, Борька, прежде чем отправиться дальше на молочный завод, уточнил:

— Заезжать сюда или у базара сойдемся?

Когда дотолковались, он вдруг подмигнул своим светло-голубым оком и попросил:

— Не паникуй почем зря, дядь Вань. Я же про себя рассказывал: заживет как на собаке.

Иван засмеялся. Так неприятно чувствовал он всегда себя у ступенек больничных заведений. Тут засмеялся и вроде отлегло от души тяжелое.

Сразу за обшарканным тысячами подошв порошком поликлиники в любую пору устойчиво держался знакомый всякому пропитанный лекарствами дух. На него, конечно, не пчелы слетались, но заставленные пальмами-фикусами с будто жестяными листьями и без того тесноватые коридорчики ровно гудели от людских разговоров пчелиным роем. Иван облегченно вздохнул: у незадернутых белой занавеской глазниц регистратуры уже не было толкучих очередей, рассосались по врачевным кабинетам. К прилепленному у окошка подлокотнику боязливо придулилась старушка, Иван видел ее только со спины: под цветистой простенького материала кофтенкой выпирали острые лопатки.

— Вам куда? — спрашивала из окошка медсестра, важно выговаривая слова в нос.

— Нога у меня болит, спасу нет, — жаловалась старуха.

— Я русским языком, — гундила медсестра, — спрашиваю: к какому врачу вас записать?

— Ногу крутит.

— К хирургу или терапевту?

У старухи сходились и расходились на спине лопатки, комкая кофтенку, она пыталась втолковать, как у нее болит нога. Выдававшая талончики медсестра, не выслушав, начинала вслух гневаться из своей бойницы.

— Тут не успел пожить, а болезней куча — и то не лезешь к врачам, терпишь. В восемьдесят лет уже пора чему-нибудь болеть.

— Терпежу уже нет, — благодарно раскланивалась перед окошком старуха, — дай Бог тебе здоровья.

Медсестру ту Иван не то, чтобы недолюбливал, но всякий раз у него портилось настроение, когда он с ней сталкивался. Молодая женщина, уже не по возрасту располневшая, набрякшая голова посажена прямо на туловище, вроде и шеи нет, ей приходилось поворачиваться всем телом в тесноватом по ней кабинете, задевать при этом выступы шкафчиков, которыми с низу до потолка была уставлена регистратура. Может, потому она всегда с недовольством на лице выслушивала людей. Бог с ней, с ее тучной фигурой и малоприятным голосом, но вот обслуживала она больных неразворотливо, да еще смотрела на всех выстаивающих перед ней, как Ивану казалось, свесив толстую губу, заранее предвидя, что они, толпящиеся в регистратуре, прикидываются, выдумывают себе хворобы, а сами вполне здоровые и понуждают ее нагибаться-выпрямляться в поисках нужной бумаги.

Когда Иван заглянул в окошко, на столе прозвенел телефон.

— Але, регистратура слушает вас, — вдруг непохоже на себя пропела толстуха.

Тут она знает, как отвечать — подумал зло и поморщился Иван.

— И мой размер поступил? Импортные?

— Да ты что! Отложи! Конечно, отложи! Бегу!

Приятное телефонное известие так встряхнуло регистраторшу, что она проворно подхватила со стула, с ходу разыскала и сунула Ивану серенькую бумажку талончика на прием к врачу, вместе с ним и больничную карточку. Указала:

— Медсестре отдашь.

Хлопнула стеклянной дверцей окошка.

Иван, тоже довольный — все так быстро обошлось в регистратуре, сгреб с отполированного локтями до зеркального блеска подлокотника бумаги и, не задерживаясь, заспешил к кабинету, где принимал Влас Николаевич. Справился у ожидающих насчет очередности, сел на уже разогретый солнцем и потому свободный стул.

— Жар костей не ломит, — сказал соседу, подвинувшемуся вместе со стулом с солнцепека в холодок. Сосед разговор не поддержал.

Напротив, на мрачно-зеленой панели, подведенной чуть не под самый потолок,

на гвоздике косо висел изученный мухами санитарный бюллетень, популярно разъясняющий вред курения и алкоголя. Все те черные картинки Иван видел не раз, от нечего делать взялся разглядывать свою растолстевшую от вклеенных листов больничную книжку.

Фамилия, имя, отчество...

Отыскал строку диагноза.

По глазам ударило врачебное название страшной болезни. Он не ошибался: буквы немецкого языка не забыл с пятого класса, а имя болезни слышал не раз в больничных разговорах.

В первый момент Иван не осознал, что все это написано о нем. Невидяще обвел взглядом сидящих по коридору — никто не обратил на него никакого внимания. Опять впился глазами в заглавный лист, точно проверял: не сунули ли ему по ошибке чужую карточку. Нет, выписано крупными буквами: Чабрец. У Ивана заплясали в руках бумажки, и он положил их на колени, руки не слушались. Сгорбившись, будто облокотясь, вцепился пальцами в сиденье стула, пытаясь унять трясучку.

Пролистал еще страницы книжки, но дальше ничего не смог разобрать в тех каракулях.

— Отогрелся на солнце? — Иван догадался, что это обращаются к нему, лишь когда сосед не тронул его плечо. — Двигай стул в тенечек, я ж место тебе высвободил.

Чабрец провел ладонью по щеке и тут только почувствовал, вроде холодная роса выступила на лице.

— Чабрец! — окликнула, выйдя из кабинета, медсестра Ратиева. Иван не услышал ее голоса. Отозвался только, когда она подошла к нему почти вплотную и вытянула вперед руку, проговорив:

— Где ваш талончик?

— У меня и больничная книжка. Оттуда передали, из регистратуры, — бормотал невнятно себе под нос Иван, не вставая со стула. Бормотал и почему-то отводил в сторону глаза, как прогрешившийся мальчишка перед учительницей. Но бумаги отдал даже с облегчением, будто они были заразные.

Медсестра занесла карточку в кабинет и следом же возвратилась, приостановила того, кто уже встал у двери, готовясь переступить порог. Не стала выслушивать объяснений насчет очередности, в приемной зашевелились все ожидавшие приема, встревоженно выкрикнула Ивана к врачу, а сама торопливо застучала каблукми по коридору в сторону регистратуры.

Иван вдруг больше всего сейчас забоялся, что при девке расплатится там, в кабинете хирурга, и потому, пока она не вернулась, быстрее шагнул через порог.

— Заходи, Чабрец, заходи, — услышал знакомый сипловатый голос Власа Николаевича. Кивком головы указал Ивану на стоявший напротив стул, а сам продолжал писать.

Окна без просветов были задернуты шторами и занавесками, сквозь открытую раму слышался с улицы шепот листвы, но Ивану здесь показалось жарко и душно. Не мог догадаться расстегнуть у себя ставший тесным ворот рубахи. Не замечал, что по лицу рясно зависли капельки пота. Только и думал: будет молить, выпрашивать у доктора — неужели это все, неужели нельзя ничего поделывать, ведь сейчас и жить терпимо, а ведь болело и пострашней, вовсе невыносимо. Но, глядя на все занятого бумагами доктора, вдруг озлился: зачем мозги тогда запудривает, все, мол, у тебя, Чабрец, как и должно быть. Явившаяся злость не то, чтобы несколько успокоила Ивана, — выпрямила ему спину. Тяготило затянущееся молчание. Ратиев все чертил строчками бумагу, а Иван не знал, с чего начать разговор. Кашлянул, вроде напомнив о себе, но доктор так и не отложил авторучку.

Закончив дела, прирученным пальцем пододвинул вверх к переносице очки, уточнил:

— Карточку в регистратуре на руки выдали?

— На руки.

— И что ж ты в ней вычитал?

Иван ответил расстановочно, даже с каким-то вызовом:

— Что написано.

Опять помолчали, глядя друг на друга. Иван сидел спокойно, ждал, что теперь скажет Влас Николаевич. Доктор беспорядочно постукивал пальцами по настольному стеклу, точно загонял, выстраивал в ряд слова, которые он должен был говорить.

— Чабрец, слушай меня внимательно. Написанному там, в карточке, пока нельзя верить на все сто процентов. Это предполагаемый, но еще не точный диагноз твоей болезни. Мы, врачи, всегда готовимся к худшему, чтобы оно не стряслось на самом деле. Мне самому не все еще ясно: не прислали, например, результаты анализов из областной лаборатории. Слежу за твоим организмом, за его состоянием и стараюсь упредить всякие послеоперационные осложнения. Возможно, вскоре тебя еще придется положить в больницу на дополнительные обследования. Да не возможно, а точно.

Иван хотел его остановить, высказать сомнение насчет того: делал ли доктор ему внутри операцию или резал только чтобы поглядеть на внутренности. Но врач не дал высказаться, продолжал говорить свое.

— Поверь мне — это мои уже заботы. Мы ведь твой хлеб едим, а не допытываемся: когда его сеял, какой сорт и как молотил. Скажешь, отчего я тогда кинулся в объяснения? Хлеб ты можешь вырастить и без меня. А я поставлю тебя на ноги без твоей же помощи не могу. Опустись крылья — никакое лечение не подействует. Настроение тоже лекарство, да еще какое.

Ратиев сызнову указательным пальцем подтолкнул на место сползавшие очки, не сводил сосредоточенных глаз с Ивана.

— Ты должен, ты просто обязан не допускать в голову всяких черных мыслей. Понимаешь?

С трудом разомкнув слепившиеся губы, Иван пообещал:

— Понимаю.

— А раз так, то сьмай рубаху и ложись на кушетку.

Вставив себе в уши трубки, доктор щекотливо холодил тело присоской и замирал, Ивану всегда казалось — пытался услышать ток его крови. Схоже Иван сам вслушивался в стук занедужившего мотора, доискиваясь до причины неполадок. Чабрец сейчас неотрывно следил за озабоченным доктором, но тот вроде не выказывал на лице никакой тревоги. Ослушал, оглядел, дотошно распытал, где и как болит. Опять сел за стол выписывать рецепты. Перед тем, как отпустить Ивана, наказал:

— Договорились, Чабрец, без черных дум.

За кабинетным порогом, не отступив от двери, Иван лицом к лицу столкнулся с толстухой из регистратуры. Напуганно вытаращены глаза, бело-розовые пятна, как с мороза, расходятся по заплывшему лицу. Иван догадался: из-за него ее сюда вызвали. Хотел вернуться, попросить Ратиева за толстуху, вроде раздумал, буркнув мысленно:

— С этой не убудет. — Хотя сразу же он понял, что погода будет корить себя, потому не прихлопнул за собой двери. Ратиев вопрошающе поднял лицо.

— Ночами сон не идет от безделья, — пропишите успокоительного.

— А я тебе выписал, будешь брать лекарство — в аптеке пояснят.

Иван топтался, кашлянул в кулак:

— Вы ее не очень распекайте.

— Кого? — не понял Влас Николаевич.

— Эту, — Чабрец кивнул в сторону коридора, — из регистратуры. Что карточку мне дала. Она уже стоит, дожидается.

Ратиев осерженно по-мужски ругнулся, добавив:

— Ты за нее не печалься, она и без тебя зарабатывает.

Там, в докторском кабинете, на словах все выходило складно и понятно. Иван вроде не то, чтобы полностью поверил в услышанное, но согласился с тем, в чем убеждал его Ратиев. Только того спокойствия хватило лишь на сотню шагов по дороге от крыльца больничного заведения. В душу скользкой гадюкой вползло тяжелое предчувствие неотвратимого.

Когда Иван в первый раз попал на курорты, с цветными талончиками пошел принимать прописанные врачом целебные ванны, то засмотрелся на песочные часы, привешенные на стенке в каждом отделении. До того то ли не приходилось с ними сталкиваться, то ли не замечал, а тут заинтересовался — штукавина занятная: две стеклянные рюмочки состыкованы в ножках трубочкой, запаяны, внутри чистый песок. В отлакированном кафелем ванном отделении не за что и глазу зацепиться, мокни в водичке да приглядывая за непрерывистой песочной струечкой, за убавляющейся в верхней рюмочке коричневой горсткой. Ивана удивляло, как просто придуманы часы, по своей залатанной, но выверенной годами «Победе» замечал их на точность, глазу не верилось, что верти не верти — раньше отведенного срока не закончится сыпучий ток будто намагниченно слитых песчинок.

Служительницы водолечебницы каждый раз наказывали одно и то же: грудь не погружать в воду, голубым цветом приятную на вид, но неподобную запахом — отдающую тухлым яйцом.

— На сердце вода подействует, худо может быть.

Этими запретами лишь раззадорили Ивана. Не утерпел попробовать-таки, как это вода, пусть и минеральная, с ходу скажется на работе живого и здорового человеческого сердца. Высмотрев, когда отлучилась служительница, погрузился остороженько в купель по самую шею и обрастал на загляденье жемчужной одеждой из воздушных пузырьков. Вслушивался, вслушивался в тарахтенье собственного мотора, но так до конца и не понял: то ли, действительно, зажалось сердце, то ли ударило в голову тяжелым духом сероводорода (нос ведь очутился над самой водой), — но Иван, казалось ему после, чуть не утонул. Хорошо, что руки надежно и цепко держались за края ванны и выбросили тело наверх, когда помутнело в глазах. Повиснув на боковушке, старался отдышаться, проморгался, а перед лицом все так же в часах сыплется песочек, рушится в стекле вершина горушки и вырастает новая. Пожалуй, в ту минуту Ивану почудилось, что видит само отпущенное ему время оставшейся жизни; кончится песочная струйка, зависнет и сам в этой чертовой ванне — так напугало случившееся.

— Запросто мог бульбы пустить, — погода вспоминал о том уже с усмешкой.

А песочные часы с того случая засели в голове. Нет-нет, да отчего-то и думалось: поставлены они на каждого живущего на этой земле, с момента самого появления на свет белый отсыпана всякому своя горсть. Живет себе человек: ходит, ест, спит, вечно колготится — вроде добывает лучшую долю, а не ведает, что судьба уже распорядилась с ним по-своему.

Думалось чаще так, когда сталкивался с внезапной кончиной знакомого человека. Сельцо невелико, народу негусто, а случалось уже не раз: нынче зимой Тимофей Кошельников вышел поутру у коровы подуправиться (навоз отбить, сена с кукурузной сечкой скотине намешать), нет и нет его в хату, жена выскочила кликнуть за стол, мол, Тимош, все остывает, а муж лежит с вилами в руках под стож-

ком уже холодный. Ефим Цуканов разве собирался на тот свет, «Запорожца» продал и все выпрашивал у наезжающих к родичам из городов земляков, где бы «Волжанкой» разжиться, а его по своей же дури и жадности грузовиком накрыло. Василий Волошин только дом десять на восемь метров отгрохал, а сам лег в другой, по росту сколоченный колхозными плотниками.

— Раньше вроде такого и не было.

— Водка рассобачила людей, никакого укороту нет.

— А машин тогда разве стоко было.

— Про болезни невылечимые не слышали, а теперь на каждом шагу. — Так иной раз судили-рядили Иван с Марией. А повспоминав, соглашались, что не вся правда в их рассуждениях, что не стоит гамозом валить все беды только на день нынешний, хватало и раньше болезней, выпивок. Просто с возрастом больше замечается, да и учащается уход живущих одними заботами рядом с тобой людей.

Одно дело — поговорить о смерти, зная, конечно, что она неминуема для всех, но твой последний срок где-то так далеко, что в него и не верится. Но чуют ее холодную руку на плече — почти всякий скажет: пока не приведи, Господи. Тем более в Ивановых годах, когда еще вроде и для тебя выкрикивают песню о том, что не надо печалиться, потому как — вся жизнь впереди.

— Вроде мешком из-за угла отемяшило, — говорил сам с собою Иван, покинув поликлинику. Не думать о том, что вычитал собственными глазами, не брать в голову, как наказывал Ратиев, черные думы, он не мог. Нет, Иван, понятно, полностью не поверил вычитанному в больничной книжке приговору. Убеждал себя:

— Вилами на воде писано, руки-ноги ведь в силе, а что нутро палит, так оно всю жизнь болит.

А тут же следом накатывал страх и слизывал все надежды, будто шершавым коровьим языком подчистую. Спрашивал себя:

— Неужели, Иван, все — отходил свое?

Болезни этой он остерегался давно. Услышал о ней и увидел ее, когда еще лечился в армейском госпитале. На глазах умяла здоровенного старшину-сверхсрочника, уроженца кавказской стороны. Запомнилось: из палаты, в которой лежал больной, по всему коридору, забивая лекарства, как дамскими духами, пахли южные фрукты.

— Доктор, птичье молоко будэт, токо вылечи, — не раз громким клекотом говорил врачу кавказец, явно гордясь тем, что его, не в пример другим больным, не забывают родственники и земляки. Перед кончиной он уже молил доктора:

— Сдэлайтэ, штоб это кончилось. Нэ могу тэрпэть.

На поминки кавказца раздали всем палатам апельсины или мандарины, Иван их впервые держал тогда в руках, сдуру укусил, как яблоко, не очищая шкурки, и потом морщился сколько не от горечи, а от дружного гогота сокоешников.

— У нее, заразы, не откупишься, — соглашался со своими мыслями Иван.

А вот уже в сельце года три назад было, эта же болезнь пристыла к директору школы. У того институтский друг в большие начальники вышел — министром работает. Не зазнался: быстро отозвался на письмо давнего товарища. Директора положили в самую главную по этой болезни московскую больницу. После лечения приехал оттуда, бабы судили, вроде справный. Мужикам он все рассказывал про министерскую жизнь друга, с которым повидаться так и не довелось ему. Возвратился министр из поездки в дальнюю страну, так его врачи на карантин посадили, остерегаются, как бы какой чумой не заразился.

— Рисковое дело и у министров, — соглашались мужики.

— А то нет, — расплался школьный директор, — это нам, глухарям, тут кажется, что поехать с визитом в дальнюю страну так же просто, как проведать кума с кумой в ближней Рахмистровке.

Хвалился, как щедро кормили в столичной больнице: бутербродами (хлопцы сразу же с подначкой, усмехаясь, допытывались: «А бутылбродов не было?») с черной и красной икрой, шоколадами, бананами и ананасами. Говорил директор о мудреном лечении, из всего сказанного Иван понял только, что там больных облучают радиацией из специальной пушки. Слушать директора сельчанам довелось недолго. Ни друг-министр со столичной больницей; ни черно-красная икра с пушкой его не спасли — получил лишь отсрочку. Опять слег и больше не поднялся.

— От нее, клятой, не открутишься, — мелькало в Ивановой голове.

По селцу уже повелось, как напасть: не о молодых речь, уходит из жизни отживший положенный нынешним временем век старый человек, в разговорах одно только и слышно — не своей смертью помер, та, невылечимая хвороба заела.

— А когда она, смерть, как своя? — Скорее всего не спрашивал Иван, а примерялся в памяти к возрасту ушедших близких и знакомых людей.

По райцентровским улочкам вслед за машинами не оседала, оснеженным туманом держалась меловая белая пыль. Не отмахиваясь от нее, шел Чабрец из поликлиники, не выбирал тихих и потому непыльных улочек. На чьем-то подворье поднимали стропила над «хатой на хате», двухэтажным домом, вырастающим по новой моде, завезенной залетными скворцами (так пришлых строителей, сынов кавказских гор, прозвала степная Россия). Пыль Ивану пускай приелась, но вот выделяющийся на сельской улице дом так и остался незамеченным. Разве Иван всего какой-нибудь час назад прошагал бы мимо, не разглядев до кирпичика строящуюся новинку. Белявый Борька, не ломая устоявшейся привычки, весь обратный путь не закрывал рта, но — заставь Чабреца повторить то, что молот его спутник, не получится; вроде и слушал, а не слышал. Молоковозка клевала сверкающим на солнце носом, кланяясь каждой колдобинке; обочь полевой дороги оставались уже поспелые хлеба, ясно красовались светлым желтоцветьем, вот-вот косовица на подходе: хоть взрезанный плугом, но выделялся (который век) осевшим горбом древний курган, заставляя вспоминать тех, кто когда-то прошел здешними краями — ничего этого Иван не видел.

Кольнуло опять уже знакомое недоброе предчувствие, когда дома, в сельце, проезжали у всхолмья, заселенного кладбищем. И тут Иван вдруг горько отметил: в кабине машины сидел он крайним к окольцованным железными решетками столбикам-пирамидкам с жестяными звездочками и почерневшим крашеным крестам, будто увязшим в некошеных травах.

Глаза сами выхватили материну могилку, память увидела близкое до невыгоднейшей боли родимое лицо.

— Мама, правда, что моя очередь собираться сюда? — Только хрустнули пальцы в сдавленных Иваном кулаках.

На кладбищенской меже, раскутив до земли густую зеленую шапку, одиноко стояло старое дерево дикой груши. Чутко отзывались на ветерок, вспыхивали и серебрились кропленные солнцем отлакированные листочки дички.

— Белый как стена, — почти вслух ойкнула Маруся, встретив Ивана еще у ступенек крыльца. Лицо у него и вправду во время болезни осунулось — один нос прежним крючком торчит, а глаза глубоко запали, — теперь еще и кожа взялась бледным нездоровым цветом, четко проступили припрятавшиеся было морщинистые бороздки, будто вспахал их кто в эти поддня.

— Вань, не бери в голову. А то — о чем будешь думать, оно и явится, — попросила сквозь слезы Маруся, выслушав Иванов сказ о поездке в больницу.

— Думай не думай. Под грушу всем отправляться.

Постояв молча у окна, Иван спросил:

— С тобой об этом, наверно, говорил доктор перед тем, как делать мне операцию?

— Говорил, — не отказалась Маруся. — Объяснял так же, как и тебе: остерегаются этой болезни.

Кисни дождевыми слезами оконное стекло, столбом крутись в желтом зное пыль, разгулявшись, завывай верховая метель — в любую непогоду Ивану было бы легче. Нет же, светла и ясна даль. Всякая травинка, букашка каждая к солнцу тянутся, на глазах радуются дарованному природой счастью жить на земле. А тут раздирают душу в клочья стоящему на ногах человеку, с виду крепко стоящему, цепкими когтями мысли черной масти.

Разом взмахивая пожухлыми, как картофельная былка, руками, мимо двора колготно гнала уток старуха преклонных лет, соседка Чабреца.

— Гыли! — кричала на стаю отъевшихся неторопыг, еле ворочивших по земле впереди себя набитые зобы. — Жандары! Было б чего ухватить — и меня слопаете.

Старую без ветра качало. Ей-то, пожалуй, давно подступил черед собираться под кладбищенскую грушу. Пережила не только Ивановых родителей, хотя еще и с дедом, которому внуку не удалось влезать на плечи, сама сказывала, возила с поля снопы, а бабуся в детстве жалила крапивой, заловив ее в своем садочке на яблоне.

Не раз жаловалась Ивану:

— Не дает Господь смерти.

— Чего ее кликать? Сама придет, еще и отсрочку попросите.

— Не-е, — трясла старая головой. — Уже, Вань, нажилась. Увидела, сколько и не думалось. Спокоя хочется.

А Иван вот не нажился — уже пришла, сказала: «Твой черед».

— Милый, не бери в голову, — плача, просила Маруся.

— Бери не бери, — отвечал Иван, понурившись.

Заживо он хоронить себя не собирался. Временами даже злился вслух:

— С чего это я сопли распускаю.

В тяжелую минуту, как всегда, спасала работа. Не сидел сложа руки, колготился, сколько позволяли силы.

В домашнем крестьянском хозяйстве забот (даже когда все налажено, крутится колесом, только слегка подталкивай) с виду лишь по той самоуверенной присказке: начать да кончить, попробуй влезь, зацепись, краю им не видно. И без хозяйства сельскому жителю не обойтись. По молодости еще можно покуражиться — повыханаживаться.

— Сдалась мне эта корова. В колхозе паши и дома спину не разгибай — раб, что ли.

Потом: дите запросит «мони дать», носом учуешь жареного гусака, томящегося в печи соседа, увидишь и убедишься, что порося может оборотиться в «Жигуля», веско поспособствует тому, чтобы тебе встать на собственные уже четыре резиновые ноги — и станешь жить, как все. При случае пожалуешься собеседнику на выпавшую на твою долю планиду. А раздумаешься: вроде так и надо.

— Чего б мы в городской скворешне делали? — имея в виду многоглазую пяти-, девяти-, и повыше-этажку, затевал выяснять Иван у кума Алешки Балабаева, когда на праздники встречались за чаркой.

— Лакашами заделались бы, — кум любил на свой лад перекраивать знакомые слова, вкладывая в них более понятный, как ему казалось, смысл. — Законные восемь часов отдай стране, а там два выходных — вынь да положь. В квартире с городскими удобствами будь самым хозяйственным, все одно — гвозди за день все вколотишь. Женку не грех и обделит своим свободным часом, потоскует, милее станешь. Остается: гуляй, Ваня! Лакай, покуда в кармане звенит.

— Лакать вроде и при хозяйстве поспеваем.

— Не говори, кум. Кто ее, горькую заразу, нам придумал. Но, заметь, мерки придерживаемся, до нитки все с себя не спускаем. Кулачки из нас потихоньку получают — дай Боже.

Тут у кумовьев обычно доходила очередь подначивать друг друга нажитым богатством.

Иван в таких душевных беседах оглядывался и удивлялся: ведь, действительно, год к году не только обстроился заново, как никогда раздалось по косогору в размерах родовое подворье. Пока дом под жестяной шапкой ставил, пошла по сельцу пошерсть (то, что в данном случае культурнее именуется модой) обзаводиться кухнями. Хоть и не крайняя в ней нужда, да дело неплохое, особенно по лету. Меньше в доме пахнет поросычьим варевом, пополудни зайдешь из душного желтого пекла будто в другой мир, чистая прохлада держится в комнатах и нет надоедливого гуда неотвязчивых мух. Удобство, а к нему не меньше — хотение поспеть за тем же кумом. Расчистил Иван место от покривившегося, подпертого бревнами старья, и отбухал из глиняных саманин, пудовых кирпичей, сарай с размахом, тракторный отряд на постой туда определяй — свободно разместится. Третий занял под кухню — чем не дом: в три окна, печка с лежанкой, полы настлал деревянные. Пока мать жива была, там кухарили и столовались. А когда семья поубавилась, Мишку еще в армию проводили, Маруся перевела кухню в дом на веранду — надоело ей с посудой из дверей в двери носиться, в запустелой кухоньке готовит теперь только скотине еду. В крыле с другого края сарая корова зимует, перед дверью кошара обополовыми досками огорожена, есть где потоптаться скотине на вольном воздухе. Кухню и коровник посредине разделяет беспотолочное помещение, в нем и по обе стороны чердака сено хранится — хорошо в сухом помещении сохраняется, в стожке же на улице корм переводится в оттепельную зиму.

Управился Чабрец с сараем, глядь, а кум еще сарай для малой живности гондобит, порушил плетневые курятники-свинушники. Опять Ивану не к лицу отставать.

Мимо двора водопроводную трубу проложили, не ходить в яр с коромыслом на плече за водой. А чтобы и к уличной колонке не топтать тропу, Иван провел отводную трубу чуть ли не к крыльцу, над выгнувшимся из-под земли «гусак» с краном само собой требовалась крыша — так появилась собственная водокачка.

У гаража долгая история. Двухногий мотоцикл не устраивал Ивана. В хозяйстве необходим не только конь, но и телега. За деньгами дело не стало бы: сберкнижки имелись у Ивана и Маруси — нечего было купить. Председатель колхоза посылал Чабреца в райисполком, где ставили на очередь за машинами и мотоциклами, но она двигалась очень и очень медленно, да и часто нарушалась; находило поветрие: продавали лишь свекловодам, а чуть погода — животноводам. А Иван, как назло, именно к моменту распределения мотоциклов то кукурузу сеял, то на комбайне пшеницу косил и молотил. Маруся уже говорила:

— Давай на меня очередь перепишем.

А тут местные хлопцы стали привозить трехногих коней из самой Москвы, где покупали их с переплатой в одном и том же магазине.

Выждав незанятую неотложной работой неделю, щедро политые дождями осенние дни, отправился на раздобытки мотоцикла и Чабрец. В московской суতোлке с трудом отыскивал по рассказанному адресу магазин, запрятанный в нижнем этаже высокого дома.

— Не метро, тут бы сам черт заплутал, — рассудил Иван, оглядывая коробчатую громадину, ничем не отличимую от ближних и дальних корпусов, толпившихся городскими улицами.

Улучил минуту, когда возле мужчины-продавца не крутился народ, поговорил с ним:

— Мотоцикл шукаю. Из села приехал.

Подтверждалось его деревенское местожительство не только южнорусским выговором, но и обувкой. Свежая, хрустящая химической тканью куртка, вся в ловких застежках-молниях и блескучих пуговицах, не выделяла Ивана в столичном людском водовороте. А вот на ноги пришлось натягивать кирзовые сапоги. Из сельца к железнодорожной станции путь был неблизок, и дорогой, как водилось по такой погоде, не раз нужда заставляла вылезать из кузова вездехода и плечом помогать выдохшимся лошадиным силам распаленного мотора выбираться из взявшейся водой грязи. Привычные ногам сапоги вдруг отяжелели на асфальте городском, тянули колодами под нет-нет да и спотыкающимися взглядами встречных. А Ивану всегда неприятно было чувствовать себя под людским досмотром, потому даже в сельце долго не мог наломиться одевать новую одежду, отделявшую его, как ему казалось, ото всех.

Здесь, в магазине, сапоги сослужили добрую службу, Иван подметил: продавец мельком, но цепко приценился к нему. Заинтересованного виду не подал, вздернул к потолку руки, волосатые и худые (ссунулись вниз широкие рукава затертого халата), зацокал языком, не говорил, а пел:

— Очередь, дарагой. А для нее масковскую праписку нужна иметь.

Иван огорченно и понимающе покивал головой: а мы, мол, деревня, думаем — здесь все так просто. А сам, как и советовали мужики, не спешил уходить из магазина. Топтался у витрин, заваленных железом. С любопытством и удовольствием (в помещении пахло колхозной мастерской) разглядывал каждую штуквинку, стараясь угадать ее предназначение. До того завлекло его это занятие, а тут еще вдыхал родной запах машинных смазочных масел, что даже забылся, где он и зачем сюда заявился. Оттого вздрогнул, когда незнакомый мужчина, на лицо скидывающийся с густобровым продавцом, только что без темно-синего халата, с такими же вертучими глазами (Иван их после рассмотрел), толкнулся локтем. Шелвельнув губами, проронил:

— Тебе мотоцикл нужен?

— Ага, — спохватившись, не сразу отозвался Иван, — тяжелый, «Урала» шукаю.

— Могу уступить очередь. Подошла, а я раздумал брать. Уступаю, сам понимать должен, не за так.

Столковались тут же, у магазина, в малолюдном углу. Торговаться особо не пришлось, цену Иван знал раньше, сотенные незаношенные бумажки, снятые накануне отъезда со сберкнижки, уже хранились отложенные наотделе в нагрудном кармане пиджака. Правда, Чабрец предупредил:

— Плату полностью отдам только на вокзале. — Глуповато вытаращил глаза, вроде попытался прикинуться простодушным Ванькой, и, сам почувствовал, — ловко это у него вышло. Про себя подумал: как артист. Говорил, шлепая губами. — Ты смеешься, а у меня, чего доброго, мотоцикл отберет милиция.

Москвич застонал.

— Деревенька моя святая, прости Господи, вслух подумаешь. У тебя же все документы на руках. По закону обставлено.

— Это ты точно сказанул: в момент и меня обставят. — Упрямо держался за свое Чабрец. Все валял Ваньку. Сам прикидывал: барыш-то порядочный берешь, так сослужи хоть службу, все входы-выходы, небось, знает пронира.

В конце концов все получилось, как присоветовали свои сельчанские хлопцы, как хотелось Ивану: хлопотами прониры быстро отыскалась машина с фанерчатой будкой вместо кузова, жидковатые лишь с виду, но расторопно ухватистые парни

(запомнились, удивив, черные колпаки с наушниками на головах) погрузили тязеловатую и громоздкую покупку. Москвич тоже оборотисто распоряжался деньгами. Не своими ведь — часом едва не озлился Чабрец, да тут же одумался: один он не обобрался бы колготы, потратился, а не уладил все дела легко и быстро. Потому Иван даже уважительнее стал смотреть на навязавшегося приятеля.

Через считанные часы голубой (небесного цвета и с золотистыми лампасами на боку — какой и желалось Чабрецу) мотоцикл о трех ногах, обшитый обполовыми рейками, покоился в железнодорожном пакгаузе.

По дороге, как принято добрыми людьми, управились обмыть покупочные дела. Захмелев не сколько от вина, больше от сутолоки и на радостях — обзавелся какой машиной, — Иван настырно зазывал москвича приезжать в гости.

— Рыбачить есть где? — практично осведомлялся тот.

— А то нет. Ставки рядом, отходы с зернотока туда высыпает, карась с жиру уже хрюкает. На Дон можно выехать.

— Испити шеломом Дону, — непонятливо выразился москвич.

— Чего? — переспросил Чабрец.

Приятель нахально хохотнул:

— Любопытствую у сельского труженика: сам-то, небось, только мороженого хека и ловишь?

— Все знаешь, собацюра, — качал головой и смеялся Чабрец. Угадывал ведь: Ивану при его занятости нескончаемыми заботами то колхозной, то домашней сельской жизни, да еще в летнюю пору, не до рыбалки, и если что он смыслил в ней, суходольный житель, так это — с какого конца за уду берутся.

Рассчитываясь с москвичом, Иван безо всякой зависти, на правах приятеля, сказал:

— Ловко у вас деньгу можно зарабатывать.

— Деревенька, прости Господи. Люблю за открытую душу, — молот подпитый проныра. Начинал обниматься. — Добрый ты, Ваня. Думаешь, все деньги мои? Так бы нам и продали мотоцикл...

Благополучно закончив путешествие, Иван не раз обстоятельно обсказывал жене свои столичные похождения.

— Отчего бы их (о мотоциклах шла речь), не наделать, чтобы рядами в магазине стояли, как велисапеты, — прямодушно высказывалась Маруся. — Неужели никому не видно: спекулянтов плодим.

— Город большой, всем кормиться надо, — уклончиво отвечал Иван, не считая нужным пояснять жене: не так это просто в масштабах государства: сразу выложить всем всего, чего желается. — А то, о чем бы с тобой и говорили, если просто — пошел и купил.

Мотоциклу нужен дом. А Чабрец еще и записался в райисполкоме в список покупателей автомашин. Так что приходилось гараж затевать строить с таким расчетом, чтобы вышел повместительней.

— Хоть машина не скоро будет, но с гаражом одним разом отбуду черед, — решил Иван. — А то эта стройка кого хочешь ухайдакает.

Спервоначально жилой дом ставил он еще в охоту. Осточертело жить в той старой клуне, застыло поклонившейся улице прижмуренными оконцами, в хате с низкой притолокой, где выпрямишься — ходи с шишаком на макушке, с вечно холодным земляным полом, мало знаемой нынче «доливкой».

Нанимал Иван сторонних строителей, у самого себя почти два года не просыхала спина, Марусе досталось работы непочатый край. Наконец-таки дождался той минуты — просохли выкрашенные дощатые полы. Самому не верилось — на радостях через голову по-пацанячьи кувыркнулся, слезы застлали глаза — построил дом. Маруся увидела, только и сказала:

— Ты, случаем, не тронулся? — Стучала пальцем у виска, а сама, смеясь, тоже зашла в слезах.

Почти без передышки взялся Иван гнестить сарай с кухней, тут и вовсе умаялся. Пока саман — увесистые с пуд кирпичи из глины с соломой — заготовил, лесом-шифером запасся. Глушил трактор, не успевало остыть железо двигателя, а Иван, не вымыв замасленных рук, уже торчал на домашней стройплощадке. Топор умел держать, наловчился и стены класть.

— Деньги есть, найми человека, — упрашивала теперь Маруся, когда надумали ставить гараж. — Здоровья же уже нет.

Иван и вправду тогда чаще стал прихварывать. Кивал головой, вроде и соглашался с женой. Хотя подумать: ему было и жаль отдавать нажитые трудом рубли за дело, с которым вполне мог справиться самостоятельно (гроши же сгодятся, сыны подрастают). Вдобавок — привередливый Чабрец не особо доверял в любых заботах стороннему человеку. Если ремонтировал трактор-комбайн, то только сам.

— На дядю понадеешься, на покосе дядю только и будешь поминать недобрым словом, — обычно рассуждал Иван. И теперь возражал жене вроде шутливо, но и серьезно:

— Кто постарается в наймах сделать тебе, как надо?

— Ты же стараешься, — говорила Маруся.

— Откуда ты знаешь?

— Ну тебя, — отмахивалась жена. — Сам черт тебе не угодит!

Но, пожалуй, больше всего Иванова душа не переносила, чтобы кто-то работал на него. Когда дом ставил, тут уж никто не обходится без людской помощи. Но — чтобы так, по мелочи...

Приноравливался ко всему с неизменной присказкой:

— Голь на выдумку хитра.

Надо кровельщиком быть, помудрит, помудрит не торопко, глядишь — получается не хуже, чем у любого мастера. Штукатурить, плотничать, столярничать — пожалуйста. Стиральную машину, телевизор — и то сам умудряется чинить. Нет дома Маруси, корову доит, не бежит звать соседку в помощь.

— Господи, севостожить какой-то гараж: три стенки да потолочина — всего-то и дел, — поначалу прикинул вроде уже и наученный несладкими строительными заботами Чабрец. Опять-таки сам засучил рукава. Вышло же не совсем легко и просто, как думалось. Кликнул кума Алешку, столбы поставили за воскресенье. А вскоре и двухскатный верх выделялся шахматной доской с зелеными и серыми клетками, крышу Иван укрыл шиферными листами в два цвета. Кум советовал обшить стенки доской и не морочить голову. Чабрец же погнался за дешевизной — в сенокос заработал у лесника усохший на корню дубняк, годный больше на топку, но бережливая натура степняка взяла в нем верх, пожалел пускать в распыл покореженный трудным ростом кругляк, затеял тесать его и прилаживать в пазы меж столбами. Стенка выходила крепкой.

— Танком не проломишь, — согласился Алешка. — Перестоит и твоих сынов. Но топориком, кумок, поклюцаешь. Сразу готовь точило.

Иван, действительно, руки себе поотбивал, за какой обрубок ни возьмись — сучок на сучке. Простывал сколько раз, нижет под навесом сквозняк. Когда обитый железом свежеекрашенный гараж смотрелся ладной скворечней, Иван ему не радовался. Очень устал.

Зарекся:

— На мой век хватит строек. — Сказал о себе, как в воду глядел. Говорил, а неощуренные бревна вновь скоплялись перед двором.

Выбитый теперь хворью из колеи, оказавшись не у дел, Иван бродил по подворью и видел: без руки хозяина прежнего ладу в доме нет. Перекосило воротца,

скорей всего, корова выдрала с петель, Маруся подвязала их сношенным чулком. Заставлено книжной обложкой выбитое окошко кухоньки. Валяется брошенный, как попадя, инструмент. Разворочены дрова.

Винить за то Марусю язык не поднимался, у нее бабьих хлопот не оберешься.

Думалось маегное: зачем это все — надрывался, тянулся, выкладывался, старался не потратиться. Сынам? Им же хочется побыстрее оседлать собственные колеса. Велосипеды ржавеют, мопед не подходит, Олег пацаненок совсем — уже к мотоциклу примеряется. Им бы ехать.

Для себя старался? Только устроился жить — судьба обделяет. А устроился? Вроде этим гаражом и кончились твои хлопоты. Завтра еще что-то новое явится на ум, бревна на кроквы уже лежат. Может, оно так и написано тебе на роду — работать, надеясь на лучшее, обстраиваться до последнего дня и часа?

Чтобы не брать черных мыслей в голову, Чабрец стал выходить на люди. Но просто же ошиваться белым днем мужику по селу не пристало, считал совестливый Иван. Находил себе дело.

— С утра пойду в тракторный отряд, — говорил Марусе, — кран нужно починить. К помидорным грядкам трубы проложу, чтоб с поливкой ты не утруждалась.

Какой кран и зачем его чинить — жена допытывалась лишь для виду, знала: муж занудился в четырех стенах.

Людская нива принимала Ивана, вовлекала в нескончаемый круговорот забот и дел, помогая забыться хоть на время.

Только вышел за ворота, направился в сторону тракторного отряда. Там среди скопища техники по выгону кузница, мастерская, гараж — колхозный машинный двор, лишь название ему осталось с давних времен, когда там выбрали стоянку, когда определили на постой первый трактор. Тормозит попутный грузовик.

— Ты все гуляешь, Иван?

— Нужда заставляет.

— Оклемайсь, наработаешься еще, — Гриша хлопает тяжелой ладонью (она у него и с виду, что лопата) Чабреца по плечу. Он намного моложе Ивана, но от роду нахальноват и со старшими всегда чувствует себя ровесником. С расспросами Гриша больше не пристаёт, а выговориться ему хотелось. Требовалось тоже заглушить свою боль, после вчерашнего глаза мутные. Вечером он ходил по соседям, пошатываясь и с дитем на руках. Это у него было в обычае, подопьет, мальчика (а у него их уже трое) на плечо, как на просторную скамью, — и пошел бродить по селу, приставая с пустопорожними разговорами ко всякому встречному.

— Слышал, Вань, я в посевную с ячменем попух? — Гриша не торопил машину. — А, ты же как раз на операции лежал. Расскажу...

Чабрец знал этот случай: Гриша позарился на семенной ячмень. Ночью возил зерно в поле и завез домой со склада оклунки непротравленного ядами ячменя. Наутро про то уже знали председатель с партгором. Заставили Гришу по-тихому сразу же ссыпать назад ворованное. Пожалели молодого мужика, а больше его детишек, не стали оглашать это дело. Да и колхозу было не с руки терять работника в самой силе. Лишили Гришу новой машины, которую весь уборочный сезон отрабатывал он хозяйству в дальней командировке. Перевели его в слесари, а теперь держали на подмене.

— Наказали раз, крепко, — гоношился Гриша. — Не отступаются. Прощтрафилсь! Я же не у тебя, Вань, брал, не у соседа в сарае — в кол-хо-зе.

— За колоски, было, людей в тюрьму сажали, ты не захватил этого, — проговорил Иван, не выказав сочувствия. Но Гриша уже, видимо, слышал такое, повернулся с готовым ответом:

— Еще раньше на костре живьем людей сжигали.

Чабрец не стал с ним спорить или поддакивать, да и к отряду уже подъехали. Про себя только подумал жалостливо: «Гриша, Гриша, ничему-то тебя жизнь не учит. Сидел бы сейчас за колючей проволокой, строил химию — как бы тогда пел?»

Иван сам себя святым не числил. Приходилось ночами украдкой завозить домой в кошнителе комбайна копешками просяную солому, кукурузную сечку — кормок получше. Нужда припирала: в поле дотемна гинешь, а к своей корове черед не доходит. Колхозное начальство научилось не замечать тех левых заездов. Не разрешали брать корм, механизатор укорачивал рабочие сутки, с косой рыскал по степным ярам. А разреши — всем того же захочется: пастух скажет: чем я хуже комбайнера, отчего по неудобьям должен сено сшибать. Председатель только упреждал:

— Лишку, хлопцы, не берите. Шуму меньше по селу.

Доводилось Чабрецу и трактор урывать на домашнее хозяйство. Особенно когда строился.

Чтобы на хлеб замахнуться? Сколько живет на свете, за ним такого не водилось. Хоть рядом и не один Гриша нахрапом пользовался тем, что работных рук селу недоставало, жил, считая: и все вокруг колхозное, и все вокруг мое.

— Глянь, сосед какого кабана в заготскот повез. Машину купил, теперь, говорит, деньги на книжку надо восстановить, — не без попрека иногда порывалась корить Ивана жена.

— А то у нас на машину грошей нет. Голы, босы и голодны, — посмеивался Чабрец. И растолковывал Марусе, что на ворованном мало кто наживался, что в конце концов не стоит завидовать тому богатству. Обсудив загребущих, жена соглашалась с Иваном:

— Живешь, людям не совестно в глаза глядеть.

Иван попросил Гришу остановить грузовик у комбайнового ряда, с него начинался машинный двор.

— Мужиков проведаетшь? — спросил шофер и, крикнув, замотал большой головой, как лошадь. — Мне б самому в самый раз свидеться с тем, кто задолжался. Как кто потоптался по тебе. До вечера не доживу.

— У меня дома есть початая, забегай, полечу, — пригласил Иван.

— Дома-то не выпивка, Мария разгонит, — говорил Гриша, придерживав машину.

Тихое утро не успели порушить рокотливые моторы. Слышался стук железа о железо, переговаривались голоса. Ивана тянуло к комбайнам, не из-за поломанного водопроводного краника шел он сюда. А шел — через силу, шагал по густо разросшемуся меж разбросанным железом калачнику.

Остановился у своей машины. Была своей. Теперь возле нее хозяйничал другой человек. Иван знал: городской, присланный на уборку. Познакомились с ним, перебросились парой слов — и закопался горожанин в сумке с инструментом. Чего обижаться: чужие друг другу люди. Комбайна стало жаль Ивану, чего и боялся. Показался понурым — маслянистые потеки на боках залипли половой, погнута жечь, то тут, то здесь наспех приторочены проволочные петли взамен потерянных креплений. Чего спрашивать с человека — приехал сезон на машине отбыть.

— Ваню! — не дал пожуриться Чабрецу его ровесничатый тезка Иван Безручко, высунул лысую голову из-за бункера, усы себе веселые отрастил. — Явился втихаря, без доброго утра!

Подошли, протирая полынком почерневшие от масла ладони, свои мужики. Пытать о здоровье хлопцы Ивана сильно не стали, втянули в разговоры. Как всегда выступал Безручко. Прикрикивал на молодежь.

— Вчера, как недоенные коровы ревище подняли: не будем до полуночи работать, артисты приезжают! На концерт! А сами — тот на хутор, тот в посадку с девами котовать. Водку по селу рыскают, не нажрались.

Смеялся и над собой.

— Поел борща, сразу напала икота, зевота. Умылся, чтоб хоть капуста с губы не свисала. Жена в концерт собирается. Я ей: приляжу чуток. Только и успел подумать, что завтра нужно молотильный барабан оглядеть, каменюка там гремела. Кинулся ото сна аж под утро.

Прикрикивал на штурвального, рослого, как громоотводина, подростка. Мишка пытался ему перечить:

— Вчера раскрывали этот очиститель.

— Книжку читай, если мне не веришь: пыльная работа — необходимо чистить его каждый день.

— А когда работа у нас не пыльная?

— Мишка-Мишка, что мне с тобой делать. На товарища Федю Ефимова глянь — за ночь человек коробку передач раскидал.

— Когда заклинило? — спрашивал Чабрец у Федора, согнувшегося в три погибели над разложенными в траве железками. Встал рядом на колени.

— До часу ночи муздыкался. — Федор мараковал над коробкой не обозленным, с усмешкой обращался к железке. — Говорил тебе: масло сильно кушаешь, меня не слушаешь, оно тебе и отозвалось. Пожадничала.

Явился и механик, Станиславович.

— Чего у тебя, Федор? Лапки, подшипник. Мало радости. Я б на твоём месте коробку не разбираю. Сломанную снял, а готовую на складе взял. Через час в загонке с комбайном. А мы ее отправим в ремонт.

Иван с Федором оба разом уставились на механика.

— Из-за лапок и подшипника — в ремонт? Тут же плевое дело, а спуют с колхоза на полную катушку.

— Конечно, на полную. За реставрацию, — согласился Станиславович. Вразумил комбайнеров. — Машина простоит в жаркую пору уборки, дороже обойдется. Разумнее надо хозяйствовать.

Он встал, аккуратно стряхнул налипшие на брючину сухие травинки.

— Пойду, согласую вопрос с инженером.

Федор сплюнул вслед. Сказал себе:

— Тебя хозяином учили быть.

Не дожидаясь приглашения, Иван подвернул рукава рубашки.

— Не мажься, — попросил Федор.

— Чего уж там.

Всего и поговорили.

— Штангиста бы вам, смотрели по телевизору, — советовал Безручко, не отрываясь от дел. — На одной руке поднял бы вашу бандуру и не крикнул. Двести двадцать шесть килограммов с ходу взял. Во, нужный нам человек.

Как не занят был Иван, а опять недобро защемило, когда услышал — сменщик заводит его комбайн. Зацокал нервно стартер, не успел набрать обороты пускач — двигатель поторопился включать, а он и захлебнулся. По новой горячится. Вымучил машину, пока не выстрелил из выхлопной трубы черным дымом.

Иван не позволял себе так обращаться с машиной.

Садился на то же сиденье, легонько палец приставлял к кнопке, погонял маленько пускач до той секунды, когда он уже набирал голос, и тогда понуждал двинуться с места отполированным валам, скрытым в теле мотора. Мотор и не успевал обиженно взречь, в ивановых руках податливо рокотал, готовый к работе.

Не пойдешь же сменщику разъяснять?

— Упрись-ка со стороны, — передал Чабрецу монтировку Федор. Избочил голову и, как малый, высунул от усердия кончик языка.

Ладили комбайн. После зашел к токарю да починил краник.

Солнце уже давно набрало силу, припаливало в макушку.

Где и хвори Ивановы были.

А домой опять двигал окостенелые ноги через немоготу. И еще мытарнее было душе.

Ведь жилось и думалось: ни там — на светящемся свежей соломой поле, ни здесь — у машин, без меня и дела не будет. Вот так же перед жатвой ноги скрутило, недолежал ни в больнице, ни дома. Исхитрился валенки обуть и сесть на комбайн. Никто ведь не силовал. «Без меня там дела не будет». Будет, Ваня, будет. Нынче сменщик приехал, завтра другой Иван встанет.

А о тебе что подумают? Еще и скажут — жадный. В то лето, когда он в валенках ковылял к комбайну, так и судили. Жадным он был до работы. Деньги не так делают, проще откормочный свинарник во дворе завести.

Падкий до работы. Одного Бога и знал Иван всю жизнь — работу. Бабуся намолилась:

— В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься...

Без бабуся, наверное, обошлось. На роду планида выписана. Пока работает человек — и земля ему в кормильцах. Но об этом Иван не думал.

Кто-то тронул Чабреца, воровски вырвав сверток с краником из-под руки.

— Уже нечего у меня брать, — потерянно сказал Иван, глянув пустыми глазами на сельчанина-шутника.

Марусино сердце — вешун, как кто палкой ее гнал — торопилась домой.

Впрямь, что-то случилось. С улицы бросилось в глаза: дверной проем курятника не прикрыт деревянной решеткой, сколоченной из обаполовых планок. По раннему холодку обычно выпускали засидевшихся на насесте нахохленных кур на волю, а вскоре заманивали их зерном назад и держали взаперти, иначе не уследишь — выгребут не у себя, так у соседней огородную рассаду.

Бежала разгоряченная быстрым шагом Маруся во двор — точно, квохчет пестух на грядках, значит и все куры там прячутся в густой и зеленой былке.

Свекольные ростки выклеивают — догадалась Маруся. Схватила хворостину в руки. Тут бы и мужу вгорячах перепало, не усторожил.

— Кыш-ш! Клятые, — шумнула, да и запнулась на бегу: подмяв под себя картофельные кусты, ничком лежал на земле ее Иван, сгорбленный и недвижимый.

— Ваня! Ты... — Маруся зашлась в крике, где стояла, там и села онемелая, подломились ноги.

То ли от ее надломленного голоса, то ли сам по себе Иван зашевелился, перевернулся на спину и попытался поднять голову.

— Тебе худо? — очнулась от столбняка, бросилась помогать ему Маруся. Помертвелыми пустыми глазами посмотрел на нее Иван. Приходя в себя, силился выдать слово:

— Сомлел я. Напекло голову.

Маруся и сама уже догадалась. Возле мужа в картофельном междурядье валялись опрокинутое ведро, старый растрепанный веник. Колорадских жуков вышел Иван собирать.

Он уже не первый день толкся — сокрушался:

— Как виноград повис жук на картошке. Плодучий, зараза.

— Жарко, любит, наверно, такую погоду.

— Нада собирать его, пока былка целая, — колготился Иван.

— Охолонь. Хоть всю картошку пускай сожрет, — говорила Маруся. Когда видела, что мужу невтерпеж сидеть без дела, предлагала:

— Вечером разведешь в ведре яду, мы с Олегом опрыскаем весь огород. Аппарат только настрой.

— Не хотелось. Картошка в цвету, завязывается.

— Соберем и без тебя, не колготись.

Куда там — послушается Иван. Вышел на огород в самую жару.

Маруся спохватилась, выхватила из рукава платочек и вытерла Ивану побелевшее, как мел, лицо. Когда удалось ему встать на ноги, поддерживала и суеилась рядом.

— Опирайся на меня, горюшко ты мое, — тараторила безостановочно, обрадовавшись оживающему Ивану. — Сидел бы в холодочке. Хворый же, кто тебя на работу силует.

— Былку помял, — оглядев вытоптанную в картофеле поляну, вдруг огорчился Чабрец. — Сильно помял. Не отойдет.

— Нашел, об чем тужить, — озлилась Маруся. — Пропади она пропадом! Не подохнем с голоду. Ты за собой лучше последи. Сколько просить: поберегись!

— Ничего страшного, отлежусь, — виновато оправдывался Иван.

Красовалась белыми и розовыми звездочками в свежей зелени дружным цветом раскустившаяся картошка. Не только у Чабреца, по всем огородам. В сельце сажали ее под лопату и все разом, апрель расщедрился теплыми погожими днями. А после в срок, как по заказу, шли благодатные дожди. Лягушки турлыкали чуть ли не в густой огородной зелени. Селяне уже тревожно упреждали нежелаемое: то, как бы не вымокла картошка, когда поднялась почти в пояс — как бы не пожировала, не расходовала земные соки на былку. Облегченно не успели вздохнуть: пошел потоптом через огородные межи ржавый жук. Первое время его присутствия со стороны не видно, лишь когда взглядишься: попадутся жухлые источенные кусты, отмеченные жуком. Выпадает незанятое другими заботами время, вот и ходят медленно сгорбленные люди по картошке, вначале сметают расплодившуюся тварь в поганое ведро. Жаловались друг другу:

— Спасу нет.

У кого кончалось терпение, брался за опрыскиватель — и сеял по картошке мелкий ядовитый дождик. Усмирял жука, да ненадолго. Оживший, скоро опять он выползал, будто из земли, и кровавыми каплями зависал на листьях, ненасытно обжираясь зеленью.

А Чабреца угасавшая боль заставила не просто отлеживаться. Придавило Ивана так, что уже почти не поднимался с постели. И теперь он сильнее уверовал в то, что врач не ошибся. Почувствовал: занедужил именно той невылечимой болезнью, название которой люди и вслух стараются не произносить. Подступилась, взяла она его за горло и вряд ли теперь отпустит.

На сердце маета, а нутро пекло невыносимо. Не справлялись с болью уже и лекарства. Если помогали, то на короткий час.

— Господи, да за что же ты меня так наказываешь? — жаловался непонятно кому, остервенело скрипел зубами, когда оставался в доме сам. Поминал Бога, хоть никогда и не веровал в него. Просил про себя:

— Отчего не дашь покоя?

Умом понимал он раньше, когда о скоропостижно покинувшем белый свет человеке судили: хорошо помер. Душа же не принимала эту мысль, чтобы кончину человеческой жизни можно было называть хорошей. Всякому человеку она одинаково страшна. Древняя бабка, которая на людях не докличется смерти, чуть заколет в боку, смывается прыщик, и то — бегом к фельдшернице.

— Полечи, милая! Пропиши лекарство!

Сейчас же прихватило Ивана — ничто не страшило, согласился бы на все, лишь бы побыстрее кончались эти нечеловеческие муки. Силы его оставляли.

— Как оно болит, Вань? — участливо пыталась облегчить его страдания жена.

— Вроде зажало тебя железной дверью, прищемило и — то отпустит чуток, то сильнее надавит, — скупо объяснял Иван, сморенный вконец. — Муторно.

— Ты потерпи, милый, потерпи. Поеду в больницу, выпрошу у доктора лучших лекарств. Есть же они, наверно.

— Устал уже, Марусь, — вдруг признавался Иван. Жена знала: жаловался он редко, а это, значит, допекло.

— Ты потерпи, — просила Маруся.

Просто устал так жить Чабрец. Чаще и чаще накатывало одно: кончались бы все его мучения одним разом. Отстрадаться с ходу насовсем. Оставаясь в одиночестве, начинал думать — а не поторопить ли самому конец? Нет, в петлю совать голову он не собирался: было больно представить себя висящим на веревке.

— Стерплю, — приказывал себе, до крови закусив губу, когда терпеть становилось невмочь.

А черные мысли не покидали Чабреца. Организм уставал бороться с болезнью, а голова напряженно искала свое.

И нашла.

По заведенному годами порядку Иван брился электрической жужжалкой. Розетка под боком, и встать с кровати не надо. Брился лежа, избочась повернулся неловко — и выдернул вилку не из розетки, а из гнезда на самой электробритве, чуть не обожгли руку оголенные штырьки; Чабреца передернуло всего. А когда осторожненько набрякшими пальцами взял небольшую вилку, то сверкающие никелем штырьки губительно глянулись в его выпцветшие глаза будто ружейным дулом. Тут и дошло до сознания:

— Взяться за них, зажать в кулаке — и конец всем страданиям.

Долго держал аккуратную вилочку на весу, смотрел на нее. Состыковал проводку — ожила, неприятно задребезжав, затрясла руку скользкая бритва. Дотошно елозил по подбородку, пока чисто не выбрился. Как всегда ладком, виток к витку, смотал шнур, уложил бритву на свое место в коробку и поставил ее на ближний подоконник, широкий — окна вторые выставлены на лето.

С того случая чтобы ни делал, глаза вроде магнитом тянуло к бритве.

— Только зажать в ладони покрепче.

Смелела и крепла черная мысль.

Чабрец заметил: болезнь начала отдалять и отделять его от людей, очертила вокруг него незримый запретный круг. Заходили сельчане проводить недужного. Долго не рассиживались, оно то и понятно — все в летних заботах, вроде пытались подшучивать и смеяться, не пеклись лишний раз об Ивановом здоровье в разговорах. Мужики, так те являлись не с пустыми руками, топорщились карманы. Иван, конечно, не выпивал, прикладывался губами к стакану «за компанию». Но все это: и почти беспричинный смех, и натужные беседы, и торопливые выпивки — получались жалостливыми. Что еще расстраивало Чабреца: люди старались не смотреть ему в глаза, виновато отводили их в сторону.

— Как к покойнику идут, — укорял их про себя Иван.

Ведь действительно — он не ошибался. Верно чувствовал, что встреча с ним людей тяготила, как посещение кладбища, как похороны, как лишнее напоминание о том, что все — не вечны.

Даже сынишка смотрел на отца напуганно и отстраненно. Наслушался досужих разговоров.

Не изменяется, заботлива и участлива одна Маруся.

— Ты чего не на ферме? — очнувшись от дремотного забытья, спрашивал Чабрец.

— Отпросилась, дома побуду. А то заскучаешь тут.

— Чего здесь сидеть? Сам не улежу, — недовольно ворчал Иван. Ворчал больше для виду, одному в пустом доме и вправду оставаться было страшно нудно.

— Усидишь с вами, мужиками, — тоже для отвода глаз ворчала жена. — Работы непочатый край. Одного белья нестиранного куча.

Она не будет без хлопот ни минуты. Хотя в доме чисто прибрано, постирано и выглажено белье, наготовлен обед, управила и хозяйство — найдет себе работу.

Выпытав у Ивана сны, поддевает его:

— Дурню дурное и снится.

Гоняет Олега, отлынивающего от домашних дел.

— Ты постарайся хорошо вымыть полы, плохо само выйдет.

Советовалась и соглашалась с мужем:

— Удивляемся: дети вырастают непридатными к работе. Они же ее не видят, все жалеем их. А когда начинаем принуждать, принимают и понимают работу, как наказание.

Дела, хлопоты, разговоры — и все же, как ни старалась Маруся удержаться в настроении, чтобы не опечалить мужа, так получалось не всегда. Встретится Иван с ней взглядом, видит — опять глаза у жены тревожно заслезились.

— Вань, может, свозить тебя в Чертково? Люди говорят: там немец объявился, от всех болезней лечит на дому.

— Ты думаешь, он умнее доктора?

— Ничего я не думаю, люди говорят: помогает.

— Мне уже не поможет.

— Не раскисай, Вань, — начинала слезно упрашивать мужа Маруся. — Чего заживо отпевать себя. Влас Николаевич сказал: только опасается этой болезни.

— Чую ее, Маруся, — отрешенно говорил Иван и сводил к переносице глубоко запавшие отстраненные глаза.

Но стонал и плакался Чабрец лишь сам себе, оставаясь в одиночестве.

— Накатила! — до белого каления сжимал кулаки, зубы как не крошились. — С костями жрет!

Опять и опять являлись на глаза оголенно блестящие два штыря. Не раз Иван отсоединял вилку от бритвы, та, захлебнувшись, умолкала. Держал, не касаясь, обнаженный провод. Решиться обрушить в себя невидимую силу — не мог.

С оголенным шнуром в руке, вилка не вытянута из розетки — таким его и застала Маруся.

Догадалась обо всем сразу. Хотя вроде и не женского ума дело.

Выхватила провод чуть ли не с настенной розеткой, и наотмашь хлестанула Ивана по лицу. И еще раз. Тот оторопел, не успел даже оборониться, не прикрылся хоть ладонью.

— Осатанел! — задыхалась в крике.

Иван подавленно молчал. Красные полосы проступили поперек лба.

— Удумал! — так же зло выкрикивала Маруся.

С этим словом озлобленная оторопь с нее спала. Уткнулась лицом Ивану в ноги и зашлась в слезах.

— Зачем решился? Тебе легче? Только тебе? А о детях подумал? Твой отец так сделал, как тебе б жилось? — спрашивала с укором, когда выплакалась, когда здесь же повинилась перед мужем за случившееся.

— Перестань плакать, — просил Иван. Он не отговаривался, не оправдывался. После отвернулся к стене и лежал молча и недвижимо.

Когда Маруся, уходя из дому, взяла коробку с бритвой и положила ее в шифоньер, дверная створка которого запиралась ключом, Иван глухим голосом попросил:

— Оставь на месте.

Маруся послушно положила бритву на подоконник.

Бессонная ночь что год недужному человеку. Вроде старался Чабрец днем не дремать. С вечера лекарства утихомирили боль, усталость сморила. Забылся, не услышав, когда и жена улеглась, кончив домашние хлопоты. Забылся, как провалился туда, где нет никого. Потом вдруг привиделось: зажат он, Иван, в железных тисках, дело происходит в колхозной кузнице; паренек, скидывающийся на самого Чабреца, в такой же серой кепке, которую долго носил, вернувшись из армии, повернет рукояткой на один оборот — и скалится, крутит винт волосатыми по локоть руками, а железные челюсти все сильнее и сильнее стискивают Ивано-во тело; прищемил и гогочет, только голоса его отчего-то не слышно; и уже не паренек, патлатая уродина наваливается всей грудью на рычаг, распахнут рот, вместо зубов оскаленные лезвия бритвы, а боль непереносимая — криком кричи. С нею и просыпается Иван. Весь мокрый, тело взялось горячим потом, запутался в простынях, перехватило как бечевой грудь,дохнуть нечем.

Раскрылся, сбросил покрывало. Тряхнул головой, изгоняя приснившуюся на-пасть.

На улице месячно, погожий лунный свет и в доме.

Пригляделся, чуть не сплюнул с досады: стрелки часов не успели отметить полуночь — и опять не уснуть, хоть глаз коли. Знает Чабрец: нескончаемо будет течь время. Горы дум переворочаешь, лоб покраснеет от них, как голова не треснет. Онемеют бока, отлежишь их, устав ворочаться. А тут еще болящее нутро уже не во сне, а наяву прижимает, будто теми же железными челюстями кузнечных тисков.

Криком кричи — не поможет.

Умаявшись за долгий день, спит покойно Маруся, не шелохнутся пружины дивана. Нет-нет, кидается ото сна за дощатой стенкой Олег, вскрикивает, пыта-ясь дозваться кого-то, улошная беготня для него не кончается.

А часы? Днем их вовсе не слышно, а сейчас бьют по голове, как кувалдой по наковальне.

Не уснуть Ивану до свету.

Когда уж совсем становится немогоду, тихо встает с кровати. Босыми ногами вступает в старые растоптанные валенки, по пути в сенцах с гвоздя сдергивает Марусину телогрейку, запахивается в нее, не вдевая рук в рукава, первую минуту ватная стеганка отдает ледяным холодком, и сразу же теплеет. Во дворе, присев на ступени крыльца, Чабрец облегченно вздыхает — не потревожил в доме сон невольным скрипом или шумом.

На улице белым-бело, будто днем. Округа же видится непривычной в лунном свете. Хорошо знаемые очертания строений, те же — деревья, трава, и вроде не-земное все, как не у себя, как не дома — в глухом памороке.

Омертвляет Чабрецу округу каким-то вымороченным светом хоть и нарумя-ненный месяц. К тому же и недвижимо ничто, оттого на земле кажется еще пус-тынной.

Благо — живые голоса слышны. Чуть ли под самыми пятнами у ног в густо раз-росшемся перед верандой хмеле на все лады трещат кузнечики нескончаемым тон-ким свистом. Напуганная шорохом падающих яблок снялась с ветки и шумно пролетела ночная птица.

Как пролил кто духи, воздух пропитался запахом отцветающего кориандра, засеяно им нынче поле прямо за околицей.

Не спится Чабрецу не одному: в степной стороне на белом поле рокочут моторы машин.

Месяц в самой светлой силе, но не затмевает четко означенных на темном небосводе звезд. Всмотритесь: ведь и они не вечны — прочертила стремительно ог-ненную тропку и погасла падучая звезда.

А у Ивана душу опаляют думы, бегущие черным кругом.

Чтобы отогнать их, вконец отвязаться, стал вспоминать отца. Может, подтолкнул к тому незабытно засевший в голове Марусин крик, когда она его застала с оголенным шнуром в руке.

— Твой отец так бы сделал?..

В тяжкие болезненные дни в сознание являлась мать, ее он чаще звал, когда уже вытерпеть выпавшие на долю страдания было невмочь. Просил мать облегчить муку скорее всего потому, что ведь отца он почти не знал. Приходил со службы, запомнилась пропахшая чужим солдатским запахом колючая шинель. А когда вскоре опять провожали его, уже на фронт, опять-таки виделась больше заплаканная мать.

Что еще отыщется в кладовой памяти детских лет? Сам отец запечатлелся в ней, наверное, больше по одной случаем уцелевшей семейной фотографии, где они сняты втроем: на близко сдвинутых табуретках сидят отец с матерью, а меж ними стоит, ухватившись за плечи, коротконогий Ванюшка. На маленькой фотокарточке лица толком не разглядишь, уже много лет спустя после войны мать отдала ее увеличить пришлому фотографу. Погодя, заждавшись его возвращения, ругала себя:

— Совсем умом тронулась, старая. Испортит карточку, а то и потеряет, нужна она чужому человеку.

— Никуда не денется, деньги за то зарабатывает мужик, — успокаивал ее Иван. — Набрался по селам заказов, не разбежишься.

Чабреца не было дома, когда заезжий мастер принес вложенные в белокартонное паспарту портреты. Отдельно он увеличил маленького Ванюшку, на другой сблизил плечо в плечо молодых мать с отцом.

— Схоже, — советовалась с сыном мать, вытирала уголком платка красные от слез глаза, спрашивала: — Только для чего он их разрисовал?

— Кусок культуры прицепил! — ругнулся про себя Иван. Фотограф наделил отца галстуком, а мать нарядил в белый кружевной воротник.

— Чтоб красивше было, — объяснил Иван матери, пусть она не кручинится попусту.

Смастерил он деревянную рамочку, завели в нее портрет под стекло, вывесили в простенок — привыкли к нему. Дом перестроили и фотографию выставили на прежнее место.

Что бы ни делалось здесь, садились за праздничный или поминальный стол — на жизнь семьи как из застекленного окна смотрели с фотографии отец с матерью.

Чабрецу казалось: отец глядел понимающе весело, когда поселялась в доме радость. Являлись раздоры, Ивану порой становилось не по себе (ловил на мысли) от отца взгляда, он, виделось, корил его за случившееся. Приходила беда, чудилось, принимал ее и отец на свои плечи...

После кончины свекрови Маруся попыталась убрать весь настенный семейный иконостас с родными и близкими лицами, даже альбом под фотографии купила, толстенный, как двери, зеленая плюшевая обложка.

— Не заведено сейчас фотографии вешать на стены, — вразумляла она своему Чабрецу, — некультурно.

— Где это ты почерпнула? — допытывался Иван и ворчал. — Дожились до того, что совестно на глаза родичам казаться, прячем их подальше, в сундуки.

— Ты чего? Живые они на карточках тебе, что ли, — удивилась Маруся. Убирать рамки с фотографиями не стала. Недовольная только гудела, когда затевала побелку в доме — Пыль да паутина копится тут...

А после уборки радовалась, как нарядно смотрелись комнаты, украшенные как

картинами, поверху прикрытые ниспадающими к полу миткалевыми рушниками, расшитыми по краям яркими цветами да птицами. Сама вышивала в молодости, старалась красу творить.

— Поумнела, сдуру чуть не выбросила, — укоряла себя вслух.

...И смотрел на всех с увеличенной фотокарточки молодой мужчина. Густой чернявый чуб зачесан вверх, выказав широколобое открытое лицо, на которое глянешь и сразу почувствуешь душевное достоинство в глазах, покойное и внимательное. Сосредоточен, отчего чуть старили его глубоко запавшие глаза, вилюжистые морщины над редкими бровями и в уголках слегка раскрытого рта. Будто собирался сказать что-то важное ему, Ивану. И не успел.

Таким представлялся отец Ивану, когда он думал о нем, когда в освященный печалью День Победы на сельской площади у островерхого обелиска вычитывали в длинном для жителей сельца списке дорогих утрат отцово имя. Когда в толпу колокольным гулом ложились слова:

— Вечная им память!..

О нем думал и сейчас, коротая ночь на высвеченном угасающем месяцем крыльце.

— Батя, я намного старше тебя, — сказал Иван и очнулся от звука своего же голоса.

Никогда до этой минуты в прожитой жизни с такой ясностью он не представлял, что отец ведь погиб совсем молодым.

— Батя, я намного старше тебя.

Иван знал, но не чувствовал это с такой предельной ясностью.

Он вскочил и, заволновавшись, зашагал туда-сюда часовым маятником по двору. Будто сам стоял в солдатской степи на заснеженном русском поле. Будто ему сейчас предстояло умирать хоть и на родной земле, но в далекой от дома стороне. И от этой мысли в душе вскипела злость на себя.

— Распустил сопли, раз-зява! — произнес вслух, сказал громко.

...Перед самой зарей на землю пала холодная роса, Чабрец не заметил того, еще долго сидел на помокревшей остылой ступеньке, пока не кликнула его встревоженно Маруся.

Странное дело, но после разговора с самим собой той лунной ночью Чабрецу стало легче жить.

Нет, боль не утихла, день ото дня злобилась сильнее и сильнее. С души свалился тяжкий камень: Иван переступил страх перед смертью.

— Вань, тебе легче стало? — заметила перемену и Маруся, обнадеженная смотрела мужу в его недремные глаза. Иван отмалчивался, а затем все же признался в своих думках об отце.

— Выходит, мне довелось жить подольше.

Маруся пожала плечами: что тут непонятного, не знал об этом раньше?

— Грех мне жалиться на судьбу, — пояснил Иван.

Говорил об этом Иван и с колхозным председателем, когда тот заехал его проведать. По годам ровесники, относились они друг к другу уважительно. Не отказался гость от угощения, которое Маруся быстро спроворила на стол. Выслушал председатель Чабреца внимательно и поддержал беседу.

— Знаешь, как в давние времена нас называли: Иванами, не помнящими родства. Вроде и сходится. У себя спрошу: кого? — деда знаю, а годами подальше все в синей дымке тает.

— Мой дед в первую германскую с фронта не вернулся, — вспомнил Чабрец. — Слышал, что в Болгарии кто-то из старших сложил голову. Может, прадед?

— Вот-вот. О чем и говорю: кровного родства особо не помним. А задумаешься иной раз: ведь далеко тянется наш крестьянский род, через всю историю. Я вот еще когда в школе учился, так больше всего старался отыскать в книжках по истории свою фамилию. И сейчас такой же: что ни читаю, кино смотрю — будто себя вижу там, в тех временах.

Не белое вино разговорило председателя, здоровьем не выделялся, тоже прихварывал частенько, выпил он самую малость, больше из приличия, чтоб не обижать хозяев.

Выпала у человека минута откровения.

— Юбилей подходит, в газетах о Куликовской битве заговорили. Думаешь, Иван, в той сече без нас обошлись?

Не может того быть.

Через огни-воды прошли. Стоим. Будем стоять. Вон — у тебя какие орлы подрастают. Служивый пишет? — перевел председатель разговор на домашние дела. — Моя дочка заневестилась. Гляжу: письма с чернильным солдатским штампом получает.

Чабрец же не отступал от затеянного разговора, душу хотелось отвести.

— Отцы памятники заслужили. — Напомнил: — На Мамаевом кургане вместе смотрели.

— Поставят и нам.

— Железную звезду кузнец из жести вырубит, — криво усмехнулся Иван.

— Пока железную, — согласился председатель. — А после нас разберутся, может, и большего заслуживаем.

Помолчали.

Распытывал Иван у собеседника о колхозной жизни, поговорили о погоде.

— У доктора о тебе похлопотать, попросить чего? Мне Ратиев не откажет, — спросил председатель, прощаясь.

Иван не стал отнекиваться.

— Прищемит порой так, что спасу нет. На стенку лезу. Лекарства, говорят, сильнодействующие есть. Мне хоть бы на ночь боль унять.

То ли председателева просьба дошла до Ратиева, то ли так и положено врачевным распорядком, но Чабреца еще положили в больницу. Осматривал его опять Влас Николаевич, втолковывал Ивану:

— Диагноз не подтвердился лабораторным анализом. По новой исследовать тебя будем.

Глядя доктору в остекленные очками глаза, расстановочно и твердо, как о давно решенном, сказал Иван:

— Не надо меня исследовать. Я ее уже не боюсь.

Ратиев выдержал его взгляд, не отвернулся.

— Выпишите перед кончиной, — попросил Чабрец. Голос его вдруг надломился. — Дома помирать хочу.

Нежилыми глазами измытаренный болью Иван увидел: на покоящейся на груди побитой работой руке невесть откуда взялась красная капелька — божья коровка. И уже не было сил шевельнуть пересохшими губами, сказать ей, совсем как в детстве:

— Солнышко, солнышко, взлети на окошко!

Привезли Ивана из больницы недвижимого, в дом занесли на носилках.

— Отдохну на своей кровати, — тихо сказал он Марусе, когда остались одни. Попытался улыбнуться, да не вышло, застыла на лице улыбка и стаяла.

— Сядь рядом.

Истосковавшимися губами Маруся целовала родимое лицо, но, встречаясь с уже остуженными глазами Ивана, не могла сдержать слез.

— Поплачь, поплачь, — только и утешал Иван. — Легче станет.

Когда успокоилась жена, Чабрец попросил:

— Послушай теперь меня.

Жена согласно кивнула головой.

— Ты еще не старая, Маруся. Глядишь, и хороший человек найдется. Только пока Олег школу не кончит, мужиков в дом не приво...

— Чего буровишь? — вскинулась как на дыбы, не дала досказать и слова Маруся. Как отемяшенная вытянула вперед набрякшие ладони, будто хотела ими прикрыть Ивану рот, и затряслась.

— Охолонь, — продолжал рассуждать Иван. — Не вековать же тебе одинокой.

Жена не могла его понять.

— Матери наши не в таких годах, молодыми стали вдовами. Мы с тобой жизнь прожили. — Сказала и тут же, громко всхлипнув, заплакала, уткнувшись лицом в подол юбки. Сквозь рыдания прорывалось одно:

— За что наказываешь, Господи?..

Иван не отпускал ее руку, гладил, говорил что-то, но за плачем жены слова были не слышны.

Чем дольше они жили с Марусей, тем больше узнавал он в ней свою мать. Не только потому, что та вот так же безропотно несла вдовий крест с молодых лет, как выпадало его нести Марусе.

— Вгорячах, не подумавши, сказал, — покаялся Иван. Попытался пошутить, вспомнив материно присловье: — Замоли мои грехи.

В науку, в поучение ли мать часто рассказывала, когда они поженились с Марусей, о своей короткой семейной жизни с отцом.

Он, когда пришел со службы, прогрешил перед женой.

— Фельдшерица в село к нам приехала, видная из себя женщина, моложавая. Глажу, стал мой покаживать в медпункт. То голова у него болит, то на палец бинт намотает. Доходился. Вначале бабы мне донесли, вслед и сама узнала. Под горячую руку гнала его из дому. Не ушел. Попросился. Скоро, правда, и разлучница убралась из села. И прислали ее к нам еще раз, уже в войну. Зимой приехала. Холодина, а она в сапожках, гнется, позеленелая. Пожалела ее, привела домой, на горячую лежанку спать уложила, валенки старые отыскала. Подруга мне говорит: я б ее, гадюку подколодную, не то на лежанку, на порог не пустила, плюнула в бесстыжие очи. Нет, отвечаю, муж под смертью ходит, а мы тут считаться будем. Грех незамолимый.

С присловьем этим мать повторялась частенько. Его и припомнил сейчас Иван.

— Замоли мои грехи.

— Не обижай меня, — сказала, придя в себя, Маруся.

— Может, и не то сказал, да нужно было говорить, чтоб не таить, — объяснял Иван. — Только больше не плачь.

— Не буду, — согласилась жена.

— Сынов, Маруся, не попускай, в руках покрепче держи. Не жалею особо, после спасибо скажут. Мишка после армии пусть идет работать. Мотоцикл ему оставь. А Олега заставь учиться, ему дается наука, глядишь — и в институт попадет.

Отстраненными глазами смотрела Маруся на Ивана. Согласно кивала головой. Но не могла себя заставить понять, что наказывает ей муж перед невозвратимой дорогой.

— На поминки пригласи всех, потраться. На сороковой день родных собери. А больше и не нужно.

Кончалось у Ивана терпение, не мог он совладать с болью, просил завести пластинку, на всю громкость включить радиолу.

Окрасился месяц багрянцем,
Где волны шумели у скал...

— голосисто выводила почитаемая Иваном Лидия Русланова.

Крутилась пластинка, играла песню, звучно играла, а Иван, отвернувшись к стене, закусив губы, плакал от нахлынувшей на сердце тоски.

Ночами месяц и вправду подступающая осень рядила ярким багрянцем.

— До холодов бы убраться, — думал Чабрец в покойные минуты. Ловил себя на мысли:

— Совсем, как старые люди, рассуждаю...





**Рита Александровна
Одинокова** родилась в городе Баку. Окончила геолого-разведочный факультет Азербайджанского института нефти и химии, факультет психологии Современной гуманитарной академии (Москва). Работает в отделе культуры администрации Россошанского муниципального района. Публиковалась в региональной печати, журнале «Подъём», коллективных сборниках. Автор книг поэзии и прозы «Ностальгия», «Виноградный бунт», «Женщина с красным зонтом». Член Союза писателей России. Живет в Россоши.

Рита Одинокова

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

* * *

О, жизнь! Пугает холодность твоя,
И ветер безразличья беспощадный.
В морозном откровенье ноября
Отсчет обратный...

Мир изо льда, и жизнь моя из льда.
И в горле ком сжимает туже, туже.
Не страшен путь в пустое Никуда,
А мысль страшна — что уж никто не нужен.

Лишь память... Навсегда, как мать в окне,
Вздыхнув устало, перекрестит в спину.
Не думай, мама, плохо обо мне,
Я этот мир жестокий не покину.

Останусь я тутовником в саду,
И книжкой с красным зонтиком на стуле.
Я смехом внучки снова в жизнь войду
В каком-нибудь июле...

УСНУЛА МУЗЫКА В САДУ

Уснула музыка в саду неспелых вишен.
Костер заката безнадежно тух.
Ты тишины по-прежнему не слышишь,
Не потому что юн, а потому что глух.

И все в природе света без усилий —
Прощальный стих, непонятый мой стих.

Озябнет ночь в плену цветущих лилий
И линий лунных призраков пустых.

И долго будет тишина молиться,
Пока не брызнет кровь вишневых слов,
Пока ты мне не перестанешь сниться,
Как саду лилий срезанных любовь...

А МНЕ ВАЖНЕЙ ВСЕГО...

А мне важней всего — ни где, ни с кем, —
Отрадно знать и чувствовать: Ты есть.
Со мною рядом или нет — зачем?
Пусть до тебя надежд моих не счесть.

Не счесть шагов, придуманных в ночи,
И глупых слез, что с возрастом не к месту,
И писем тех, в которых ты молчишь,
И писем тех, в которых я — все честно.

А потому, наверное, больней...
Но это так, от безысходной встречи.
Я сильная. С тобой еще сильней.
Хотя мне страшно в этот хмурый вечер.

Признаться, я боюсь, что все пройдет,
Ноябрь туманный отупеет в боли.
Так было до Тебя.
Никто не ждал
Меня на воле...

ЛАДОШКИ

«Он не твой», — помахали багряные клена ладони.
«Не спеши, — обнимали ветра на чужом берегу. —
Если сердце твое равнодушная осень не тронет,
Значит, выживет сердце
и в лютом февральском снегу!»

«Что мне снег? — я смеюсь.
— Снег не холод — мое очищенье».
Испытанье не холодом — алым смятеньем закат,
Тополей гребешки за оврагом, второе рождение,
И прощенье себя на излом — тяжелей во сто крат...

Разве можно унять паутинок затейливый танец?
Разве можно сбежать?
Эта нежность берез за спиной.
Только небо свое на излете никак не обманешь —
Взмах багряной ладошки
на солнце судьбы: «Он не твой!»

* * *

Я просто поверила в твой замороженный край,
Где ждут меня сопки в багровом сиропе рассвета,
Я просто поверила в радость, что ждет меня где-то,
И руки навстречу — едва не шагнула за край...

Так падают птицы, попав в самолета крыло,
Так бусины терна срывает безумием ветра,
Так плачут глаза от жестокого встречного света,
Так дождь разбивается о лобовое стекло.

И там, в одичалом краю, где никто никому
Не должен ни слова, ни взгляда,
ни слова, ни взгляда,
Мне — боли немерено.
Да ничего и не надо,
Когда не придешь, если вдруг я тебя позову...

ДОМИК, ГДЕ ЖИВУТ ВОСПОМИНАНИЯ

*Посвящаю моим защитникам —
дедушке, бабушке, маме,
дяде Саше и Сереже Скалиновым*

Домик, где живут воспоминания
Под дощатым низким потолком.
Блинчики пузырчатые мамины
С маслом и горячим молоком.

Перекинут день на перекладине
Фартуком, что отдохнуть бы рад.
Чашка, на которой виноградины
Зреют сорок девять лет подряд.

В зеркале комода допотопного
Отражаясь, изредка пройдут —
Дедушка — обнять меня заботливо,
Бабушка — порядок чтобы тут!

Чай под полотенечком настоян,
Улочка за окнами в снегу.
И тепло давно уж не печное,
А трубу никак не уберу.

Так спокойней лютою зимою,
Верно под защитой чьей-то здесь...
Словно дом невидимой рукою
Держится за краешек небес.



Леонид Федорович Южанинов родился в 1941 году в селе Редикор Чердынского района Пермской области. Окончил Березниковский строительный техникум. Автор десяти книг прозы. Публиковался в журналах «Наш современник», «Слово», «Воин России», «Подъём», «Огни Кузбасса», «Роман-газета», еженедельнике «Литературная Россия». Лауреат литературного конкурса «Мой XX век». Член Союза писателей России. Живет в городе Россошь.

Леонид Южанинов

ПОДСОЛНУХИ

Рассказы

Александрю Кутовому

День выдался пасмурный, с седой мгливой дымкой — настоящий воровской. Но пока доехали, пока выбрали место и спрятали велосипеды в посадке, пелена тумана начала сползать, рассеиваться; в серых, каких-то пепельных облаках, сплошь затянувших небо, начали открываться синие окна и даже проглядывать солнце.

Елена нагибала подсолнух, срезала ножом шляпку и, склонившись, колотила по ней палкой. Семечки, тихо шурша, опали в мешок. Затем снова хваталась за нож, срезала шляпку и колотила... Рядом, точно дятел, долбила подсолнухи Рита, маленькая, шустрая, заводная. Она и сейчас что-то напевала себе под нос. Она-то и сманила Елену на этот промысел. Они вместе работали воспитателями в садике, вместе за гроши, которые и давали-то с задержкой, утирали сопливые носы райцентровским ребятишкам. «Я-то ладно: у меня одна дочь, и та уже большая, скоро школу окончит, а у Риты — трое, мал мала меньше, да муж алкаш — четвертый, их кормить надо!» — думала Елена. Она все время удивлялась способности подруги выкручиваться в этой жизни, находить решения в безвыходных, казалось бы, положениях.

Место они нашли хорошее: возле посадки, тыл им прикрывали шесть рядов лип, тополей, вязов. А впереди — огромное поле подсолнечника. Потемневшие шляпки и стебли делали поле черным, неприветливым. Сторожа, судя по всему, нет; если здраво рассудить, он тут не нужен: асфальтированные дороги отсутствуют, на машине по раскисшему чернозему не проедешь, а на велосипеде много ли увезешь? Но страх не проходил, опасность быть пойманными заставляла подруг боязливо оглядываться, время от времени прекращать колотить, прислушиваться: не идет ли кто?

«Игра стоит свеч! В одном мешке сорок килограммов, за него на маслобойке дадут восемь литров подсолнечного масла, на рынке литр стоит тринадцать рублей, итого за мешок выручу сто четыре рубля, — подсчитывала Елена. — Я их наколочу два, значит, двести восемь рублей будет, неплохо-охо! Только их еще довести надо? — размышляла она. — Но это не впервой: один мешок — на багажник, второй — привяжу к раме, и пешочком потихоньку дотяну до дома».

Монотонная работа утомляла, семечки прибывали медленно, всего-то набирала мешок. Елена глянула в сторону подруги, та уже начала второй. «Бойкая», — подивилась она и взвинтила темп. Но усталость давала о себе знать: ныла спина, устали ноги, хотелось есть, отдохнуть. А тут еще нож едва резал толстый, твердый стебель подсолнечника. «Интеллигент долбаный! — в душе ругала она мужа. — Нож не может наточить!»

Муж Елены происходил из учительской семьи. Правильно воспитанный, во всем послушный своим родителям, он не пил, не курил, но совершенно был не приспособлен к современной жизни. Преподавая в школе физику, получая за это шестьсот рублей в месяц, он считал свои человеческие обязанности законченными. А то, что этих денег не хватает семье даже на питание, его беспокоило мало. Во всем он обвинял государство, неспособное, как он считал, обеспечить его, узкого специалиста, достойным существованием. Сам же ничем другим, кроме преподавания в школе, заниматься не желал. «Принципы у него видите ли?!.. Он не может колотить семечки на колхозном поле — это для него воровство! А я могу?! Я должна кормить семью, красть семечки, давить из них масло, продавать его, а он на диване будет книжки почитать да философствовать! А жрать ворованное он не отказывается, губа не дура, любит сладко поесть, тут и принципы и мораль куда-то улетучиваются? Ога-арок!»

Неожиданно сквозь перестук палок они услышали за спиной шум, шорох листьев. В просвете деревьев мелькнул всадник, он скакал к ним. Елена остолбенела.

— Бежи-им! — Рита мышью юркнула в гущу подсолнухов, и — к велосипедам.

Елена не могла сдвинуться с места, ноги будто приросли к чернозему. А всадник — вот он уже перед ней, и лошадиная морда жарко дышит ей в лицо. Сквозь белесый пар, двумя струями вырывавшийся из ноздрей разгоряченной лошади, она увидела, как лихорадочно вращая педали велосипеда, промчалась вдоль посадки Рита.

— Вор-рю-юга! Халявщица! Забирай свои мешки и — за мной! Под суд пойдешь!..

Елена не видела того, кто кричит, не видела человека на лошади, да ей это было и не нужно, не имело сейчас никакого значения. Это был рок, судьба, наказание... Она упала на землю и зарыдала. Вдруг плач ее сме-

нился истерическим смехом. Опершись правой рукой о мешок, закинув вверх лицо, она безумно хохотала.

Всадник, увидев нервно подергивающееся, хохочущее лицо женщины, мокрое от слез, перепугался. Не сошла ли она с ума? Он слез с лошади.

«Какой позор! Господи, до чего я дожилась, до суда! Дальше уж не куда!..» И перед Еленой ярким светом озарилась другая жизнь, ее жизнь прежняя...

Германия. Дрезден. Она — жена советского офицера. Муж, не этот физик, а другой, первый, майор, служит в штабе одного из соединений Группы советских войск в Германской Демократической республике. Она — домохозяйка, но так назвать ее можно с натяжкой, она почти ничего не готовит; муж обедает на службе, а ей много ли надо. Маленькая дочь осталась в Союзе, с бабушкой. Мыть полы в квартире муж регулярно посылает солдата. Так что все время она свободна от дел, целыми днями не знает, чем занять себя. С удовольствием пошла бы в школу, она — филолог, но русской школы поблизости нет.

Наконец Елена находит себе занятие. Она знакомится с достопримечательностями старинного Дрездена, этой бывшей резиденцией саксонских герцогов. Посещает всемирно известную Дрезденскую картинную галерею, осматривает чудесные полотна старых и новых европейских живописцев: Рафаэль, Джорджоне, Дюрер, Вермеер... Затем Исторический музей, собрание фарфора, коллекция ювелирных изделий. Театры. Ей, бывшей деревенской девчонке, выросшей в воронежской глубинке, в хуторе Копанки, и не снилось такое счастье: жить в центре Европы праздной барыней, без проблем и забот.

Она гуляет по Дрездену, любуется великолепными зданиями, величественными памятниками, этой сказкой из камня. Везде чистота, порядок, асфальт. Но, в конце концов, все надоедает; ей иногда хочется бросить всю эту роскошь и оказаться в затерявшихся среди бескрайних полей Копанках, пробежаться босиком по теплым лужам хутора.

Муж Елены Анатолий — человек веселый, общительный. Познакомились они в Новосибирске, куда послали ее отрабатывать после окончания Воронежского пединститута и где он, тогда еще капитан, проходил службу. Высокий, плечистый, с открытым улыбающимся лицом и большими карими глазами, он нравился женщинам — и русским, и немкам. До Елены стали доходить слухи, что он изменяет ей с одной из сотрудниц штаба, местной переводчицей. Но Анатолий все это категорически отрицал. Елена страдала. Ей хотелось пойти к сопернице, закатить скандал, оттаскать ее за волосы. Но сделать этого она не могла, не могла опорочить славное имя советского офицера, да ей это и не позволили бы. Кроме всего, их обоих с мужем могли досрочно отправить в Союз, что грозило им большими материальными потерями.

Они часто общались с офицерами дружественной армии ГДР, их семьями, бывали друг у друга в гостях, вместе отмечали праздники. Елена стала замечать пристальное внимание к себе обер-лейтенанта Пауля Келлера. Длинный, нескладный, весь какой-то белый: лицо, волосы и даже ресницы белесые, он был деликатен и настойчив. Когда они оставались вдвоем, он усаживал ее на колени и баюкал, точно младенца, шептал на ухо: «Их либе дих!», другую милую чепуху. Жаркое дыхание его щекотало кожу, губы сладко теребили мочку уха. Такое нежное обращение было непривычно Елене, оно интриговало ее и пугало одновременно.

Пауль признавался, что ему все нравилось в ней: высокая угловатая

фигура неформившейся девочки, красивый овал лица, глубокий завораживающий взгляд голубых глаз, тонкий аромат кожи. «Ты есть русский аристократ?» — восторженно говорил он ей. Все ее возражения, доводы о том, что она простая крестьянка из глухой деревни, он отметал напрочь и лишь иронично улыбался.

Когда Пауль узнал о ситуации в семье Елены, узнал о похождениях Анатолия, он принял неожиданное для нее решение. «Их либе дих, мой ангел!» — путая немецкие слова с русскими, он предложил Елене руку и сердце, предложил выйти за него замуж. Она молчала, не зная, на что решиться. Тогда он повез ее к своим матер и фатер. Ей понравились родители Пауля, немногословный фатер и приветливая, застенчивая матер. Но решиться на разрыв с Анатолием, влиться в чужую ей немецкую среду она не могла.

И даже когда развод с мужем состоялся, и когда уже рухнул Советский Союз, и она одна уезжала из Германии, она и тут отвергла все просьбы Пауля остаться с ним. Какое-то глухое неприятие всего чужеземного гнало ее в Россию, в хутор Копанки.

По приезде на родину Елена поймала в Зерновке — районном городке — машину, поехала на станцию за вещами. Шофер, развязный парень, с вислыми запорожским усам, лихо крутил баранку ЗиЛа.

На станции ее чистенькие светло-серые контейнеры стояли отдельно и выгодно отличались от своих российских собратьев, окрашенных в грязно-коричневый цвет. Наискось каждого контейнера сверкала белая полоса, на которой красовалась надпись Dresden-Копанки. Шофер долго, натужно разбирал иностранные буквы. Прочитав, повернулся, смерил Елену презрительным взглядом:

— Как вы низко пали! — и зло сплюнул на бетонную площадку.

На протяжении всего сорокаверстного пути от Зерновки до хутора он больше не проронил ни слова. Молча, уставившись в лобовое стекло, гнал машину по тряской полевой дороге; в Копанках, получив расчет, пристально посмотрел на Елену, мотнул головой, точно наваждение отгонял, хлопнул дверкой: «Проща-ай, Европа!» — и уехал.

Это неодобрение ее возвращения из-за границы в сельскую местность, презрение совершенно чужого ей человека задела Елену за живое, обидели. Ей казалось, так думали все знакомые, казалось, даже отец с матерью осуждали ее за неожиданный приезд, хотя ничем это не выказывали. Побыв две недели у родителей, она уехала жить в Зерновку...

— Подыма-айсь! Пошли, — уже без прежней злобы крикнул сторож и дернул коня за уздечку.

Удила звякнули. Елена подняла голову. В трех шагах от нее стоял молодой мужик в кирзовых сапогах и выцветшей брезентовой куртке. Лево́й рукой он дергал под уздцы лошадь, правой щелкал нагайкой по голенищу. Что-то знакомое почудилось ей в его лице, в вислых запорожских усах, подернутых инеем седины, в нагловатом взгляде светлых, со стальным оттенком, глаз.

— Дава-ай, дав... — сторож вдруг поперхнулся, во все глаза уставился на Елену. — Мы, мабуть, знакомы. — От чрезмерного напряжения мозгов он даже фуражку сдвинул на глаза и почесал в затылке. — Ха-а-а, Дрезден-Копанки!

Елена тоже узнала сторожа, это был шофер, доставивший ее с контейнерами из райцентра на хутор.

— Теперь вы, мадам, опустились на самое дно, в болото жизни, выржаясь лирически. Все ниже и ниже, до уголовщины!

— Оно и вы не сильно выросли! — не удержалась, съязвила Елена. — С автомобиля да на кобылу?!

— Зато я тут начальник! Нача-альник...

— Подсолнухов! — рассмеялась Елена.

На нее ни с того ни с сего нашло взвинченно-веселое настроение. Такое бывает у человека после потрясения, когда он знает, что уже ничего изменить нельзя, что от него в данной ситуации ничего не зависит, и становится ему все трын-трава. Судьбу не перешибешь!

— Хватит, вставай! — рявкнул сторож, но как-то вяло, больше для порядка.

— Собирай свои сидора, иностранка, грузи на велосипед. Где он у тебя?! И в колхоз, в правление!

Елена вдруг вспомнила, что у нее в сумке лежит бутылка самогона. Она поднялась, направилась в посадку, к велосипеду. Сторож, не отступая ни на шаг, следовал за ней. Она сняла с руля сумку. Достала из нее бутылку, повернулась к сторожу.

— Куда нам спешить?! Давай посидим, выпьем.

— Взятку предлагаешь?! В жидком виде!..

Елена видела: он колеблется, топчется на месте, глаза его лихорадочно блестят.

— Ладно уж, только как знакомцы, — вроде бы нехотя согласился он и начал привязывать коня к невысокой, с густой кроной липе.

Елена вытащила из сумки обед: вареную картошку, два яйца, соленые огурчики, все это расстелила на газете. Бросила на пожухлую осеннюю траву, густо усыпанную желтыми листьями, пустой мешок. Сторож «расщедрился», снял с себя брезентовую куртку, кинул поверх мешка.

— Замерзнешь?!

— Не-а, — энергично задвигал он всеми суставами, взбодрившись в предвкушении выпивки.

Сели. Елена налила ему полный пластмассовый стаканчик, протянула. Он, отставив мизинец, манерно взял, указательным пальцем другой руки расправил усы, подбоченился, произнес тост:

— Чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и могло!

Залпом осушил самогон и смачно захрустел огурцом. Елена налила себе полстаканчика, скривившись, выпила. По телу пробежала огненная судорога, стало легко, будто обезболивающий укол приняла. После второй рюмки она почувствовала себя еще лучше, уверенней.

Когда бутылка опорожнилась больше чем наполовину, Елена решила — пора уходить. Сторож опьянел.

— Ну что, дружок, мне пора идти. Дорога дальняя, день короткий, — и начала подниматься.

Сторожа будто током ударило, он схватил ее за рукав, усадил обратно.

— Ты что, подруга?! Думаешь самогоном отделаться?! Шалишь! — в глазах его прыгали лукавые чертики, он даже протрезвел.

— Денег у меня нет, — растерялась Елена, огорошенная словами сторожа. — Думаю, за мешок семечек и бутылки достаточно.

— Сразу видно — интеллигенция! Порядков наших не знаешь. Заплатишь за потрапу в десятикратном размере, плюс в районной газетке пропечатают, ославят на весь район. Вот так, ландыш мой!

— Да, я тебя в милицию сдам! — вскипела Елена. — Алкаш несчастный!

— Не сдашь! Не сдашь! У меня там все схвачено, — и белозубо засме-

ялся, довольный. — Что в милиции, что в администрации — свои люди. Так что, давай-ка, ландыш мой, полюбовно договоримся. Ты бабочка аппетитная, я к тебе с полным удовольствием... — он обнял Елену, ткнулся губами в лицо.

— Отвали! — она с отвращением оттолкнула его.

— Ишь ты?! Образованная, а как грубо выражаешься. Нехорошо! Не хочешь по-доброму, силой возьму! Так даже интересней...

Он опрокинул ее на землю, ловил губами ее губы. Она вертела головой, отталкивала, но сбросить с себя тяжелое тело не могла. А он зверел, рвал с нее одежду. Вот с треском распахнулся рабочий халат, отлетели пуговицы кофточки, обнажилась грудь. Елена окаменела, сопротивляться больше не было сил. Она закрыла глаза. Но когда грубая жадная рука начала шарить внизу живота, она вскинулась, увидела голую бледную ягодицу сторожа. И точно прозрела, вспомнила, что в глубоком кармане халата лежит нож, которым она срезала подсолнухи. Она быстро нащупала карман, сжала ручку ножа.

Он жадно приник к ее шее, груди. Она потихоньку вытащила нож и ударила им в его белую ягодицу. Он как ужаленный прыгнул с нее, надернул штаны, трусливо огляделся вокруг. Никого! И он понял, кто его ударил. Он повернулся к Елене, но она уже шла на него. В разорванной одежде, с разлохмаченной головой, с горящими ненавистью глазами, с окровавленным ножом в руках, она была страшна.

— У-у, бешеная! — сторож кинулся к липе, оторвал повод коня вместе с веткой, левой рукой придерживая раненое место. Когда он скрылся за деревьями, Елена отбросила нож, устало опустила на землю. Ее била дрожь.

«Не сильно ли я его поранила? — отрешенно думала она. — Да нет, сильно не могла, бить было неудобно. Так, кожу порезала. А ему, кобелю, следовало в другое место садануть... Чего я расселась?! Ноги уносить надо!»

Елена встала, подобрала свои вещи. Села на велосипед и, бросив на поле семечки, направилась домой в Зерновку.

В конце посадки из чащи метнулась тень. От испуга Елена вильнула в сторону, упала вместе с велосипедом. Едва поднялась. Перед ней стояла Рита.

— Чертяка скаженная! Чуть не покалечила! — Елена с удивлением смотрела на подругу. — Ты как здесь?!

— Тебя жду! — Рита сузила свои раскосые глаза.

— А я могла и не вернуться?

Елена поведала все, что с ней произошло. Рита охала, ахала, слушая рассказ подруги, и даже всплакнула. Но когда узнала, что мешки с семечками остались на прежнем месте, решила поехать за ними. Елена отговаривала, убеждала ее, что сторож может вернуться, и тогда беды не оберешься.

— Не вернется! Ему теперь не до нас — поехал задницу штопать, хрен шелудивый! — весело засмеялась она и зарулила вдоль посадки.

Елена осталась ждать ее. Вернулась Рита быстро. Привезла мешки, свой и Еленин, который тут же перегрузили к Елене на велосипед. Затем, хитро улыбаясь, Рита вытащила из-под халата бутылку с самогоном, ту самую, что не допили сторож с Еленой.

— Не пропадать же добру! Подобрала на поле брани. Давай-ка, подруженька, тыпнем по соточке, нервы успокоим. А то дюже день у нас седни паскудный.

— Не здесь! — запротестовала Елена. — Вдруг сторож соберет мужиков, да устроит на нас облаву?! Выйдем на дорогу и в следующей посадке сядем. Там нас никто искать не будет.

— Верно. Какая ты, Ленка, у меня умная. Ну, прямо пророк! — и стрельнула в подругу бесовским взглядом.

Они подняли с земли тяжелые велосипеды и, упираясь в рули, пошли между рядами лип, тополей, вязов. Желтые листья шуршали под резиновыми шинами, затрудняли ход. Сухие сучья трещали под ногами женщин, заставляли их напрягаться, прислушиваться: нет ли погони? А тут еще ворон, словно приклеился, увязался за ними, перелетал с дерева на дерево и — «ка-ар-р!» Дрожь пробежала по телу, замирало сердце.

Наконец посадка кончилась. Они сели на велосипеды и по неровной полевой дороге рядышком, каждая по своей колее, устремились вперед. У следующей посадки остановились. Собственно, это была не посадка, а целая березовая рощица. Они вошли внутрь ее. От высоких белоствольных берез исходил какой-то неземной божественный свет, напомнивший Елене весенний праздник Троицу. Они прислонили велосипеды к прямым чистым стволам, накрыли нехитрый стол.

Разлили остатки самогонки. Выпили. Загорюнились. Елене вспомнился весь сегодняшний день, все злоключения, и непрошенная слеза выкатилась из глаз. Рита, видя, что Елена сейчас разрыдается, отчаянно махнула рукой:

— Давай-ка, подруга, песню заиграем! Не пришел еще тот час — плачи сказывать. Еще поживем, повоюем назло судьбинушке. Где наша не пропадала!

И она вскинулась, подбоченилась, соловьем звонким разлилась:

Меж высоко-оких хлебо-ов затерялося...

Елена с чувством подхватила:

Небогатое наше-е село.
Эх, горе-горькое по свету шлялося
И до нас невзначай набрело.

Высокие чистые голоса их взлетели над вершинами берез и полетели к горизонту. Деревья застыли, птицы, звери умолкли — все слушали проникновенную мелодию человеческой боли.

Песня возвышалась, песня успокаивала, заставляла думать о чем-то хорошем, восстанавливала гармонию души. И мир уже не казался им таким жестоким.

ПИСЬМА ЛЮБВИ

*Мы все в эти годы любили,
Но, значит, любили и нас.*

С. Есенин

Малахов овдовел. Пожил месяц, пожил два, пожил год один — стало невмоготу. Единственная дочь Наташа после окончания института закатилась аж на Дальний Восток, вышла там замуж. В общем, отрезанный ломоть. Сдавила Малахова тоска. Хоть волком вой! Словом перекинуться не с кем. А он еще мужчина хоть куда, несмотря на то, что шестьдесят стукнуло.

«Надо бы жениться...» — сверлила его мозг неотступная мысль. Но Малахов был тугодум, из тех, что просить — так, как заяц, любить — так, как волк. Да и женщин подходящих на примете у него не было. С женой они жили замкнуто, друзей не имели, в гости никуда не ходили, и сами никого не приглашали. Работа, дом, телевизор, сон — и снова по кругу, словно лошади, вращающие привод колхозной молотилки.

Малахов размеренно вышагивал по залу, по спальне своей трехкомнатной квартиры, заходил на кухню, в коридоре присаживался на табурет и думал, думал, благо, времени теперь, после выхода на пенсию, у него было хоть отбавляй. Перебрал в памяти всех женщин-сослуживцев, но никого, заслуживающего внимания, не вспомнил. Да и женщин в их закрытом оборонном учреждении, где он много лет трудился инженером, было мало. И снова тоска, бессмысленный взгляд и бесконечные шаги...

«Эврика! Санаторий?!» — Малахов вздрогнул, остановился. От этой мысли в голове посветлело, тело налилось отвагой и силой. Он точно от тяжелого утомительного сна избавился, повеселел. Подошел к книжному шкафу. Долго рылся в нижнем ящике, наконец, извлек оттуда пачку писем.

Несколько раз ездил он на Кавказ, в санаторий. Лечил желудок. Гастрит его не очень донимал, обостряясь время от времени, он поддавался медикаментозному лечению. Но профсоюз учреждения строго следил за здоровьем своих работников, заботился об их отдыхе, снабжал льготными путевками. Это было время массового курортного оздоровления, тогда любой желающий мог поехать в санаторий. На курорте Малахов знакомился с женщинами, вернее, они знакомились с ним. Был он не горюн, но недурен собой: выше среднего роста, широкоплеч, белокур. Каждая встреча заканчивалась перепиской, которую он хранил в тайне от жены.

И вот теперь эти письма, эти свидетельства той далекой и радостной жизни лежали перед ним. Взял первое из них.

«Здравствуй, друг мой дорогой Алексей! Еще раз, уже письменно сообщая, что благодарна судьбе за то, что свела меня с тобой. Считаю, что дружба наша была чистой и непорочной. Жаль, что так скоро пролетели наши денечки, но они никогда не забудутся. Фотографии получились, твой подарок, шкатулка, со мной. А вот у тебя нет ничего памятного обо мне, и ты скоро забудешь, что был такой друг по имени Тамара...»

Не дочитав, Малахов отложил письмо. Пробурчал: «Вот именно, чистой и непорочной... А подойдем ли друг другу в постели? Любовь начинается идеалами, а кончается одеялами!» Тамара, учительница из Омска, первая подруга его на курортах, по его разумению, в жены не подходила из-за слишком правильных принципов. Да и жила далеко. «По нашим временам до Сибири не доскачешь!»

Взял второе письмо. *«Здравствуй, Алеша! Добрый день мой любимый дорогой человек! Боже! Как много уже прошло времени! Вспоминаю Кавказ, наши встречи. Мне было очень хорошо с тобой. Так быстро пролетело время! Пишу, на душе кошки скребут. Так грустно! Спасибо тебе, что ты есть! В этой жизни не так много людей хороших! Надеюсь, мы встретимся! Я тебя всегда вспоминаю, очень часто! Вот слушай...»*

*Любовь, как вольтова дуга,
Два сердца вдруг соединяет,
А коротка или долга
Та вспышка — кто же это знает?
Давайте думать, что навек,
А не на миг и не до завтра...»*

Стихотворение продолжалось целых две страницы, и все о любви; Малахов пропустил его и углубился в концовку.

«Алеша! Милый мой! Страстно обнимаю, мой хороший! Пиши. Я буду очень ждать! Целую тебя крепко-крепко много раз!!! Твоя Ангелина».

Письмо Ангелины тронуло Малахова, что-то приятное ласковое закрепило на сердце. Особенно поразило его в письме обилие восклицательных знаков. И в этом была вся она, Ангелина, восторженная, непосредственная, Ангелочек, так называл он ее на курорте. Он будто воочию увидел ее. Стоит она, чуть склонив головку набок, густые каштановые волосы развеваются на ветру, карие глаза смотрят на него, смеются, сочные губы улыбаются, манят к себе, зовут, и лицо ее тонкое, нежное светится, и вся она, точно вишенка на июньском солнце, сияет чистотой и свежестью.

«Поеду! — решил Малахов. — Посватаюсь, если не замужем. Благо, живет она близко, в Липецке. А от Воронежа до Липецка раз плюнуть — часа два езды...»

Летним свежим утром он подходил к старому одноэтажному кирпичному дому на окраине Липецка. Только что прошел дождь. Сочная листва деревьев, зелень палисадников создавали прохладу. Пели птицы. Волновался. «А вдруг она здесь не живет? Ведь столько времени прокатилось — двадцать с лишним лет! Вдруг муж встретит с топором да огреет обухом по окаянной шее? Хотя она говорила, что живут они плохо и собиралась с ним разводиться. Да мало ли что говорила — сейчас сходятся и разведятся по десятку раз...»

На стук в дверь вышла пожилая полная женщина. Малахов с недоумением смотрел на нее:

— Мне Ангелину Сергеевну.

— Это я.

«Боже мой! И это Ангелочек — тонкий и нежный цветок?! Неужели эта коробочка и есть та благоухающая роза, которую я любил?!»

— Что, не узнал?

— Изменилась сильно!

— Время! Оно и ты полинял, одни глаза большущие остались. Ну, заходи!

Квартира состояла из двух комнат и большой кухни. На кухне, словно в прачечной, клубился пар. На плите кособокой печки, побеленной синькой, стояли кастрюли, в которых яростно кипела вода. Тут же на веревках висели мокрые детские штанишки, распашонки, колготки. Малахов понял: квартира неблагоустроенная, воды горячей, да и холодной нет, носят с улицы, из колонки общего водопровода. Комнаты тесно заставлены подержанной мебелью, детскими кроватками, стульчиками.

Ангелина усадила Малахова на диван, включила телевизор, села рядом.

— Не ожидала! — она тревожно внимательно посмотрела в глаза ему

и тут же обыденно, будто они вчера только расстались, начала рассказывать:

— Муженечка я схоронила три года назад. Живу с дочерью, двумя внуками. Семейная жизнь у дочери не задалась — с мужем разбежались. А детей двое, мал мала меньше, их надо подымать, зарплата у нее — слезы, работает нянечкой в садике. Одно хорошо: дети там пристроены. Вот и сегодня все в садике, а то у нас в квартире трам-тарарам, шум, не поговоришь спокойно. Сын мой тоже живет с нами, тридцать лет — все не женат, выпить любит — какая тут семья... Сейчас уехал на заработки в Москву.

Малахов слушал Ангелину, изумлялся тому, как она изменилась. Густые буйные волосы ее посеклись, свисали седыми прядями к плечам, лицо потемнело, покрылось морщинами, щеки внизу опадали складками, карие задорные глаза потускнели, печально смотрели на него. Лишь улыбка осталась той же, милой, доверчивой. Тело ее оплыло, от былой талии не осталось и следа, да и ростом она стала меньше. Белые, распухшие от частой стирки, руки защищали пальцами ткань простенького хлопчатобумажного платья, выдавали ее волнение.

— Сейчас я что-нибудь приготовлю покушать, — поднялась она с дивана.

— Особо не старайся, я не голоден. Так, что-нибудь закусить.

Ангелина накрыла на стол, ушла в другую комнату. Вернулась оттуда веселая, похорошевшая. На ней ладно сидел строгий серый костюм, он ее молодил. В прическе, в взбитых волосах красовалась витая заколка с бирюзовым камнем.

— Твоя! Помнишь?! — показала она на заколку.

— Еще бы. Такое не забывается. Золотая пора!

— Да-а, прошлого не вернешь!

Малахов вытащил из дипломата бутылку вина и коробку конфет:

— Это тебе.

— Да что ты... — зарделась Ангелина, принимая конфеты. — Уж сто лет никто подарки не дарил.

— Твое любимое! — улыбался Малахов, разливая молдавский мускат. — Мускат — это букет роз! Так говорил официант курортного ресторанчика. Помнишь те вечера?

— Конечно, — чуть слышно выдохнула она.

После третьей рюмки, когда лицо Ангелины разгорелось румянцем, а в глазах появился прежний, как ему казалось, задорный блеск, он решил заговорить о том, ради чего и оказался здесь.

— Ангелочек мой, а я ведь за тобой приехал.

Видя непонимающий взгляд ее, торопливо продолжил:

— Овдовел я. Вот предлагаю тебе жить вместе. У меня, в Воронеже! Квартира у меня большая, трехкомнатная. Детей — одна дочь, да и та далеко, на Дальнем Востоке обосновалась.

Ангелина молчала. Безвольно опустив руки, уставившись глазами в стол, молчала. Малахову эти томительные минуты показались вечностью, невероятной пыткой.

— Ну, что ты молчишь, Ангелина?

Снова молчание, и наконец:

— Не знаю, что сказать.

— Соглашайся! Будем жить в достатке, пенсия у меня хорошая. Да и на сберкнижке кое-что имеется.

— Материальная сторона меня не беспокоит, я привыкла жить скром-

но, — в подтверждение своих слов она обвела глазами комнату с бедной обстановкой, будто приглашая его удостовериться. — Дело в другом. То, что хорошо, то, что нравится в тридцать лет, обыкновенно плохо, не нравится в шестьдесят.

— Но тебе только пятьдесят! — Малахов хотел направить разговор в оптимистическое русло.

— Тут разница небольшая. Все равно закат уже очи слепит! Раньше бы годочков на двадцать, вот когда мы с тобой в санатории встретились, тогда да. Тогда я бы из-под мужа, из-под черта выскользнула, а за тобой на край света пошла бы.

— Ангелина, ты не торопись. Подумай! Все наладится, все будет хорошо. Не горячись! Подумай!

— Я подумала. — Она посмотрела в глаза ему, и он почувствовал в ее взгляде твердость и печаль. — Хорошо подумала. Если б одна жила, может, и согласилась. Но у меня сын, дочь с детьми, и все неблагополучные, я не могу их бросить. Я буду тащить этот воз до смерти! А тебе такой прицеп не нужен.

— Будем помогать им материально. — Малахов положил руку на ее запястье, любовно пожал.

— Нет, Алеша, я их не оставляю. Это мой крест, моя судьба.

Сколько ни просил ее Малахов, как ни уговаривал, она стояла на своем.

«Первый блин всегда комом!» — успокоил он себя, вернувшись в Воронеж. Достал заветную пачку. На этот раз письмо выбрал от Людмилы Зубаревой из Волгограда. Он почему-то чаще других вспоминал ее, она острее вошла в его память, и как бы жила в нем сладко ноющей клеточкой.

«Здравствуй, мой милый Алешенька!

Я благодарна Богу за то, что он подарил мне встречу с таким удивительно приятным, внимательным и богатым душой человеком. Как мне было хорошо, когда ты был рядом, так мне теперь плохо без тебя, Алешенька?! Я брожу по Кисловодску, как потерянная. У меня болит душа, и никакие процедуры мне не могут помочь. Какой-то комок подступает к горлу, и нет сил сдержать слезы. Я вспоминаю твои рассказы, передо мной проплывает вся твоя жизнь, и я опять реву. Я рисую образ твоей матери, я перед ней преклоняюсь до самой земли.

Очень хочу тебя увидеть! Не было часа, чтобы я о тебе не думала. Каждый вечер, возвращаясь с бювета в санаторий, я рассказываю тебе, что со мной произошло за день, и думаю, а что тебе принес этот день? Каждую свободную минуту перед глазами появляются отрывки воспоминаний, особенно ночью. Воспоминания настолько явные, что я ощущаю прикосновения твоих рук, губ, твои ласки... Тогда я начинаю считать овец, насчитаю 120 овец, но так и не усну. Я очень жду от тебя письма! Целую, обнимаю, люблю!

Твоя Людмила».

«Нда-а... Вот это любовь, вот это чувства! Даже не верится, что это написано мне». Он развернул второе письмо Людмилы.

«Алеша, милый мой друг, здравствуй!

Вот я и дома. Закончилась сказка, и меня принял в свои объятия реальный мир. Есть женщины, которым сама судьба улыбается, ве-

дет их по жизни легко, словно играючи. Им удается все, стоит лишь пожелать. А мне судьба подарила короткое счастье с тобой, волшебное мгновение и тут же отобрала.

На первое января я подняла бокал шампанского и поздравила тебя с Новым годом! Пожелала тебе здоровья, любви и тепла, успехов в работе, радости. А еще я хочу нашей встречи. Слышишь, Алешенька?! Ты чуть-чуть меня обманул: ты сказал, что через месяц я тебя забуду. Нет, это невозможно! Твой образ стоит у меня в глазах, твой голос звучит во мне.

Когда пишу тебе, какое-то светлое чувство просыпается во мне. Не знаю, когда тебя увижу? Ты хоть во сне приходи ко мне. Мне только дотронуться до тебя рукой, посмотреть в твои глаза и сказать тебе: «Ты мне нужен!»

Алешенька, я так скучаю по тебе. Скажи мне, Алеша, мы встретимся с тобой? Мы ведь обязательно встретимся! Я жду этого часа, дня, месяца, года... Не успела встретиться, а уже прощаюсь. До свидания, мой милый! Целую. Люблю.

Навеки твоя Людмила».

«Тут и раздумывать нечего! Ехать, и точка! Никто меня так крепко не любил, как она». Ему воочию представилась Людмила, он аж закрыл глаза, воскрешая былое... Она нежно прижалась к нему, маленькая, гибкая. Он целует ей мочку уха, она приходит в любовное неистовство, перекатывает голову из стороны в сторону по подушке, задыхается в горячей истоме. И вся такая ласковая, родная, будто продолжение тебя...

Поезд доставил Малахова в Волгоград. На вокзале его встретила Людмила и в собственной машине отвезла в гостиницу. Гостиница «Волга-Дон» располагалась в красивом месте, на пересечении Волги с Волго-Донским каналом. Людмила поведала ему историю создания канала. Канал, соединивший Волгу с Доном, и перепускные гидротехнические сооружения были построены еще в сталинские времена эсками, построены добротнo, на века. Бронзовая пятидесятиметровая статуя Сталина высилась тут же, у слияния реки и канала. Проходящие мимо пароходы и катера гудками приветствовали вождя. В шестидесятые годы его развенчали, а памятник тремя танками стащили с пьедестала. Гостиницу «Волга-Дон» воздвигли вместе с каналом.

Шикарный номер в гостинице поразил Малахова. Зал, спальня, широкий коридор, огромная ванная впечатляли. В уютной спальне стояла большая, явно на двоих, кровать под балдахином. Все это располагало к поэтическому настроению. Малахов решил воспользоваться приятной обстановкой, обнял Людмилу, поцеловал. От следующих объятий она увернулась:

— Подожди. Я сейчас не могу остаться. Мне нужно ехать. Устраивайся! Отдыхай с дороги, а завтра встретимся, я приеду к тебе. О времени договоримся, я позвоню.

Малахов с удивлением смотрел на нее. Людмила мало изменилась. Хотя с последней их встречи прошло более десяти лет. Лишь немного раздалась в бедрах, да округлилось лицо. А в остальном — вроде и не было этих долгих лет, такая же неугомонная, живая, такая же изящная и завлекательная.

Наутро Малахов подошел к администратору гостиницы, спросил, сколько нужно платить за номер.

— Нисколько! — ответил тот. — Все оплачено на трое суток вперед.

«Людмила! — понял Малахов. — Хорошо живет: номер этот стоит больших денег, потом машина у нее солидная, иномарка».

Он тоже решил не ударить лицом в грязь. Пошел в супермаркет, взял шампанское, заграничное вино, накупил всяческие закуски. Сервировал стол.

Людмила приехала вечером. Одета по моде. Светло-бежевые брюки, внизу расклешенные, делали ее ноги длинней и стройней. Короткая светлая кофточка обтягивала торс. Высокая белая прическа довершала ее убор, скрадывала округлость лица. Глаза, искусно обрамленные макияжем, сияющие неимоверной синевой, точно два глубоких озера.

Он галантно вручил ей букет роз.

— О-о! Ты стал настоящим джентльменом. — Она приникла лицом к розам, глубоко вдыхала их аромат.

— Стараюсь! Время такое пошло... Ты, смотри, тоже изменилась, другой имидж, как сейчас говорят.

Сели за стол. Выпили. Закусили. Вспомнили былое, курортные встречи. Рассказали друг другу о своем житье-бытье. Малахов, к своему удивлению, узнал, что подруга его теперь не просто Людочка, а Людмила Ивановна, предприниматель, имеет успешный бизнес в дамском шляпном производстве.

— Ты-то, Алеша, как сюда надумал, какие ветры тебя занесли?

— Ну-у, сразу о делах! — смешался он.

Он рассчитывал цель своего приезда открыть после интимной близости с ней. После этого человек расслабляется, становится податливым, и соответственно шансов на успех больше.

— Конечно! — Она выпрямилась, решительно положила руки на стол, устремила взгляд на него. — Я ведь теперь человек деловой. Для меня прежде всего суть. — Она улыбнулась какой-то дежурной улыбкой.

Откладывать разговор дальше не имело смысла. Малахов понял — пора.

— Тебя, Людочка, повидать! И больше... — он заволновался, во рту пересохло, но собрался с силами, сказал: — Выходи за меня замуж! — и совсем уж не торжественно, с хрипотцой, едва ворочая языком: — Предлагаю тебе руку и сердце.

— Поздно, Алеша, — раздумчиво произнесла она.

— Ничего не поздно! Я буду тебя беречь и холить!

— Нет. У меня здесь работа, творческие планы.

— Поедем ко мне! И занимайся там своим шляпным делом.

— Прошлого не вернешь!

Малахов в отчаянии бросился на колени, припал к ее рукам, покрывал их бесчисленными поцелуями.

— Встань! — она отстранила его от себя.

Твердость, с которой она это произнесла, отрезвила его. Он поднялся, сел на прежнее место. Внутри поднялись обида и разочарование.

— Как же так? Ведь ты любила меня. Какие письма писала!

— Вот когда писала, тогда и надо было свататься.

— Но я тогда был женат.

— Ах, ты был женат?! Тогда тебе хорошо жилось. А как я жила, тебя не интересовало!

— Почему же... — робко запротестовал Малахов.

— Да потому, что ты даже на письма перестал отвечать, и ни разу не приехал ко мне, хотя обещал.

— Ну-у, это жестоко!

— Жестоко?! А где ты был, когда я бедствовала, жила на семьдесят рублей? Я ведь работала швеей, шпулькой, как нас презрительно называли. Где ты был, когда трагически погиб мой муж, и всякая мразь лапала меня? Где был?! Где была твоя любовь?! Тогда ты держался за подол жены, тебе было тепло и уютно у нее под боком. Как-никак она врач, ведущая поликлиникой. Шишка! Богатая! Не то, что я — шпулька.

Людмила побледнела, глаза ее гневно расширились, приобрели стальной оттенок, взгляд их разил Малахова нестерпимым блеском.

— Теперь же, когда ее не стало, ты заплакал! Ты без женской юбки пропадешь! В тартарары провалишься!

— Это уже бред! — возмутился Малахов.

— Какой бред?! Чистая правда! Все вы, мужики, слюнтяи! Пропили, проболтали Россию! Под боком у жен сопли жуют! Или в подворотне самогон трескают! Защитнички! А мы, бабы, должны пахать, стирать, рожать, детей оберегать — тащить весь воз на себе! Мать твою так! Прости, что выразилась, — она умолкла, устало опустила плечи.

Удрученные, оба молчали. Первым заговорил Малахов:

— Давай не будем обобщать. У нас частный случай...

— Ну, если частный, то слушай! — Она вновь возбудилась, подалась вперед, глаза ее загорелись синим пожаром. Все ее существо выражало неистовый порыв: видимо, страдания прежних лет переполнили душу, просились выплеснуться наружу, облегчить застарелую боль. — Ведь ты, Алеша, самолюб! Ты думаешь только о себе. А какую роль ты отводишь мне? Сиделки?! Покоить твою старость? Трусы твои грязные стирать?! А мне только сорок пять! Я ягодка опять, и хочу пожить в свое удовольствие. Раньше не пришлось, так хоть сейчас взмахнуть крылом. У меня молодой муж, материально я обеспечена — зачем я буду менять свою судьбу? Нет, к старой шубе рукава не пришивают!

На том разговор и закончился. Людмила молча собралась и ушла. Оба чувствовали себя виноватыми, он — за равнодушие к ней в былые годы, она — за то, что сейчас грубо обошлась с ним.

Малахов не надеялся, что она придет провожать его. Но хотелось, почему-то очень хотелось, чтобы пришла. Он одиноко стоял на перроне и с надеждой взглядывал в сторону железнодорожного вокзала. Посадку пассажиров уже произвели, и поезд вот-вот должен тронуться. Людмилы не было. Малахов занес ногу на площадку своего вагона, последний раз посмотрел назад — в дверях вокзала стояла она. Рядом с ней — мужчина в шикарном костюме, белой рубашке и галстукe, высокий, статный, с красивым пробором в черных волосах.

Она что-то сказала ему, он повернулся, пошел обратно. Через минуту она была возле Малахова, нервно теребила сумочку.

— Это муж? — кивнул Малахов в сторону вокзала.

— Да.

Молчание. Какая-то стена отчуждения встала между ними. Неожиданно дали отправление, Людмила прижалась к нему, смущенно произнесла: «Прости».

Поднявшись на цыпочки, поцеловала в щеку. Со стороны посмотреть — прощаются дочь с отцом. Малахов прижал ее голову к груди, приник лицом к пышным волосам:

— Прощай!

Качнулся в сторону от нее, голова закружилась, то ли от дорогих

французских духов ее, то ли от слабости, неверной походкой направился в вагон.

После этой поездки он стал молчалив, замкнут, и уже не пытался изменить свою одинокую жизнь.

Прошло полгода. Как-то вечером зазвонил телефон. Малахов поднял трубку. Звонила свояченица Варя:

— Слушай, Алеша, я тебе жену нашла! — сразу без предисловий затараторила она в трубку. — Серьезная, интеллигентная...

— Я тебя об этом не просил! — оборвал ее удивленный Малахов.

— Ну и что, что не просил. Я тебе не чужая! Как-никак, сестра покойной жены и родная тетя Наташки. Должна же я о тебе беспокоиться! — несколько не смущаясь недовольством Малахова, так же быстро и четко говорила она, даже голос не дрогнул. — Ты мужик еще в теле, без бабы жить не будешь. А так как вы, мужики, в женщинах ни дьявола не смыслите — вам лишь бы смазливая была, я и решила тебе помочь.

— Все мы смыслим. Сам найду, — протестовал он.

— Ну, уж нет! Ты найдешь какую-нибудь стилиягу, она облапошит тебя, очистит до нитки и из квартиры выселит. И дочь Наташку ни с чем оставишь, и сам по миру пойдешь! Сейчас времена — атомные! Люди — звери! Я тебе нашла женщину обстоятельную, состоятельную и, главное, без детей, ей не для кого тянуть с тебя, сама она по гроб обеспечена. Тоже пенсионерка.

— Она хоть шевелится?! — съерничал Малахов.

— Шевелится, шевелится! Лишь бы у тебя шевелилось! Только одно на уме, — возмутилась Варя.

— Да я ничего. Я к тому, что надо хоть на нее посмотреть. А то, может, она страшнее паровоза. Может, ты выбираешь по принципу: пускай она крива, горбата, была б червонцами богата.

— Ты что, Алексей, меня за дурочку принимаешь?! — взвилась Варя. Малахову показалось, что даже трубка нагрелась от ее гнева. — Я же тебе не враг! Женщина хорошая, зовут Софья, по батюшке Кирилловна. Не красавица, но и не дурнушка, все при месте. Шатенка.

— Рыжая?! — вскрикнул он.

— Искусственная шатенка, — поправила она его. — Скажешь — перекрасится, будет блондинкой или брюнеткой. Ишь, какой разборчивый жених! А ты сам-то какой? Наполовину лысый, наполовину сивый.

— Ну, ладно, ладно! Завелась! Говори по делу.

— Что — по делу?! Ты согласен или нет?

— Согласен.

— Ну, вот и славно! Я с ней переговорю и назначу смотрины. Будь дома. Я позвоню. Чао!

— Пока! — Малахов медленно положил трубку.

«А что, пойду женюсь. Надо с кем-то век коротать. Без женщины и мир постыл».

Он впервые за последние месяцы улыбнулся.





Алексей Викторович Шаповалов родился в 1954 году в хуторе Каменец Россошанского района Воронежской области. Окончил Россошанское медицинское училище. Служил в армии. Работал на Россошанском электроаппаратном заводе. Публиковался в журнале «Подъём», в коллективных сборниках, среди которых «Свидание», «Слово о бойце», «Шел солдат...». Автор поэтических книг «Час звезды вечерней», «Байки про деда», «Опять снега склонились над Россией». Живет в Россоши.

Алексей Шаповалов

ВОСПАЛЕННЫМИ ГУБАМИ

* * *

А дождь хлестал... И молния рвала
Земли ночную черную рубаху.
И прятались во ржи перепела,
От грома натерпевшись вволю страха.

Смешалось все: и туч тяжелый вал,
И лес вдали, и поле за рекою.
И ветер разъяренный налетал,
Все рвал и мял холодную рукою.

И вымокли седины ковыля.
И с громом гром опять сшибались лбами.
И влагу запыленная земля
Ловила воспаленными губами.

Вдруг стихло все. Деревья, чуть дыша,
Прислушивались к ветра дуновенью.
Надолго ли? И дрогнула душа,
В миг тишины, найдя успокоенье.

* * *

День за окнами к вечеру вскачь,
И теряется где-то за полем.
Ты не плачь, моя радость, не плачь,
Этим днем я и сам недоволен.

В гулкой бездне наветов и лжи,
Где букет самолюбия пышен,

Даже светлые песни души
Никогда и никто не услышит.

Только эхо рванется потом —
Среди судеб, разбившихся тоже,
Чтобы крикнуть, забывшись, о том,
Что наш день, самый радостный, прожит...

* * *

Пуль трассирующих пунктир,
Небо насквозь прострелено.
Выползай мне за капонир,
Знаю, было не велено.

Но весна меня в степь звала,
И, на время отчаявшись,
Полз вперед — была не была —
Между трупов оттаявших.

И сжимался в тугой комок
В освещении матовом.
Как она холодит висок,
Эта смерть распроклятая.

Не найти мне в степи цветов,
Все истоптано, выжжено.
И назад я ползти готов
Мимо бруствера рыжего.

Что же я, иль ползти устал
Средь ночной круговерти?
Бил в лицо,дохнуть не давал
Запах жизни и смерти.

* * *

Вечер, любимая, вечер...
Дай мне ладонь. Погоди.
Вечер весенний не вечен.
Что еще ждет впереди?

Пусть по-весеннему ново
Зелень коснется ветвей.
Ты меня ласковым словом
Больше уже не жалеи.

Будут в садах белопенных,
С легкой истомой в крови,
Ахать самозабвенно
И после нас соловьи.

Встретит ли ад нас крошечный,
Кем-то придуманный рай?
Грешен, любимая, грешен.
Вечер... Дорога... Прощай.

* * *

В ночь осеннюю мне снится день
весенний,
вновь картина давняя близка...
не спеша иду в родные сени
по тропе из желтого песка.

Нежно льется таинство рассвета,
И в росе купается ветла...
В белое деревня разодела,
Майскими садами расцвела.

А с зарею рвутся в поднебесье
Жаворонки, певчие полей,
Чтоб своею утреннею песней
Край прославить юности моей.

Оттого ль проснуться не желаю
В городской квартире поутру...
Там, в деревне, вновь сады пылают
На осеннем стонущем ветру.

* * *

Верни мой день. Я больше не хочу
Жить в тишине березового рая.
Здесь листья, безмятежно умирая,
Неслышно прикасаются к плечу.

Здесь я не твой в плену чужих огней,
И тусклый свет мой тревожит окна.
От слез и лжи давным-давно поблекла
Былая свежесть памяти моей.

Здесь на закате каждый куст в крови.
Продрогший лес смятением охвачен.
Верни мой день, в котором нет любви,
А день любви и так сполна оплачен.



Валентина Леонидовна Фисай (Кузнецова) родилась на Кубани. Работала в текстильной промышленности. С юных лет увлекалась литературным творчеством. Печаталась в газетах и журналах Краснодарского края, альманахах и коллективных сборниках, издававшихся в Москве, Краснодаре, Камышине, Новокузнецке. Автор книг стихов «Серебряные нити», «Прикосновение». В журнале «Подъём» печатается впервые. С 2013 года живет в Россоши.

Валентина Фисай

ТОЛЬКО НЕ БОЙСЯ

Рассказ

-Д авай, спи, — строго говорит мне бабушка, плотно задергивая выцветшие занавески. — Завтра вставать рано — чуть свет, дед ждать не будет!

Я быстро зажмуриваю глаза и отворачиваюсь к стенке. Но заснуть сразу не удается. На улице еще шумят, играя, соседские ребятишки. Во дворах нетерпеливо повизгивают привязанные псы, неистово крутятся на своих цепях. Слышен каждый звук — вот зазвенело перевернутое козленком цинковое ведро, и бабушкино приглушенно-досадливое: «Вот бисова нывира!»

Это у нее такое ругательство. В казацких семьях не приняты плохие слова — грех! Но бабушка иногда ругается так, когда думает, что ее никто не слышит. У нас в семье всегда были строгие правила: детей далеко от дома не пускали. Для них всегда находилась работа по дому, двору, огороду. У всех станичников небольшие хозяйства: козы, куры, утки, поросята. За всем нужен пригляд и уход. Дети работают наравне со взрослыми, и стыдно прослыть лентяем и бездельником. Но вечером, после всех забот, можно погулять возле двора, где собираются и соседские дети. Играм нет конца! Но строго вечернее: «Домой!» — беспрекословно.

И вот уже призывные «Домой!» слышны с разных концов улицы, и дети нехотя

разбредаются по дворам. Темнеет. В открытое окно вползает мягкая вечерняя прохлада и тишина, нарушаемая приятным звоном цикад. Скорей бы завтра!

Завтра мне предстоит ехать с дедушкой в горы. Наш дедушка Петро, бывший казак, работает на ферме скотником. С весны подросших телят угоняют на все лето в горы. Там, на зеленых буйных пастбищах, меньше выгорает трава, и животные на воле быстро набирают вес.

Это лето выдалось урожайным на фрукты, особенно уродили сливы, терновки, алыча. Ветки деревьев буквально ложатся на землю под тяжестью плодов. В станице открылись приемные пункты, куда местные жители могут сдавать фрукты со своих участков. Деньги небольшие, но нужные в каждом доме, где после войны растут оравы ребятни. В нашем подворье фруктовых деревьев мало, а садик, который был когда-то в конце огорода, вырубил, когда обрезали участки бывшим казакам.

Дедушка согласился взять меня с собой в горы. Оказывается, они с напарником пасут свое стадо вблизи разоренных в войну немцами горных хуторов. Домишки там все сгорели и развалились, а сады, хоть и одичали, но остались.

Бабушка разбудила меня ровно в ту минуту, когда я, наконец, провалилась в глубокий захватывающий сон. Наш козленок Степка пытался прыгнуть с края обрыва прямо мне на голову. Сон слетел мгновенно, не оставив и следа...

Мы погрузили на бричку, запряженную колхозной кобылкой, корзины для слив. Бабушка принесла мне старый трикотажный костюм брата — ночи в горах холодные, да и клещей опасаться приходилось. Взяли еды на три дня и поехали.

И вот мне 13 лет, я впервые отправляюсь в странствие. Колеса тарахтят по тихим улицам, телегу подбрасывает на рытвинах и ухабах, а я представляю себя путешественницей в дальнюю неведомую страну.

Все вокруг интересно и ново! Незнакомые улицы с чужими курами и любопытными собаками скоро остались позади, и мы выехали на лесную дорогу, ведущую в горы.

Деревья обступали колею с обеих сторон, соединяясь сверху ветвями и образуя зеленый туннель. Иногда дорога выбегала на поляну, сплошь усеянную крупными ромашками, или на выцветший лужок с одинокими кустами бузины или чертополоха. И снова ныряла в лесную тишь, наполненную птичьими голосами. Устроившись поудобней, я начала дремать.

Приехали после полудня. Там нас ждал Павел, мужик лет сорока, дедушкин напарник. Он привез своего сына-подростка для подмоги — за лошадьми присматривать. А мне предстояло собирать сливы и алычу в заброшенных садах.

Первый вечер помню плохо, утомила дорога. Пока устроились, пригнали и пересчитали скот, закрыли в загон, поужинали, и без сил — спать. Мы с дедушкой расположились в палатке. Напарник с сыном Виктором соорудили себе шалаш, накрыли его брезентом от дождя.

Солнце еще не встало, а мужчины уже на ногах. Проснулись, замочили телята, просясь на травку и к водопою. Мужики погнали стадо на пастбище. В палатке я осталась одна. Потихоньку выползла наружу. Утро было ошеломляющим! Воздух — чистый и прохладный, как вода из родника. Вокруг висели кисейные облака, держась за верхушки самых вы-

соких деревьев. Легкая дымка тумана застилала речку в глубине ущелья. Зеленая изумрудная трава серебрилась в каплях росы. Вниз, к реке, простирался пологий зеленый склон. Солнце только-только осветило дальнюю, поросшую лесом гору, и его лучи пронизывали острыми своими стрелами верхние деревья и веером рассыпались по голубоватой зелени леса. Перехватило дыхание от восторга и необъяснимого счастья! Я кубарем слетела вниз по крутому склону к реке. Идти было невозможно, только бежать, широко раскинув руки, как крылья, и почти не касаясь прохладной мокрой травы. Я проскочила туман и оказалась на берегу речки Абинки. Свои чистые холодные струи она катила с гор, перебирая и шуруша мелкими гладкими камешками. Спуск чистый, у самой воды огромный плоский валун, с которого удобно зачерпнуть воду.

Помочила в ледяной воде ладошки, плеснула в лицо, умылась. Вскоре появился Виктор, сын Павла. Скотники погнали стадо на дальнейшее пастбище, а он вернулся ко мне. Виктор подъехал на коне, другую лошадь вел в поводу. Ловко, немного рисуясь, спрыгнул с коня, отвел лошадей к воде, затем на лужайку под деревья. Принес с родника котелок с чистой водой. Я стала собирать сухие сучья для костерка. Очень скоро, почти не разговаривая, мы напились чаю, заваренного душицей, поели сала с яйцами. Солнце уже поднималось над лесом. Виктор должен был показать мне дорогу в заброшенные сады. Это оказалось рядом. Мы вместе оттащили туда корзины, сложили в холодке. Виктор смело полез в заросли лопухов и нарвал целый букет крупных, похожих на тазы листьев. Это чтобы потом укрывать корзины со сливами от солнца. Мой первый рабочий день начался. Настроение было все таким же радостным. Я легко, как кошка, лазала по деревьям, сгребая с веток сливы и терновки в шитую бабушкой матерчатую торбу, наброшенную на шею. Вскоре уже шесть корзин были наполнены верхом. Руки и плечи устали.

Тут снова появился Витька и позвал отдохнуть. Сам он все это время занимался лошадьми. Витька был старше на год-два, но вел он себя как взрослый, стараясь подчеркнуть свое превосходство во всем. Я не очень-то реагировала. Спустившись к реке, с удовольствием сполоснула в ледяной воде руки и плечи, стряхнула с головы и одежды прилипший древесный мусор. Виктор разъезжал по довольно крутому склону на своем коне без седла, держась за гриву, явно рисуясь передо мной своим казачьим умением держаться на лошади. Кони были ездовые, и Виктору не разрешали кататься верхом. Седло было, но Витьке его не давали. Мы уселись на самом верху склона, у палатки, перекусить, и Виктор все еще продолжал хвастаться своими умениями и мастерством наездника.

Меня подзадорить легко, во мне всегда была эта пацанская жилка соперничества. И когда он предложил мне прокатиться самой, я, чуть посомневавшись, согласилась. Он посадил меня на кобылу, без конца уверяя, что она очень спокойная, не то, что его конь. Дал ухватиться за гриву — я вцепилась. Кобыла удивленно косилась на меня и стояла на месте. Виктор быстро запрыгнул на своего коня и потихоньку стал спускаться по склону вниз, оглядываясь и подбадривая мою лошадь. Сидеть на голом хребте было ужасно неудобно. Острые позвонки больно впивались в ягодицы. Наконец моя лошадка тоже начала двигаться вниз, при этом позвонки тоже задвигались. Сначала она ступала осторожно, но так как Витькин конь был уже далеко внизу, она вдруг перешла на мелкую рысь. Для меня это оказалось полной неожиданностью. Лошадь стала подбрасывать меня, ее грива выползала из моих рук и с каждым ее прыжком я

все ниже соскальзывала вокруг ее движущегося тела, совсем упустив гриву и уцепившись руками и ногами за ее хребет и живот. Еще секунду, и я была бы на земле, а лошадь раздавила бы меня своими копытами. Но и она почувствовала этот миг и, резко затормозив и присев на задние ноги, остановилась, как вкопанная. Я плюхнулась на землю между ее четырех ног. И тут я увидела Витьку, он галопом скакал вверх по склону к нам. Я видела только его бледное лицо и испуганные глаза. Когда он соскочил и убедился, что я цела, то начал нервно хихикать своим белым, с невесть откуда взявшимися веснушками лицом, без конца повторяя: «Я же говорил, что она умная и спокойная, я же говорил...»

Лошадь возмущенно хрипела, а я благодарно гладила ее умную шелковистую голову. Пальцы рук у меня затекли, а под ногтями было полно лошадиных волос.

На следующее утро дедушка проснулся еще раньше, когда в палатке было совсем темно. Я проснулась тоже, но лежала тихо под своим тулупом. Дедушка одевался на ощупь, шаря вокруг себя и тихонько бурча себе под нос. Наконец, нащупав сапоги и носки, он подтянул их ближе. Надев носки, стал натягивать сапог, но это ему не удалось. Нога не шла. Заметив, что я не сплю, он решил, что это внучка подшутила над ним, и стал на меня ворчать. Но я его сапог не трогала.

— Да как же не трогала, — возмущался дед, — а кто же туда портянок натолкал?

Он приподнял сапог, и стало заметно, что сапог гораздо тяжелее, чем должен быть. Его рука потянулась к голенищу, но вдруг он замер. И затем, приподняв обувку, легонько тряхнул. Сердце у меня почему-то сжалось. И действительно, из сапога вывалился тяжелый клубок, который стал медленно разворачиваться. Мы замерли. Тело крупной змеи, блеснув в темноте, скользнуло в светлую щель под палаткой. Но из сапога уже падал второй ком, поменьше, который порезвей развернулся и, шикнув, последовал за первым. Я лежала в своем углу — ни жива ни мертва. Дед же машинально повторял: «Не бойся, не бойся...»

Он обследовал другой сапог, палкой поворошил все остальные вещи в палатке, забрал и потряс на воздухе мой тулуп. Уже светало. Я все еще лежала, молча и не шевелясь. Дедушка обошел со своей палкой вокруг палатки, потуже закрепил края, сел у входа и закурил свой самосад, пуская дым в палатку. «Они дыма не любят, не бойся, не придут больше. А если увидишь змею, не пугайся и не дергайся, змея первая не нападет, потому что сама боится, а бросается, когда видит себе угрозу — это ее защитная реакция. И когда ходишь, смотри под ноги, чтоб нечаянно не наступить. А бояться не надо». Дедушка наш был всегда очень немногословен, особенно с детьми. Его длинная поучительная речь поразила меня. Постепенно все мурашки и иголочки внутри улеглись. Я успокоилась. Уже мычало и беспокоилось стадо. Мужчины, вместе с Витькой, погнали телят на пастбище.

Я на целый день осталась одна. В палатке уже не лежалось. Я разожгла приготовленный мне с вечера костерок, заварила в своей кружке чай. Потом, долив в котелок воды, набросала туда слив, алычи и немного сахара — пусть мужикам будет компот на вечер. Погуляла у воды, перебирала камешки и наблюдая стайки мелких рыбешек, которые металась в прозрачной воде. Прекрасное утро вконец развеяло мои страхи, и я пошла обрывать алычу и терновку.

Уже все было готово, когда вернулись Павел с Виктором. Их очередь была ехать домой. Перекусив и похвалив меня за компот, они погрузили на бричку корзины. В повозку запрягли мою лошадку. Своего коня Витька привязал и оставил, накормив его и напоив. Ящики и корзины с фруктами пообещали завести к нам домой. Погрузились сами, и бричка, проскрипев сухими колесами, скрылась между деревьев.

Вскоре дедушка пригнал стадо. Вечерело. Мы вдвоем запустили скотинок в загон и стали считать. Пересчитывали скот постоянно, боясь потерять отставшую или заблудившуюся телку. Одной головы мы не досчитались. Дедушка тут же оседлал Рыжика, так, оказывается, звали Витькиного иноходца и отправился на поиски пропавшей. Я осталась и снова принялась пересчитывать, в надежде, что мы обсчитались. Но нет, одной головы не хватало. Постепенно темнело. Дедушка дважды возвращался, надеясь, что телка сама придет, так бывало, но безрезультатно. И снова он отправлялся на поиски. В третий раз он приехал, когда почти совсем стемнело. Конь под ним хрипел, у него самого дрожали руки, когда он подхватил меня и посадил на коня перед собой. Телка нашлась, она упала в яму, густо заросшую бурьяном. Вероятно, это был окоп или воронка от бомбы.

Животное жалобно мычало. Мы вдвоем пытались помочь ему выбраться, но оказалось, что телка ранена, руки дедушки были все в крови. Бедное животное напоролось на острый сук, который глубоко пропорол живот. Вытащить ее из ямы не было никакой возможности. Все-таки удалось выдернуть сук из раны, но кровь хлестала, а животное начало хрипеть. Дедушка достал платок и бутылку с остатками самогона и, смочив тряпицу, попытался остановить кровь. Таким нервным я деда никогда не видела. Нужен был ветеринар. Если телка погибнет, дедушке придется платить огромные для нашей семьи деньги. За падеж скота отвечали скотники.

Мы вернулись к палатке. Дедушка не мог оставить стадо. Подумав немного, он посадил меня на коня. Подтянул под меня сбрую и наказал, чтоб я не боялась, чтоб не дергала поводья и лишь потихоньку прищипывала коня, если замедлит шаг.

«Не бойся ничего, Рыжик дорогу знает, он сам тебя привезет в станцию на колхозный двор, — говорил мне дедушка. — Там скажешь, что срочно нужен ветеринар, что телка упала в яму и пропорол себе живот. Самое главное — не бойся и не засни сама по дороге. В лесу полно зверей, ты услышишь их звуки — вой или хрюканье, надейся на коня, он тебя в обиду не даст и довезет до места».

Рыжик внимательно слушал, а дедушка похлопывал его по холке. Потом несколько раз сказал: «Рыжик, домой!»

Конь нерешительно топтался на месте, затем, мотнув головой, сделал шаг к лесу. Я обернулась — дедушка поспешно опустил руку. Я поняла, что он перекрестил нас. Это очень удивило меня. В доме у нас были иконы, бережно хранимые бабушкой, но я никогда не видела, чтобы кто-то из старших молился или крестился. В школе за это могли исключить из пионеров, верить в Бога считалось позором.

Рыжик, сначала нехотя, затем быстрее выбежал на одному ему видимую тропу, а потом и на дорогу. Лес вокруг тайл множество страхов. Непонятные звуки, треск сучьев, плачущие вопли, движущиеся тени обступали со всех сторон и не давали покоя. Мурашки страха не покидали мою спину и голову. Я все думала о дедушке, он перекрестил нас, и я сама

невольно стала повторять: «Господи, помоги нам, охрани нас!» И было стыдно и сладко от этих запретных, но обнадеживающих слов. От неудобства сиденья в седле ноги и бедра занемели. Но вскоре я привыкла и уже не обращала на это внимание. Рыжик бежал резво, но и ему было неудобно в ночном лесу. Когда было особенно страшно, я пригибалась к шее коня и шептала дедушкино: «Только не бойся...» Рыжик в ответ тихонько ржал. Мы оба устали, но мне не приходилось торопить коня, лишь иногда он замедлялся, чтоб успокоиться и передохнуть.

В станицу мы спустились под утро. И здесь, по улицам, выскочив из леса как бы на волю, конь побежал быстрее и свободней. На колхозном дворе ворота нам открыл сторож, а заодно и конюх. Узнав в чем дело, он тут же побежал в правление. Я отвела коня в конюшню. Посреди двора был колодец, и на срубе стояло ведро с водой. Я подошла и напилась прямо из ведра, а потом потащила ведро Рыжику, он тоже хотел пить.

Идти домой после долгого сиденья в седле было тяжело. Бабушка, увидев меня, напугалась, но, узнав, в чем дело, отослала меня спать. Я с удовольствием растянулась на родной мягкой перине. Повернувшись, внимательно посмотрела в темный угол, где висела бабушкина икона. Заснула я мгновенно.

На другой день сообщили, что телку пришлось дорезать, она потеряла много крови и спасти ее не удалось. Но ветеринар успел вовремя, чтоб составить акт и зарегистрировать травму. Обвинений дедушке не предъявили.

Больше в горы меня не брали, хотя я очень надеялась. Там, в садах, еще оставались сливы и алыча.





Виктор Васильевич Беликов родился в 1940 году в селе Новопостояловка Россошанского района. Поэт, прозаик, переводчик, краевед. Окончил филологический факультет Воронежского государственного университета. Работал учителем в школе, ответственным секретарем районной газеты. Автор книг «Тепло и боль земного бытия», «Охоты чудные мгновения», Член Союза писателей России. Живет в Россоши.

Виктор Беликов

СИНИЕ ВЬЮНКИ

СЫНОВНИЙ ДОЛГ

Памяти А.Т. Беликовой

Матушка моя Анастасия,
Свет мой тихий на закате дня,
Для меня ты стала как Россия,
Ты природой стала для меня.

Положи на голову ладони,
Что шершавы, словно сухари,
Пожалей, когда так сердце стонет,
Иль по-матерински пожюри.

Матушка моя Анастасия,
Ты порой являешься во сне
В той хатенке с окнами косыми...
Ты идешь, спешишь навстречу мне.

Вновь безмолвным горестным укором
Ты глядишь, пронзая сон души,
И уходишь в даль по косограм,
Исчезаешь в заревой тиши.

Что тебя тревожит на том свете?
В чем моя сыновья вина?
...Просыпаюсь с болью на рассвете.
Мама?.. Совесть?.. Иль моя страна?..

Перед ней я тоже в неоплатном,
В чем-то неосознанном долгу.
И гнетет, что нет путей обратных,
Ничего исправить не могу.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Опять звенят овсянки о весне.
Синицы нежный голос серебрится.
И солнца позолоченные спицы
Незримо вяжут зелень в тишине.
Меня всегда волнует пробужденье
Родных лесов и пенье диких вод.
Я так люблю весенний хоровод —
Все эти свисты, кличи и сраженья.
Не потому ль, что памятной весной
Любовь до дна мне высветлила душу,
Своей любви я верность не нарушу.
И в дни весны она опять со мной.
Она со мною в каждом лепестке,
В дыханье ветра, в зябликовом свисте.
Она в шуршанье капель в нежных листьях
И в каждом оживающем жуке.
Храни ее от старости, судьба.
Не дай увянуть, как цветку-пиону,
Растаять, как серебряному звону
Перепелов в молоденьких хлебах.
Даруй ты ей способность к возрожденью.
Из мелких дрязг пускай встает, ясна,
Как эта вечно юная весна,
Как это безграничное цветенье.

ВЬЮНКИ

Синие, лиловые вьюнки,
Рупоры ликующего лета,
Вы, как люди, спите до рассвета
Вдоль заборов, грядок, у реки.

...Яркие беззвучные звонки
На плетнях моей былой деревни,
На ночь вновь и яростно, и гневно
Сжали вы цветочки в кулаки.

Сгнили те, по хуторам, плетни.
Вместо них — стеною циклохена.
И мыльнянки розовая пена,
Где мелькали пятки ребятни...

Вам ли, милые, казать кулак
В этом сокрушении устоев?
Ваше дело самое простое —
Украшать житейский кавардак.

...Вновь выходит солнце в синеву,
Ласточки стригут небесный купол.
И вьюнки глядят, как глазки кукол,
Лоскутками неба в синеву.

ПРЕДЗИМЬЕ

По пашне промерзлой, гремящей,
По озими хрусткой, седой
Шагаю, охотник бродячий,
Мотаю версту за верстой.
И гончей зарев — как валторна,
Тромбоном — башур выжлеца.
Российские наши просторы
Охотничьи греют сердца.
Кружатся грачи над толокой,
Как хлопья сгоревшей стерни.
И страннику не одиноко,
Тепло и в промозглые дни.
Родная земля под ногами,
И ветры поют в проводах.
Зеленых морей островками
Лески и солома в скирдах.
Печаль, и тоска, и величье,
Где тучи — как крыша шатра.
Безлюдье...Беззверье... Бесптичье...
Глухая предзимья пора.
Лисица под гончими ходит
Большими кругами вдали.
И снится уснувшей природе
Цветение вешней земли.

* * *

*Еще за деньги люди держатся,
Как за кресты держались люди
Во времена глухого Керженца,
Но вечно этого не будет.*

Ник. Асеев. 1956 г.

Еще любовью люди держатся,
Да и к крестам вернулись люди.
Быть может, бесы не потешатся,
Как в дни былые,
в дни, что будут.
Еще не все святое сгинуло
В кровавой ломке чужебесия,
И за знаменами и гимнами
Народа подвиг все же светится.
Еще не все растлили, вымели
Из нашей горестной истории,
Не все из памяти повынули,
Чтоб нас свести до инфузории.
Не все распродано, оболгано.
Плакун-травой страна поднимется,
И все, что мы считаем родиной,
У нас вовеки не отнимется.



Марина Васильевна Венделовская родилась в хуторе Остров Богучарского района Воронежской области. Окончила физический факультет Воронежского государственного университета. Работала во многих СМИ, департаменте СМИ Краснодарского края. Публиковалась в коллективном сборнике «Распутье», журнале «Подъём». Живет в селе Новая Калитва Россошанского района.

Марина Венделовская

ОТЕЦ

Отрывок из повести

Перед дверью в подвал Ленка невольно притормозила. Длиннющий коридор, протянувшийся под двумя корпусами областной больницы, действовал на нее угнетающе. Толстые, обмотанные фольгой, трубы над головой давили до тошноты. В первую подземную ходку Ленка пропустила нужный поворот и попала к дверям морга. У стены стояла каталка с накрытым с головой телом, и из-под простыни торчали бескровно-желтые грязноватые пятки. Теперь эти мертвые пятки мерещились Ленке всегда, стоило лишь только увидеть зеленые подвальные стены в тусклом «мертвецком» свете люминесцентных ламп. Но другой дороги не было. В больнице объявили какой-то долгоиграющий карантин, и за пропуском пришлось бы толпиться полдня. Да еще вопрос, дадут ли.

Про подвал рассказала университетская подружка, которая подрабатывала техником в кислородной службе больницы и знала все ходы и выходы. Она же одолжила белый халат и колпак. Чтобы никто не завернул назад по дороге, нужно было прикинуться отставшей от группы практиканткой и переодеться в раздевалке для студентов. За три недели ежедневных хождений Ленка вошла в роль. Главное — не паниковать и не дергаться при встрече с медперсоналом. Но этот подвал...

«Главное — не думать об этом! И не сбиться. Считать повороты. Мой — шестой. Главное — не думать...» Вынырнув из подвала, она перевела дух и приняла торопливо-деловитый вид. Шесть этажей прошла почти спокойно. Палата — третья справа.

— Папа, я пришла.

Как-то папа нарисовал Леночке белого медведя. Он срисовывал его с конфетной обертки. Конфета была очень вкусной, а медведь — совсем как настоящий. Леночке было тогда лет пять, и она в очередной раз лежала дома с ангиной.

— Папа, ты настоящий художник! Мама так не может.

Рисунок Леночка спрятала в свои книжки в детском уголке и доставала, когда никто не видел. Она придумывала длинные сказочные истории про «папиного медведя». Картинка затерлась, измялась, а потом потерялась совсем. Может быть, мама выбросила, когда наводила в уголке порядок. А больше папа не рисовал. Ничего и никогда. Он часто приходил домой поздно и очень сердился, когда Леночка просила почитать или поиграть.

— Дайте мне хоть дома отдохнуть спокойно! Вон к матери иди!

Зато на работе у папы Леночка бывать любила. Он брал ее с собой, когда не работал детский сад, а случалось это нередко. В редакции районной газеты невкусно пахло папиросным дымом, и вкусно — свежими газетами. Они пачкали руки черной краской, но Леночка любила их больше, чем свои книжки. Читать научилась по заголовкам, едва ей исполнилось четыре. К папе в кабинет приходили дяденьки с исписанными листами серой бумаги. Они много курили, громко спорили, и папа иногда ругался, что нечем закрыть дырку на какой-то полосе, зато надо резать строчки в подвале. Леночка подошла поближе к столу, но никаких дырявых полосок не увидела. Потянула отца за рукав:

— Пап! У мамы лоскутков много всяких. Хочешь, я попрошу. Будем дырки зашивать.

Дяденьки в кабинете почему-то рассмеялись, а папа рассердился:

— Ну что ты всюду нос суешь? Не мешай работать!

Девочка потихоньку выскользнула из кабинета и по обшарпанной лестнице спустилась во двор.

— Ну что, Елена Михайловна, едете со мной в командировку? — Водитель редакционного «горбатого» москвича с самым серьезным видом распахнул дверцу: — Присаживайтесь!

Леночка забралась на заднее сиденье, на «свое» место. С Василием Петровичем они дружили. Когда папа брал ее в свои поездки по району, Леночка ждала в машине, пока он закончит длинные беседы с непонятным названием «интервью». Петрович развлекал девчущку недетскими разговорами «за жизнь» и угощал домашними пирожками.

— Дядя Петрович, а где у вас подвал?

— Какой еще подвал? Нету тут никакого подвала.

— Ну как же нет! Я все слышала. Там строчки режут. А их ножом? Им очень больно?

Больница далеко, почти за городом. Автобус туда не ходил, и Леночка с папой шли пешком. Было сыро и очень серо. Холодный ветер забирался под полы и в рукава старенького, короткого уже пальтишка. Папа держал за воротник и время от времени подталкивал:

— Топай быстрее! Что ты, как муха сонная.

«Мама бы за руку взяла, а не в шею толкала», — подумала Леночка. Она вспомнила, как мама прятала ее ладошку в своей теплой и мягкой руке: «Грейся!» Становилось вправду теплее. И с мамой можно говорить про все-все-все, и она не сердится, а только улыбается очень ласково. Леночке стало так жалко и себя, и маму, что она расплакалась.

— Ну, вот еще только слез твоих не хватало! И в кого ты такая рева уродилась?! Мать увидит, что глаза красные, я у нее виноват буду.

Мама вышла к ним в холодную каморку приемного отделения, кутаясь в синий больничный халат. Она была очень бледная, и губы синие, совсем как этот халат. И она не улыбалась. Прижала Леночку к себе, гладила по голове и почему-то тоже плакала, хотя Леночка и рассказывала, что у них с папой дома все хорошо, и папа водит ее в столовую, и она там, ну правда, все ест.

Папа попытался маму обнять, но она оттолкнула его сердито:

— Совести у тебя нет! Хоть бы в больницу в таком виде постеснялся. На тебе ребенок остался, а ты... За версту перегаром несет.

— Аля, ну что ты! Вчера да, чуток было. А сегодня я ни капельки.

Папа врал. Утром, пока Леночка ковыряла вилкой ненавистную яичницу, он выпил две стопки водки подряд. Перед самым выходом из дома налил себе еще одну. Леночка говорила, что маму нельзя расстраивать, потому что она может умереть «от сердца», но папа не стал слушать.

Праздник назывался «Седьмое ноября». Еще вечером папа сказал, что его пригласили на трибуну, и пообещал взять Леночку с собой. Теперь она сидела у папы на шее и крепко сжимала в руке красный флажок с привязанным к нему розовым шариком. На трибуне стояли важные дяди-начальники, а перед ними по улице проходили колонны с красными флагами и портретами. Это называлось «Демонстрация». Играла музыка, рядом с ними диктор громко и торжественно говорил в микрофон: «Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!» и «Слава Великому Октябрю!» И все кричали «ура!» Леночка тоже кричала «ура», и ей было очень радостно. И она была выше папы, выше всех.

Когда демонстрация закончилась, важный дяденька в каракулевой шапке повернулся к ним:

— Ну что, Михаил Иванович, замерз? Поехали с нами: согреемся, годовщину революции отметим.

— Сейчас, только малую матери сдам. Я мигом.

Мама уже ждала под трибуной. Отец торопливо подтолкнул к ней дочку.

— Идите сами, я попозже приду.

— Снова начинается? Ты же обещал! Пойдем домой.

— Ты что, не понимаешь, кто пригласил? Первому секретарю не отказывают, если хотят и дальше нормально работать!

Соседка Марья Гавриловна по-хозяйски расселась на кухне Кузнецовых и выговаривала маме:

— Иди и заberi его! Не позорь мужа. Хорошая жена на себе мужика домой притащит, чтоб под забором не валялся. Хочешь — возок дам, погрузить помогу.

Мама устало прислонилась к дверному косяку:

— Никуда я не пойду. С кем пил, тот его пусть и таскает.

— Смотри, Алечка, останешься одна. Больно ты гордая! Все пьют. Муж у тебя не последний человек. Его-то сразу подберут, а ты кому с довеском нужна?

Гавриловна поджала губы и на выходе громко хлопнула дверью.

Отца притащили домой какие-то люди. Он лежал посреди кухни, и под ним была зловонная лужа.

То ли от вони, то ли от страха Леночку вырвало. Потом еще и еще. Мама отнесла ее в спальню, поила какими-то пахучими каплями, а девочку трясло крупной дрожью, и она никак не могла успокоиться.

В ту ночь они подперли дверь спальни Леночкиной кроватью, а сами спали вдвоем на маминой.

Утром папа прятал от дочки глаза, клялся маме, что больше такое не повторится. Несколько дней он приходил с работы трезвый, приносил Леночке гостинцы и учил ее играть в шахматы. Мама пекла любимые Леночкины пирожки с яблоками, и они пили чай «со слоном», и папа пел им разными голосами: «как Шаляпин», «как Утесов», «как Зыкина». Леночка и не знала раньше, что папа так петь умеет.

Счастливые дни кончились, когда Леночка уже совсем поверила, что так хорошо теперь будет всегда. Однажды папа с работы не вернулся. Пришел только следующим вечером, весь какой-то опухший и помятый. И злой. На Леночку накричал, и на маму:

— Не плюйте в душу, там и так нагажено! Я с вашей трезвостью — белая ворона. Сижу, как дурак, гляжу, как люди пьют и радуются. Надоело!

И снова его приводили или приносили, и Леночка с мамой прятались у соседей, а он, проспавшись, ходил среди ночи по всем квартирам и требовал вернуть ему семью. А потом маму увезла «скорая», и Леночка осталась с отцом сама.

По вечерам он напивался «в стельку» и спал беспробудным сном. В один из таких вечеров, когда Леночка, дрожа от страха, лежала в темной спальне и никак не могла уснуть, в дверь настойчиво позвонили. Пойти и спросить «кто?» ей было страшно. Она стала звать папу, но тот не откликнулся. Тогда Леночка подумала, что, может, папа умер, а через несколько минут безответного зова она уже верила, что это на самом деле так. От ужаса Леночка стала уже не просто кричать, а истошно вопить: «Папа! Папа!» А тут в дверь снова зазвонили и затарабанили. Леночка забилась в угол кровати и заверещала тонко и испуганно, как загнанный зверек. Она будто по-настоящему видела, что за дверью стоят бандиты, которые воруют детей и делают с ними какие-то страшные гадости.

Соседи выбили дверь и ворвались в квартиру. Включили свет. Гавриловна кинулась к девочке:

— Лена, деточка, что с тобой? Что он тут с тобой делал?!

Ее муж, Максим Романович, сжимал в руках топор и озирался по сторонам. В дверном проеме маячила толстая сплетница тетя Зина с первого этажа.

Леночка ошалело обвела всех глазами, наконец, с трудом поняла, что это все же не бандиты, и выдавила из себя через силу:

— Он... УМЕР!!!

Через несколько дней папа не забрал ее из детского сада. Воспитательница безуспешно пыталась дозвониться ему на работу, а потом отвела Леночку к подъезду:

— Жди, папа, наверное, скоро придет.

Леночка ждала. Очень хотелось есть. И было стыдно, что кто-то увидит, как она сидит на ступеньках, будто брошенная бродячая собака. От жалости к себе она и впрямь начала поскуливать, как та самая собака. Подобрала ее в первом часу ночи Марья Гавриловна, вернувшаяся со второй смены.

— Все, будешь жить у нас, пока мать не выпишут. Завтра ходим к ней, договоримся.

Утром пошли в больницу. Леночка всю дорогу уговаривала Гавриловну, чтобы та про «вчера» не рассказывала. Мама плакала, просила врача, чтоб ее отпустили домой, но ей сказали, что лежать надо еще не меньше недели.

Всю неделю Леночка жила у Абрамовых. Отец сразу согласился отдать ее.

— Так и правда лучше будет. Она меня извела своими капризами, а мне работать надо. — И дал Гавриловне денег, чтоб дочь кормили.

Десятилетняя Анька, дочка Абрамовых, с которой Леночку укладывали спать, заталкивала ее под одеяло с головой:

— Давай, я буду мама, а ты — лялочка, которая еще не выродилась.

Под одеялом было душно и очень плохо пахло. Леночка пыталась «выродиться» как можно быстрее, но Анька не выпускала.

С тех пор и уже навсегда Леночка не могла укрываться с головой. Изнутри поднимался панический страх, горло перехватывал спазм, и она начинала задыхаться.

Весной в их город приезжала иностранная делегация из города-побратима. Встречали ее на вокзале «первые лица». Привезли духовой оркестр из местного Дома культуры. Отец готовился освещать событие лично. Но поезд опоздал на пару часов, и к прибытию важных гостей Михаил Иванович выполз из станционного буфета на перрон на четвереньках.

Утром вызвали в райком партии. Первый секретарь орал и брызгал слюной, грозил упечь за решетку как «антисоветчика», потом сел и устало заключил:

— Кончилось мое терпение. Пиши заявление.

Дома папа хорошился:

— Я им покажу еще, кто тут антисоветчик. Позвоню Петру в Москву, он всех на место поставит!

Петр, старый папин друг, с которым они вместе учились в литературном институте, был теперь инструктором в ЦК партии и контролировал работу прессы. Дружбу старую не забывал и Михаила всегда поддерживал.

Через несколько дней дядя Петя приехал к Кузнецовым. Был он очень красивый. И добрый. Леночке привез куклу с закрывающимися глазами. А еще — кучу всяких вкусностей, про многие из которых девочка раньше даже не слышала.

Вечером родители сидели с гостем на кухне, а Леночку отправили спать. Но ей все равно было слышно, как дядя Петя говорил:

— Что ж ты, Мишка, творишь! Ведь ты настоящий! Талантище у тебя — десятых писак выкроить можно. А ты его водкой заливаешь. Бросишь пить — забереу в Москву. В любую газету пойдешь, сам выбирай. С квартирой помогу. И Але твоей работу найдем.

Папа отвечал тихо. Леночке никак не удавалось разобрать слов. Ей очень хотелось, чтобы папа согласился, и они поехали в Москву, где есть Кремль и Мавзолей. И чтобы дядя Петя приходил к ним в гости. И чтоб ходить с мамой и папой в цирк и в зоопарк, где звери живут без клеток.

Леночка стала представлять, как они все вместе гуляют среди красивых высоких домов по чистеньким улицам, которые специальные машины каждый день моют щетками.

— Я пил, пью и пить буду!

Папин крик ударил по ушам, и Леночка поняла, что не видать им никакой Москвы.

Наутро дядя Петя уезжал. В дверях квартиры обернулся к маме: — Бросай его, Алечка. Хоть и друг он мне, скажу — толку с него уже не будет. А девочку до психбольницы доведете. Смотри, какая она у вас дерганая, глаза на мокром месте.

Через месяц папа уехал работать в редакцию маленького городка. Дядя Петя сказал, что помогает ему последний раз. Мама с Леночкой не поехали.

Он изредка присылал дочке письма, написанные печатными буквами, чтобы та сама могла прочитать. Писал, что скоро обустроится и обязательно их с мамой увезет к себе. Маме он тоже писал, только про что — она не рассказывала. Леночка спросила, когда их папа заберет, а мама обняла ее и крепко прижала к себе:

— Сильно скучаешь?

Леночка почти не скучала. С мамой было хорошо. Они читали друг другу книж-

ки, вместе готовили, по вечерам ходили гулять, а иногда — в кино. Летом еще купались на речке, которая текла прямо в городе.

А осенью Леночка пошла в школу. Ей купили портфель и нарядили в коричневое школьное платье и белый фартук. И мама вела ее за руку, и все было просто замечательно. Сосед, дядя Артур, сфотографировал ее с портфелем и букетом астр, и Леночка послала фотографию папе. Писать ему письма мама не запрещала, но предупреждала каждый раз:

— Пиши только о себе, про меня — ни слова. И не смей ничего у него просить.

Леночка только вернулась из школы и села обедать, когда в дверь позвонили:
— Доченька, открой, это папа.

Папа чмокнул Леночку в щеку:

— Мне надо вещи кое-какие забрать. Маму ждать не буду, у меня машина уйдет.

Он рылся в шкафу с одеждой, связывал веревками пачки книг, пересчитывал ложки и вилки. Все, что он собрал, уносили два чужих дяди, которые даже не поздоровались и ходили мимо Леночки, как мимо пустого места. Потом папа еще раз чмокнул ее и ушел, пообещав, что скоро напишет. В квартире было непривычно пусто, а нарядные половички, которые соткала и передала бабушка, стали затоптанными и грязными.

Бухгалтер из редакции сказала маме, что у папы теперь новая жена.

После этого письма стали приходиться совсем редко: на Новый год, Восьмое марта да еще в день рождения. Затем — одни открытки.

Леночка все равно писала ему. И не жаловалась. И не просила. Только раз, в третьем классе, написала, что все дети катаются на лыжах, а ей покататься не на чем. Ответ пришел быстро. И Леночка с гордостью рассказывала всем во дворе, что папа уже купил и скоро передаст ей лыжи с настоящими ботинками, а не с веревочными креплениями. Потом ее всю зиму дразнили и спрашивали, где же ее лыжи. И обзывали «брехлом поганым».

В двенадцать лет Лену отправили в туберкулезный санаторий. На целый год. Мама приезжала раз в месяц, потому что ездить было далеко и дорого. Лена написала отцу, где она. Ответное письмо было более, чем странным. Папа спрашивал: «Что случилось, уж не сломала ли ты ногу?» После этого Лена писать ему перестала.

В год окончания школы отец позвонил маме на работу. Спрашивал, как Лена учится и куда думает поступать. Чуть позже прислал дочери длинное письмо. Звал к себе в гости сразу после выпуска. Обещал помочь подготовиться к поступлению. Мама не отпускала. Но Лена все же упростила ее и поехала.

В маленьком домишке из проходной кухни и комнаты было жутко накурено. Папина жена, маленькое тощее существо с рябым лицом и одуванчиком «химии» на голове, не выпускала изо рта «Приму». У нее были тонкие губы и очень злые глаза. Она была вылитая Варвара, злая сестра доброго доктора Айболита из любимой в детстве книжки Чуковского. Лена так и звала ее про себя, а позже, сколько ни сидела, не могла вспомнить настоящего имени.

У Лены от дыма слезились глаза, а шестилетний Сашка и полуторагодовалая Верочка играли на полу, как ни в чем не бывало. Мальчонка присматривался к ней настороженно, а потом спросил:

— Ты что, еще и ночевать у нас будешь?

Позвали обедать. Варвара водрузила на стол супницу и все подавали ей тарелки. Лене она налила один половник, набрала второй, помедлила и... вылила его обратно в супницу.

Ком обиды подкатил к горлу, и стало совсем нечем дышать. «Тарелки супа пожалели! Мама бы последний кусочек отдала, а эти...» Лена отодвинула стул и выскочила во двор, из него — в заросший сад. Там упала на голую ржавую сетку старой кровати с железными спинками и разрыдалась в голос. Отец появился минут через пять:

— Иди в дом. Нечего меня перед соседями позорить.

На перроне отец тронул Лену за руку:

— Зря обижаешься. Никто тебе плохого не сделал. Как узнаешь точное расписание вступительных экзаменов, звони. Я возьму отпуск и приеду. Поговорю с кем надо. У меня такие связи! Поступишь.

Лена позвонила. Ждала. Он не приехал ни к первому экзамену, ни к последнему. Дома трубку не брал, а в редакции ответили, что Кузнецов в отпуске. Три экзамена сдала на пять, а на английском ей вкатили «тройку». При конкурсе двадцать шесть человек на место итоговых списков можно было не ждать.

Домой возвращаться было невыносимо стыдно, и Лена отнесла документы в первый попавшийся техникум. Отличников там принимали без экзаменов.

Студенткой университета Лена стала только через три года...

Третьекурсница Ленка вернулась с занятий в общагу в отличном настроении. Курсовую защитила «на ура», и половину зачетов автоматом поставили. По такому случаю, она раскололась на большую плитку «Бабаевского» и ела шоколадку на скамейке сквера, жмурясь от удовольствия и стараясь продлить его как можно дольше. Мысли, что такие nepозволительные траты — преступление против собственной личности, решительно оставила «на потом».

На вахте ее окликнула дежурная:

— Кузнецова, тебе отец звонил.

— Не, тетя Маша, ты что-то путаешь. У меня нет отца.

— Ну, не знаю. Назвался так. В пять часов перезвонит.

Тетя Маша не перепутала. В трубке раздался давно забытый, но, безусловно, кузнецовский голос:

— Леночка, доченька, это папа.

Ленка досадливо поморщилась: «Надо же, отыскал, вспомнил! И телефон нашел, «шерлок холмс».

— Я в больнице областной, в гастроэнтерологии. Мне так плохо. Приходи. И принеси мне покушать. Тут кормят отвратительно.

В комнате Ленка, костеря себя за мягкотелость, — выискалась сестра милосердия! — высыпала из кошелька жалкие остатки наличности. Заглянула в продуктовую тумбочку. Картошка еще осталась и масла постного чуток. Выжить можно.

Утром на последние деньги купила в буфете пакет кефира, пару творожных сырков, булочку, пачку печенья и поехала в больницу. Тогда там карантин не было еще.

Отец вышел с ней в коридор. Был он сильно постаревший, весь усохший, и глаза у него слезились. Про Ленкину жизнь ничего не спрашивал. Стал рассказывать, как сильно у него болит и как он эту боль представляет чужой и выгоняет в дальний угол палаты. И про соседа, который будит его по ночам, чтоб не храпел. Потом хвалился, что у него полно влиятельных друзей, которым стоит только позвонить, и все в больнице вокруг него запляшут.

А вечером позвонила Варвара. Она выговорила Ленке, что больному человеку нужны не творожки всякие, а куриный бульон из домашней курицы.

— У меня двое детей, я ездить не могу. Ты купиай все, что надо, а деньги я передам.

Ленка назанимала, где только можно. Она варила бульоны и каждый день после универа ехала в больницу и спускалась в ненавистный подвал. Потом Варвара требовала, чтобы она нашла доноров, потому что без крови не делали операцию. Ленке кровь сдавать было нельзя, и она упростила девчонок из общежития. Денег от Варвары так и не дождалась.

* * *

— Папа, я пришла.

Из-под одеяла спускалась вниз пластиковая трубка, и по ней в бутылку стекала черная муть. Ленка на трубку старалась не смотреть. Отец открыл глаза:

— Леночка, дочурка моя. Что б я без тебя делал! Врачи сказали, операцию вовремя сделали, и все страшное позади. Теперь все. Буду здоровый образ жизни вести: диета, пить-курить брошу.

Ленка присела на край кровати:

— Конечно, папа, молодец. Все так и будет.

Вчера лечащий врач зазвал ее в ординаторскую и сообщил, что у отца запущенный рак кишечника, и жить ему максимум год.

— Ему мы говорить не стали, сказали — стеноз, непроходимость.

Через неделю она привычно вошла в палату и увидела заправленную отцовскую койку. Сосед по палате приподнял голову:

— Вчера домой забрали. Жена за ним приехала, в аккурат, как ты ушла. Ох, и гангрена! Он позвонить тебе хотел, так не дала же! Сказала — некогда.

Отец позвонил через два дня. Просил не забывать его. Ленка звонила каждую неделю. Через месяц он уже бодро рассказывал, что все наладилось, и он хочет выйти на работу. Без курева только тяжело. Затем она долго не могла дозвониться. Когда, наконец, удалось, трубку взяла Варвара:

— Не надо нас беспокоить. Михаилу не о чем с тобой говорить. Помогла — спасибо. А теперь мы в твоих услугах больше не нуждаемся.

— Как?! — опешила Ленка.

— Никак не нуждаемся. Не звони сюда больше.

Ленка немного послушала, как стонут в трубке короткие гудки, потом очень бережно, как стеклянную, опустила ее на рычаг и повернулась к беззастенчиво греющей уши вахтерше:

— Ну вот, тетя Маша. Говорила же я тебе, что нету у меня отца, а ты не верила. Нет, и не было. Никогда!





Светлана Михайловна Редько родилась в белорусском городе Слоним Гродненской области. Окончила строительный факультет Новополоцкого политехнического института. Работала в проектно-монтажном отделе Могилевского объединения «Химволокно», в отделе комплексного проектирования ЗАО «Коттедж-индустрия» в Россоши. Публиковалась в газете «Труд», журнале «Подъём». Живет в Россоши.

Светлана Редько

НА ПЯТАЧКЕ ЗЕМЛИ

Какое прозрачное утро...
Держусь за веревочку дня.
А сверху спокойно и мудро
Всевышний глядит на меня.

Хранит от беды и ненастья,
Прощает вины и грехи.
Своей вседержавною властью
Дарует любовь и стихи.

Любовь долготерпит и длится,
Не может вовек перестать,
А сердце клюет, как синица
С Господней руки благодать.

ВКУС ДЕТСТВА

Мне приоткрылось вдруг окошко
Совсем в другие небеса.
На мягких лапах тихой кошкой
Я спрыгнула в забытый сад...

Там под кустом жасмина мокнут
С кукушкой старые часы,
Там розовые флоксы в стекла
Уткнули мокрые носы.

У детства сладкий вкус каштели —
Зеленых яблок конопатых.

Сверчки настроили свирели
И вечер свежий пахнет мятой.

А дедушка плетет корзину
С названьем нежно-странным «кошук».
«Дедуля, это для малины?
А может, жить в ней будет ежик?»

«Не, то для яблук ти картопли,
Ты ягады збирай у шклянку».
Сандалики давно промокли,
А я все рву малину в банку...

Ладочки липкой взмах прощальный,
Сама себе скажу: «До встречи!»
Той, пятилетней, беспечальной,
Наивной девочке беспечной.

* * *

Фонарь надел сугроб на голову, как шляпу,
И скалит желтый рот, приветствуя меня.
Медведица с небес протягивает лапу:
Он младший брат луны, ты веришь? Верю я!

Я верю, что весна наступит непременно,
Из лепестков снега дорожки заметут.
В ночи горит фонарь, как часовой бессменный
На пятачке земли, где любят, верят, ждут.

* * *

Нелюбимых женщин больше, чем рыбы в речке.
Им детей рожать бы, а не бродить по свету...
Холодна изба, угли остыли в печке,
Холодна душа, в прошлое нет билета.

Нелюбимых женщин, больше никто не любит.
Их глаза пусты, руки висят, как плети.
И в толпе их тени бродят как будто люди,
И в толпе они вечно одни на свете.

Нелюбимых женщин умных, красивых, нежных
Покрывает ночь саваном черным-черным.
На хрустальном ложе погребены надежды,
На хрустальной плахе вера лежит покорно.

Нелюбимых женщин, ангел крылом укроет,
Окропит иссопом и утолит печали.
Свет любви прольется, Их на иконе трое,
Свет любви прольется, Слово было вначале.

* * *

Человек человеку кто?
Человек человеку — брат...
Тянет руку старик в пальто,
Ты смущенно отводишь взгляд.

Нет на свете плохих людей.
Ты их видел? Я лично — нет.
Вор, блудница, лихой злодей,
Но от каждого — тихий свет.

Синий, розовый, золотой...
Душ лампадки горят, горят.
Что, увидел? Господь с тобой!
Человек человеку — брат.

МАРТ

Прозрачной кровью сок наполнил дерева,
По кольцам годовым поднявшись до макушек.
И старая ветла скрипит: жива, жива,
И солнце на носы набрызгало веснушек...

Весна, весны, весной, — склоняю день-деньской.
На землю март сошел, как новое рожденье.
И солнечным блином прощаюсь я с зимой,
И не пуцу ее в свое стихотворенье.



Иван Митрофанович Кветкин родился в 1935 году в селе Ровеньки Белгородской области. Окончил Саратовскую школу милиции. Работал строителем на Урале, поднимал целину. Более двадцати лет был сотрудником Россошанского ГРОВД. Автор книги «Страницы истории Россошанской милиции». Лауреат нескольких всероссийских фестивалей самодеятельных художников, среди которых «Славные сыны Отечества», «Салют, Победа». Живет в Россоши.

Иван Кветкин

ВЫСТРЕЛ ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Рассказ-быль

У околицы села Высочуги жил дед Кузьмич со своей старухой Лукерьей. Много таких семей в нашем районе. Лукерья еще энергичная: то у себя в огороде копается, то мочальной щеткой белит хату. Да и Кузьмич не сдаётся, статный старик, седой как лунь и носит гусарские усы. Бывало, идет по селу, а высочугские старухи, провожая его взглядом, говаривали с уважением: «Антилле-е-рист». Это прозвище прилипло к Кузьмичу с тех пор, когда он служил в армии артиллеристом еще в Первую мировую войну. Даже был награжден за храбрость Георгиевскими крестами. В гражданскую войну он воевал на стороне красных с белогвардейцами, в армии Думенко. Был ранен в бою и за проявленное мужество награжден орденом Красного Знамени. Орден Кузьмич носил на стареньком штопаном-перештопаном, но чистеньком сером пиджаке. Про царскую награду помалкивал, чтобы не раздражать партийное руководство и местных активистов. Дурьи их головы того не ведают, что Кузьмич защищал не царя-батюшку, а Отечество.

Сельчане, дети и взрослые, любили деда. Бывало, выйдет за двор, сядет на скамейку со своей издавшей виды балалайкой и такие вык-

рутасы выделяет на ней, рука, как бегунок, то вверх, то вниз по грифу балалайки, и полетят задушевная и задорная мелодия над селом, молодежь плотнее жмет к деду, слушая его песни и рассказы о прошлом житье-бытье.

Жил дед в старой хате.

Как-то летом построили одноэтажное кирпичное здание под сельский Совет, через дорогу, против Кузьмичевой хаты. Красивое, светлое здание. «Хорошо, советская власть по соседству, ближе ходить за какой-либо бумажкой, если понадобится,» — размышлял Кузьмич, проходя мимо сельсовета в магазин. Дед и не предполагал, что вскоре ему придется обивать порожки этого здания: нынче без справки вроде бы ты и не человек.

От времени камышово-соломенная крыша Кузьмичевой хаты совсем обветшала. Купить шифер можно было только «по благу» или через сельсовет, правление колхоза. Да еще посмотрят на тебя: кто ты — депутат или партийный активист, передовик производства? Нет? Ну и отваливай, жди очереди. Проблемы решай сам, как можешь, хоть воруй, только не попадайся. Но дед Кузьмич на воровство не способен, да и в активистах не ходил. Правда, старика включили в общий список очередников. Время шло. Крыша хаты стала как решето, камыш и солома превратились в труху. После очередного дождика Кузьмич приходил в сельсовет, в контору колхоза, в райисполком и каждый раз снимал с седой головы выдавший виды картуз, мял его от волнения, спрашивал насчет шифера и получал ответ: «Дедушка, лимита нет на шифер. Вы бы сходили к председателю колхоза Колымахину, может, он выпишет», — отвечала предсовета. «Да у него и зимой снега не выпросишь», — пояснил дед. Дома Лукерья с Кузьмича снимала пристрастный допрос: «Ходил в сельсовет? Спрашивал за шифер?»

— Ходил, черт бы их побрал: хоть головой бейся об стенку, ничего не добыешься, — отвечал Кузьмич.

— Боже мой, нет нигде правды и милосердия, — сокрушенно говорила Лукерья.

— Голубушка ты моя, Луша, ты только сейчас поняла, что нет правды? Того, кто сам был Правдой и Истиной, давно распяли на кресте, чтобы Зло свободно бродило по земле, — задумчиво пояснял дед.

Перед православным праздником Троицы пошел проливной дождь с грозой. Дождь крестьянам нужен, да только деду с бабкой хоть караул кричи. Лукерья не успевала выливать дождевую воду. Все пустила в ход: корыто, ведра и даже кастрюли. А худая крыша, словно ненасытная утроба. Уже и дождь перестал, на улице яркое солнышко, радуга всеми цветами переливается, птицы поют, а в хате Кузьмича неуютно, сыро и все кап-кап-кап. Этот противный звук, словно пулей простреливал сердце Кузьмича.

Вышел он на крыльцо хаты. Закурил самокрутку с крепким самосадамом, в голове роились мрачные мысли, и тут-то он вспомнил, как в самом начале войны у него за сараем артиллеристы Красной Армии окопались с пушкой-сорокапяткой, небольшим легким орудием для отражения. Замаскировались и ждали фашистов с южной стороны. Но фашисты внезапно с другой стороны на мотоциклах проехали в центр села. Красноармейцы бросили орудие и боеприпасы к нему, поспешно скрылись. Кузьмичу, как старому артиллеристу, жалко стало маленькой пушечки. Воспользовавшись моментом, пока немцы находились в центре села, он положил ящик с боеприпасами на лафет пушки, закрыл все своим старым прорезиненным плащом и кусками рубероида, а сверху навалил соломы да набросал навоза-коровяка.

Шло время, дед совсем забыл про это несчастное орудие и только в момент душевного расстройства вспомнил. Вилами раскопал пологий холмик, зарос-

ший лебедой, крапивой да лопастным лопухом. Орудие сохранилось. Дед Кузьмич протер его, вынул из трухлявого ящика бронебойный снаряд, зарядил орудие и перекрестился. Он не стал пробуждать в себе чувство совести. Видно, хождение за шифером притупило его душу, глянул в прорез щита пушки и прямой наводкой выстрелил по зданию сельсовета. Благо, что этот случай произошел после рабочего дня и в здании никого не было. Эхо выстрела после дождя долго витало над Высочугами, будоража сельчан. От ствола орудия вился сизый дымок и запах пороха, напоминавший о войне. Может быть, в самом деле, это было началом войны. Только не с иностранными захватчиками, а с местными чиновниками и бюрократами. Люди, бросив домашние дела, бежали к Кузьмичевой хате, а детвора, Боже мой, тут как тут, с веселым гомоном облепила пушку. Прибежали председатель сельсовета, парторг, председатель колхоза Колымахин, кто-то из активистов позвонил по телефону в райцентр. «В селе Высочуги из орудия прямой наводкой разбили новое кирпичное здание сельсовета!» — впопыхах кричал активист в телефонную трубку. На другом конце телефона требовательно надрывался голос дежурного районной милиции: «Кто стрелял? Что за орудие, объясните толком!» — «Дед-артиллерист!» — взволнованно кричал активист. «Какой террорист? Сколько их?» — недоумевал дежурный. Но активист бросил телефонную трубку и убежал к Кузьмичевой хате, где собралась толпа зевак.

Дежурный милиции доложил своему начальнику: мол, в дальнем селе Высочуги террорист из орудия разбил здание сельсовета, телефонной связи с селом нет, видно, террорист уничтожил. Начальник районной милиции Потапов недоуменно пожал плечами и доложил в райком партии и райисполком, поднял по тревоге милицию. Кузьмич не успел докурить сигарку, как на легковушках подъехало районное начальство: предрик и молодой инструктор райкома партии, военком и начальник милиции со следственной группой и вооруженными милиционерами.

Кузьмич сидел на лафете орудия, отвлеченным взглядом смотрел себе под ноги, затягиваясь крепким самосадом. К нему подошел председатель райисполкома. «Отец, — обратился он к деду Кузьмичу, — зачем же ты расстрелял советскую власть?» Но не успел Кузьмич слова сказать, как послышался голос начальника милиции: «За хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, умышленное уничтожение государственного имущества мы привлечем вас к уголовной ответственности». — «Не стращай, мне один хрен, хоть сейчас арестовывай, — отвечал дед. — В гражданскую войну я воевал не за вашу советскую власть, а за народную, которая могла бы ценить и уважать человека, а не измывалась над стариком».

Дед Кузьмич повернулся к предрику и, глядя ему в глаза, выпалил: «Развели бюрократов и всюду твердите: «Лимита нет, нельзя, нельзя двух коров держать, нельзя капитальную теплицу на своей усадьбе строить. В каждой конторе только и слышишь, что нельзя. А чего нельзя, и сами-то не знаете. Вот ты, председатель советской власти района, ответь мне, почему нельзя?.. Молчишь, то-то!» Кузьмич с досадой бросил окурок, притоптал его кирзовым сапогом.

Председатель райисполкома размышлял: «Арестовать деда? Нет, молва пойдет не в пользу советской власти, народ не поймет нас. Оставить без наказания? Партия либералов не любит... Видать, здесь нужен компромисс».

Предрик повернулся к Колымахину и с юмором проговорил: «Смотри, председатель, сколько народу собрал дед одним выстрелом! Тебе не собрать столько народа на колхозное собрание. Поднимай строителей и сегодня же перекрой крышу Кузьмичевой хаты, заделай дыру в сельском Совете».

Колымахин заколебался. «Сказать начальству, что, мол, шифера нет, а вдруг

проверят. Тогда несдобровать, — роились мысли в его голове, и он тихо проговорил: — Сделаем!» Вскоре районное начальство уехало. Участковый милиции Горелов подогнал грузовик, люди помогли погрузить злополучную пушку и увезли ее в район. Привезли со склада шифер. С шутками-прибаутками вместе с сельчанами колхозные строители стали перекрывать дедову крышу. Управились быстро. В лучах заходящего солнца Кузьмич с Лукерьей стояли и любовались своей новой шиферной крышей.

Вот такая история приключилась когда-то в селе Высочуги. А еще говорили, что у бюрократов стены непробиваемы.





Николай Петрович Долинский родился в 1954 году в селе Евстратовка Россошанского района Воронежской области. Окончил Борисоглебский сельскохозяйственный техникум. Работал механиком, художественным руководителем Дома культуры, псаломщиком в церкви. Публиковался в региональной периодической печати, коллективных сборниках. Автор книги стихов «Пусть говорят, что нет уже чудес». Живет в селе Старая Калитва Россошанского района Воронежской области.

Николай Долинский

РЕЧНЫЕ ОСТРОВА

ХОЗЯЙКА

Квартира с видом на сосновый бор,
Он хорошо заметен из окна!
В квартире нету шума, нету ссор —
Хозяйка в ней живет совсем одна.

Но гости все ж бывают иногда,
Проходят в зал, в прихожей сняв пальто.
И с виду — пьянь, и с виду — господа,
Но это все не то, совсем не то.

Хозяйка молча подошла к окну,
Какой у времени неторопливый бег...
Ведь ей давно так хочется весну,
А на сосновых лапах — белый снег.

Где ж ты, весна? Скорей к ней поспеши!
Чтоб зазвенела радостно капель,
Чтоб захотелось ей от сердца, от души
И стол накрыть, и постелить постель.

Поцеловать, прижаться и обнять...
Но в лунном свете за ночным окном
Все продолжал холодный снег сиять,
Сосновый бор усыпав серебром.

СТРАННИК

Над речкою туман прилег с утра,
Под солнцем он прозрачен стал и светел.
Сижу я у потухшего костра
И ворошу остывший серый пепел.

Я не надеюсь что-то в нем найти.
Все, что могло, сгорело понемногу.
Осталось лишь подняться и уйти, —
Уже давно пора мне в путь-дорогу.
Хочу я встретить то, о чем мечтал,
В пути грядущем, на дорогах новых...
И в этот миг вдруг ясно услышал,
Как соловей запел в кустах терновых.
Ловлю я смысл его певучих фраз,
И пусть мне плечи придавили годы, —
Я слушаю его, как в первый раз,
Певца любви, надежды и свободы.
И если я, усталый, упаду,
И ночь меня прохладой овеет,
Тогда костер я новый разведу
И он своим теплом меня согреет.
Когда дойду туда, где меня ждут,
Охватит вдруг приятное волнение —
Душа моя почувствует уют,
А губы — твоих губ прикосновенье.

ПЛОВЕЦ

В потемневшей воде звезды гасят свой блеск,
У костра собрались рыбаки.
И в ночной тишине ясно слышится всплеск,
То пловец посредине реки...
И доносится вслед: мол, куда ты, стой!
Но обратно грести неохота...
Правый берег красивый, но больно крутой,
Ну а слева — камыш да болота.
Говорили ему, что нельзя уплывать.
Опрометчиво это решение.
Если к берегу вновь ты захочешь пристать,
Не позволит вернуться течение.
Он чуть-чуть постоял и к обрыву шагнул,
Знать, имел он на это причину.
Ничего не сказал, лишь рукою махнул,
Прямо с берега прыгнув в пучину.
И течение пловца вдаль куда-то несет,
И назад нету хода ему.
Где он выйдет на берег, где пристань найдет
Неизвестно пока никому.
Мимо спящих в тумане речных островов
Прямоком по глубокой стремнине
Очень многие плыли меж двух берегов,
Ну а кто-то плывет и поныне...



Виктор Викторович Будаков родился в 1940 году в селе Нижний Карабут Россошанского района. Окончил историко-филологический факультет Воронежского государственного педагогического института. Прозаик, поэт, эссеист. Лауреат литературных премий и.м. И.А. Бунина, и.м. А.Т. Твардовского, и.м. Ф.И. Тютчева «Русский путь». Основатель и редактор книжной серии «Отчий край». Почетный профессор Воронежского государственного педагогического университета. Заслуженный работник культуры РФ. Автор 30 книг прозы и поэзии. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Виктор Будаков

СКВОЗЬ ГОДЫ УВИДЕТЬ ЛИЦА

(Беседы о жизни и литературе
с Владимиром Кораблиновым)

Виктор Будаков сказочно богат родиной своей. Доном-батюшкой, чудодейственная вода которого насыщена какими-то особенными элементами, вызывающими в человеке отменно независимый и свободный дух...

На восток от Дона великая река Волга, по которой гуляли донские казаки Стенька Разин да Ермак Тимофеевич; последнему и на Волге стало тесно, и он со товарищи пробил дорогу в Сибирь. А на запад от Дона неподалеку река Днепр, путь из варяг в греки. Порой этот путь проходил и по Дону; вездесущий автор обозначил свои сторожевые посты и в те времена и, кажется, никого не оставил без внимания. «...то ли в десятом, то ли в двенадцатом веке пробираюсь я к Дону — непонятно зачем, может быть, предчувствуя свое будущее здесь рождение... Не ранено-приотставший и заблудившийся ли я воин из полка Игорева?..» По одной из версий, сеча дружины князя Игоря с половцами произошла близ нынешней Россоши, а это уже самая что ни на есть родина автора...

Валентин РАСПУТИН.

Из статьи «Сторожевые посты
Виктора Будакова».

* * *

Беседы с Владимиром Александровичем Кораблиновым о жизни и литературе выпадали часто. Было их так много, что из них, верно, составилось бы многотомие. Однако рассказанное автором «Жизни Кольцова» и «Жизни Никитина», особенно внебиографического свойства, я не всякий раз записывал, о чем после не



Владимир Александрович Кораблинов

однажды сожалел; а если записывал — не всегда вслед голосу, чаще день-другой спустя — по памяти. Был, правда, и магнитофон. Записал на пленку всего лишь о Платонове и Прасолове, но пленка оказалась технически плохо исполненной. Здесь беседы даны не тематически разбросанными, каковыми они были на самом деле, и не в разговорном жанре, а чаще в форме рассуждений из вопросов-ответов, подчас соединенных из разговоров одновременных. Значительная часть бесед связана с моими поездками, после которых я неизменно навещал дом писателя.

(Внедиалогические авторские — лирические, исторические, событийные — отступления даются в скобках).

1

— *Коли в доме есть дети, приобретайте книги,* — сказал Владимир Александрович, когда мы, на этот раз со старшим моим сыном Игорем, расположились у большого стола посреди центральной комнаты, в квартире просторной, приземленной. — *Хотя бы шкаф, хотя бы книжная этажерка под домашним кровом должны быть. Пусть даже не самые лучшие книги: при одном взгляде на них чем-то да воспитывают, рождают тягу к хорошему и неизвестному. Я-то помню книжный шкаф в нашем сельском доме. Там были сочинения отцов церкви, книги Тихона Задонского, карамзинская «История государства Российского», целыми кипами журнал «Нива», русская литература девятнадцатого века. Меня воспитал отцовский шкаф. Прочитанная в детстве сцена встречи с волками у Мельникова (Печерского) и поныне стоит перед глазами, аж мороз по коже... А Пушкин, Гоголь, Толстой, да что там перечислять: почти вся отечественная классика — благодатное поле красоты, художественности, разума, сострадательности, честного взгляда на человека и мир.*

— Книги в нашей стране долго не живут: то войны, то революции, то пожары, то потопы. У моих крестьянствовавших дедушки, бабушки было одно Евангелие, а у отца, окончившего педучилище, перед войной подобралась многотомная библиотечка, да в войну и дом, и книги сгорели. А у меня большая библиотека — вся в движении: одно приобретаешь, другое даришь, раздаешь. И будет ли она нужна моим детям — вопрос.

Книги в одном ряду, а начинены разным. В них свет и мрак. Добро и зло. Целительный напиток и яд. Стоят спокойнехонько рядышком, а они, по сути, недруги. Такие враждебные друг другу страсти и мысли кипят в них!

— *Тут ничего не попишешь. Книги — образы нашей противоречивой жизни. В нашем так называемом литературном сообществе разве нет если не врагов, то одиозных фигур! Властям жалуются, локтями более слабых расталкивают, ложью и завистью исходят.*

А что до книг... Из современников читайте талантливых и, по возможнос-

ти, достойных. Талантливое и достойное видишь с первой страницы. А еще лучше читать классику. Там и предательство, и клевета, и низость возмущают, но не так ранят, как предательство, клевета, низость ныне живущих.

2

(Разговорились о мировой классике. Тысячелетиями созидалось ее величавое здание. Бесконечная дорога из трагедийных и солнечно-радостных, реальных и фантастических событий мира и человека, запечатленных в слове. Тысячи имен пишущих, каждый из которых положил свой камешек или камень в мировой многоязыкий Дом-Храм мировой словесности. Перебрали множество имен, пока не приблизились к вершинам. Гомер, Эсхил, Софокл, Эврипид, Гораций, Вергилий, Данте, Шекспир, Сервантес, Гете, Байрон, Вальтер Скотт, Мериме, Гюго, Флобер, Диккенс, Ибсен, да еще плеяды русских...)

— *Надо, чтобы дети с детства знакомились с классикой. Вот «Божественная комедия». Я прочитал ее, конечно, в глубины не погружаясь и мало что понимая, в восемь лет, когда начал изучать чердачное хозяйство своего дома. Что-то так заворачивало, что помнится как вчера прочитанное:*

На полпути земного бытия,
Утратив след, вступил я в лес дремучий,
Он высился столь грозный и могучий,
Что описать его не в силах я.
Но при одном о нем воспоминанье
Мне грозно в душу входит содроганье...

— Это перевод Ольги Чуминой? А я приобщался к Данте через перевод Лозинского. И тоже долго находился под грозным навесом каких-то неотразимо эсхатологических строк:

Земную жизнь дойдя до середины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозный,
Чей давний ужас в памяти несусу!

Что-то подобное я испытывал разве только при чтении Шекспира и Достоевского.

— *А классика из нашего, двадцатого века... Как бы поточнее сказать: неоклассическая классика. Гамсун, Сенкевич, Томас Манн, Камю, Голсуорси, Фолкнер, Стейнбек... Сильно еще приподымаются Джойс, Пруст, Кафка. А почитать Андрея Белого — там новаторские приемы, художественные находки без шума-крика выросли и живут.*

— Кафка поражает. Рассказ о превращении человека в насекомое... может, это трагическое пророчество? А «Процесс» — действительно чиновно-механический, обездушенный, обезчеловеченный мир?! В дневнике Кафки — знаменитые русские писательские фамилии: Гоголь, Достоевский (многократно), Герцен, Толстой, Чехов... Русскую художественную мысль он высоко ценил. Но что он имел в виду, когда писал: «Безграничная притягательная сила России»? Один случай — живший в Австрии поэт Рильке, проехавший Россией и ощутивший ее своей духовной родиной, совсем другой — живший в Австрии писатель Кафка, в России никогда не бывавший. Нет, Кафка — притягателен. А его «Письмо к отцу» — потрясающее, исполненное подлинного трагизма, израненное письмо! Начинаешь глубже понимать еврейский мир. Конечно, мне трудно принять его дневниковую

запись накануне Первой мировой войны: «Всеобщая мобилизация... Как бы то ни было, меня мало задевает всеобщее бедствие...» Но, случись так, что Кафке выпало бы очутиться в окопах, он бы, думаю, написал нечто поразительное. И похожее, и, конечно, не похожее на то, что сказали о войне Ремарк, Олдингтон, Хемингуэй.

— Я Ремарка, Олдингтона, Хемингуэя о Первой мировой войне прочитал с интересом. Правда, Хемингуэй... эти его тягания-борения с русской литературой, что-то мальчишеское есть в этом. «Я положил на лопатки Тургенева. Я потягался с Толстым...» Стоит вспомнить Толстого семидесятилетнего и Хемингуэя досемидесятилетнего. Последний, в свои шестьдесят с небольшим, то ли малоплотской старости убоясь, направил в себя ружье и покончил с жизнью, ему Господом дарованной. А Толстой в возрасте за семьдесят написал «Хаджи-Мурата». Старый человек писал, а вещь юношеская, с мускулами и горячей кровью, в ней все играет. Как это удалось больному старику? Что ж, тайная область гения, куда вход воспрещен. Что же до хемингуэевского романа «По ком звонит колокол», да и до повестей о Первой мировой войне «Прощай, оружие», «Фиеста», — вещи сильные. У нас о Первой мировой войне так никто не писал.

— Мы мало знаем своих. В Москве дочь уроженца Воронежской земли, донской слободы, дочь генерала Снесарева доверила мне прочитать и перечитать письма ее отца. Эти письма стоят иного романа о Первой мировой. Вообще Снесарев — военный мыслитель, ученый, педагог — фигура благородно-удивляющая и не соответствующая скромной известности, да и то известности в основном в кругах военных.

3

— Родина моя — Углынец. Мне хватало родины, она в детстве была для меня всем: первословьем, радостью и огорчением, историей и географией, поэзией и жизнью. Лес, поле, луг, речка... Зимние снега до окон. Летние нивы. Небо, ничем не застимое. Безмерный небесный купол... Шли дни, месяцы, годы, и каждый день — что-то новое. Узнавание мира через травы в росе, через глубокие сугробы, через гудки с недалекой железной дороги и через звон колокольный...

— И для меня в детстве с избытком доставало малой родины, она была — целый мир, вселенная. Но, знаете, меня тянуло и дальше, дальше — вдаль. Может, — от панорамности, которую давали горизонты Нижнего Карабута — моей малой родины. С придонских круч открывалась даль необозримая, вызывавшая исторические видения, — движение кочевников, пыль восточных орд...

(Детство... извечная родина творчества художников. Туда нет возврата, а они возвращаются. Даже если и не пишут сугубо детские годы — «Детские годы Багрова-внука». Или детство несущие в названиях произведения Льва Толстого, Горького, Алексея Толстого. А западные — Мориак, Павезе, Фолкнер, Аргедас, Стейнбек...)

4

— Воронеж. Вторая родина. В первый раз меня, еще жившего в детстве, обрадовал не столько город, сколько широкий луг, пойма, река, мост. Чернавский мост. Какая-то поэзия таилась здесь. Первые воронежские дни я проводил у родственников близ берега реки. А чуть в стороне, выходя логами к реке, — улица Кручиновская, ныне Достоевского. Рядом — Халютинская, ныне Батурина. На скосе лога возвышался особняк помещицы Запрудской — экстрава-

гантная была особа: вышагивала в мужских сапогах, матом изъяснялась, а между тем пять иностранных языков знала, в Женеве оканчивала что-то престижное, прученое.

— А я в город попал уже в юности, семнадцати лет, в пятьдесят седьмом году. Тогда всюду еще напоминала о себе война, даже главная площадь и главная улица не освободились от восстановительных лесов. Через год поступил в педагогический институт. Часто бродил угористым приречьем, его малыши улочками, берегом реки, лугами или затравельными холмами в парке культуры и отдыха. На вечере географического факультета пединститута нечаянно встретил, может быть, одну из самых обаятельных в Воронеже девушек, полюбил ее, и она стала моей женой. Здесь родились сыновья. Так что я теперь... воронежец с корнями.

— Только город — исторически яркий, а ныне скучноватый. Живет по указке, независимо и непонятно какой, вернее, понятной. Все города ошибаются. Вон Рязань: и первый секретарь выбился из общего ряда, и писатель Солженицын — тоже незауряд-голос. Вот и «заблуждаются» по крупной. А Воронеж — не ошибается.

5

(Нет отдаленного русского уголка без монастыря, нет села без церкви. Так раньше было. Семьдесят тысяч, даже больше, православных монастырей и церквей. Вся культура на православии, все великие наши писатели на православии. А теперь — читаешь классическое произведение, и на странице, где воссоздается образ торжественного богослужения, не все слова понимаешь, что они значат. Ушла богослужбная культура).

— С детства для меня это знакомое: церковная служба. Колокольный звон, Православные двенадцатые праздники, иконы, свечи. Алтарь. Клирос. На правом клиросе — хор, на левом клиросе — дьячок, обычно в крупном храме ступенью выше пономаря. Пономарь — звонарь и прислужник в любой сельской церкви, заливающий масло в лампадки, зажигающий свечи; главный в церкви — священник, по-народному — поп.

С детства знал и ступени черного духовенства — монах, иеромонах, настоятель монастыря, архимандрит, игумен, помните:

Не позовет меня игумен
В ночи на строгий свой порог.

Или иное:

Звоны-стоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены.
Стены выбелены бело:
Мать-игуменья — велела!

Это Городецкий. Его если и любить, то за это. Сейчас такое едва ли печатают, а я эти строки запомнил смалу. Отец выписывал журнал «Новое слово». В нем-то я и вычитал «Весну монастырскую». В том журнале стихи печатались дважды — факсимильные оттиски и тут же — набранные шрифтом строки. Найди библиофил ныне этот журнал — великая радость! Там были почерки Блока, Бальмонта, Городецкого, все почерки разные, и это было как гипноз, и меня, ребенка, подвигало написание написание наивных рифменных строк.

Я предлагал факсимильные оттиски возобновить в «Подъёме», над моим робким предложением только посмеялись. Мол, технические трудности (это

при поступательном прогрессе полвека спустя!) Но главное — реальное: раньше и почерк был хорош, и стихи — так стихи настоящие.

И еще памятна хрестоматия Острогорского — «Живое слово». Там были иллюстрации Билибина, Кардовского, Серова, и были великолепные тексты — Тютчев, Ушинский, Алексей Константинович Толстой, Полонский, Бунин, все родное, все, о чем пела и печалилась муза, — перед глазами! Запомнились — словно впечатались в память — тютчевские «Ели», Полонского — «Вот и ночлег...», Бунина — «Над лесом мертвенно-суровым...»

И прямо-таки потрясение при первом прочтении баллады «Волки» Алексея Константиновича, тем более что это было такое близкое, при Углянце, — и лес, и волки, и следы их на огородах, даже возле церкви. Разве что жуткое превращение волков убитых в мертвых старух — из мира колдовского.

Их ничто не пугает.
На село ли им путь,
Пес на них и не лает;
А мужик идохнуть,
Видя их, не посмеет:
Он от страху бледнеет
И читает тихонько молитву...

Их глаза словно свечи,
Зубы шила острей.
Ты тринадцать картечей
Козьей шерстью забей
И стреляй по ним смело,
Прежде рухнет волк белый,
А за ним упадут и другие.

На селе ж, когда спящих
Всех разбудит петух,
Ты увидишь лежащих
Девять мертвых старух...

6

(В юности, поступая в Киевский университет, я исходил пещеры Киево-Печерской лавры, о которой еще в детстве слышал благостные вечерние рассказы дедушки, в юношеском потрясении разглядывал Владимирский и Софийский соборы, их росписи, в Сретенском приделе — черное мраморное надгробие великого своего земляка Евгения Болховитинова, о котором позже Владимир Александрович напишет небольшую, но содержательную повесть «Падре Ефимиус».)

Позже побывал в Троице-Сергиевой лавре, Оптиной пустыни, Коренной пустыни, Александро-Невской лавре, Святогорском монастыре, в Херсонесе, Свяжске, Задонске, на Соловках, во многих храмах Новгорода, Пскова, Москвы, и вольно-неволью в этих посещениях рождалось высокое, светлое, грустное, печальное ощущение горнего. Но, наверное, во всей полноте этого ощущения не было бы без тяги к укромным сельским храмам, церквям, часовенкам: я исходил десятки сел не только Черноземного края, изглядел недорешенные сельские храмы и церковки, наполняясь чувствами быстроты и неустойчивости земной жизни и чувствами неземной вечности. Выяснилось, что во многих воронежских уездных и сельских храмах бывал и Владимир Александрович.)

— В детстве у меня были три святых места: «отцовская» церковь в Углянце, из села верхушечно видный в глубине леса Толшевский монастырь, а еще Тресвятская церковь восемнадцатого века — каменная, с шатровой колокольней, взорванная уже после войны, при хрущевском нападe на православие. Те-

перь на месте церкви — бугор кирпича, поросший травой. Чтобы напрочь пограть с религиозным напоминанием, даже лексическим, Тресьвятская в переименовании получила название — Парижская Коммуна. Ни больше ни меньше! И тресьвятские старожители после войны не без иронии называли себя: «Парижские мы». Ныне это поселок Воля. А еще радовали детское сердце деревянная церковь в Макарье, высокая колокольня в Боровом.

Позже меня, конечно, поразили и Воронежский Митрофановский и Задонский Богородицкий монастыри. Связь между Митрофановским и Задонским монастырями и духовная, незримая, и мирская — Задонская дорога. Духовное здесь — даже в великих писательских именах. Достоевский, который много думал о нашем святителе Тихоне Задонском, а в «Братьях Карамазовых» надеялся вывести его «величавую, положительную святую фигуру», и Платонов, который видел, как толпы паломников устремлялись по Задонской дороге навстречу друг другу, и рассказал об этом в «Ямской слободе».

7

(Так случилось, что в молодости меня занимали, волновали древние века Руси. Еще Россия времен Петра, Екатерины, наполеоновского нашествия. Из двадцатого века более всего — Великая Отечественная, понятно почему: следы ее отразились на всем моем детстве. А еще двадцатые-тридцатые годы... прежде всего, трагические — крестьянский русский мир был тогда надломлен. И потеряли мы народу в те десятилетия, наверное, не меньше, чем в последней Отечественной войне.

В те же двадцатые пенилось и кипело поэтическое, музыкальное, изобразительное. Писательские стяги и состязания. О революционных годах и о двадцатых-тридцатых впечатляющее я читал у Булгакова, Платонова, Маяковского. Но возвращаясь, по-всякому то время запечатлевающих, было бесконечно больше).

— В 1925 году в Воронеж по делам «Лефа» или еще каким приехал Виктор Шкловский. Остановился он в гостинице «Гранд-отель» (на углу улиц Фридриха Энгельса и Средне-Московской), мы договорились о встрече. Ему было тогда лет тридцать пять. Встретил он меня, сидя в номере за самоваром — в голубой рубашке, лысый, розовый, моложавый. Прямо-таки излучал здоровое сияние человека, ничего в жизни, кроме мировых художеств, не желающего видеть.

У меня в руках — тетрадка. Шкловский пригласил на чай, велел не стесняться, но я, не любивший чай, решительно отказался. Тогда он, кивнув на тетрадь, велел читать. Я прочитал несколько восточных стихов про песчаные барханы, саксаулы, верблюжьи караваны и прочее. Мэтр дал отмашку на прекращение и сказал: «Любопытно. Но, мой молодой художник, у меня есть большой друг в Москве, который пишет много, замечательно, сверхталантливо и складывает в сундук». Я поинтересовался, кто же этот поэт, не спешащий быть знаменитым. Он назвал Пастернака и, не умея молчать, тут же разразился тирадой, весьма для меня двусмысленной: «А ваши стихи были бы современными весьма, если бы они писались не так, а как у комсомольских поэтов: Безыменского или Жарова, или еще кого-нибудь, на них похожего...»

Вот такая встреча. Из окна — базар, возы, людская толкотня, а в гостиничном номере за самоваром — писатель, явно довольный то ли настоящим, то ли будущим, то ли тем и другим.

— А верно ли, что Шкловский некоторыми чертами представлен как образ и у Булгакова, и у Платонова? У Булгакова — в «Белой гвардии», у Платонова — в «Чевенгуре». Образы яркие, но едва ли симпатичные. Сколько помню по институтскому курсу, тогда вообще была пестрая тьма имен и направлений.

— Человек он действительно яркий. Эпатаж, конечно, есть. Пожалуй, он из самых эпатажных в своем кругу, а там публика знатная...

Многое, что тогда, в двадцатые-тридцатые годы, печаталось, было или в духе авангардистов, далеких от живой жизни, или в духе политических, бойцовских агиток, еще более далеких от живой жизни. Наподобие: «Не шалите, ребяташки, // Берегите тракторишки, // Трактор ходит на врага, // Обрабатывает га...»

Сколько же их расплодилось в те годы, энтузиастов пера, сцены, трибуны, и на всех хватало бумаги, хватало денег, хватало шумно-скандальной известности. И все были при теплом месте, по праву ли им принадлежащем, — теперь трудно сказать. Весьма именитый в свое время журналист Михаил Кольцов (Фридлянд) в «Чукоккале» оставил остроумную едкую запись, — не за каждое слово, а за смысл ручаюсь: «Если бы Утесов пел так, как я пишу, — его прогнали бы со сцены; если бы я писал так, как Утесов поет, — меня прогнали бы из газеты; а так — ничего, не худо. Живем. Работаем!»

После революции — бесчисленные издательства, вроде «Чихи-пихи», «Странствующий энтузиаст», или журнал «Гостиница для путешественников в прекрасном»... Кругом отголоски войны, всероссийской беды, разруха, голод, пропасть, слезы народные, а некие избранники «путешествуют в прекрасное».

«Рапп», «Снап», — сколько их было в России, — впархивают, влетают, пробиваются локтями. Тип: юла-стрела-выползень. В журнале редко где не мелькали одни и те же фамилии пронырливых стихотворцев.

Были, конечно, и даровитее пронырливых. Сельвинский, например. Главный, пожалуй, у конструктивистов. Его «Уляляевщина», его «Цыганская рапсодия» нравились мне. Я даже подражал ему: «Любит милый, чтобы я Была всегда особая». Сельвинский, Чичерин, Агапов. Их первый сборник «Мена вех» — эдакий строптивец в черной обложке, не без надувательства. А потом все эти конструктивисты стали смиренные, скушные люди. Но штукарки, конструктивисты-эквилибристы на тонкой вязи слова, думаю, никогда не кончатся. Штукаркист Кирсанова, казалось бы, и не найти. Но вот Вознесенский...

(Здесь честно будет сказать о моем студенческом вневорневском, «городском» увлечении Вознесенским — «От женщин рольс-ройсы роятся. Радиация»; или «Реторта неона, Апостол небесных ворот. Аэропорт»... Казалось, что в такого рода строках — жесткий образ техногенного натиска на человека. Это сейчас воспринимаешь подобные строки как банальные или неживые, сконструированные, а молодость — всевбирающая, жадно глотает разные звуки, строфы, краски. В некоторых молодых стихах — ромбами, квадратами, стрелами, крестами — я уходил еще дальше автора «Треугольной груши», но им написанное опубликовал журнал; напечатанное обычно воспринимается убедительней, чем от руки написанное или снятое с валика пишущей машинки. Спасибо крестьянскому миру и родной природе: пусть не сразу, я остыл к ребяческому «новаторству».

Сельвинский — с ним заочная встреча. Моя поэма «Александр Матросов», напечатанная в грозненской газете «Комсомольское племя», на бюро Чечено-Ингушского обкома комсомола была осуждена как формалистическая, идейно-ущербная, и редактор в поисках поддержки обратился к Сельвинскому. Но тот не поддержал, написав, что автор воспринимает подвиг скорбно-трагически, в духе Твардовского, а подвиг — это озарение...)

— Времена давно устоялись цензурные: всяким вольностям воли не давай. А в двадцатые годы можно было писать что угодно. И в двадцатые годы мне где только не удавалось печататься. Даже в «Биржевом бюллетене» или в «Охотничьей газете». Даже в «Мурзилке», вышедшей из дореволюционных «Светлячка» и «Путеводного огонька». Для «Мурзилки» я поставлял считалки, в таком роде:

На зеленом на болоте
Журавли овес молотят
И глотают — не спешат —
Простодушных лягушат.
Журавлей тех было восемь,
Лягушат же — сорок восемь.
Сколько каждый — пусть решат —
Слопал глупых лягушат?

Здесь редактор Федоров-Давыдов, автор повести о возвращенном волчицей русском Маугли, одной из книг, на которой я вырос, поправил меня — заменил «слопал» на «скушал». Слово лягушатам от этого лучше стало.

А в «Красной нови» — ее главным редактором был достойный тамбовчанин Воронский, между прочим, помогший издать нашу вещь Пильняка «Повесть непогашенной луны»); я с ним встречался, и он доброжелательно со мной беседовал о разных разностях. А поэму мою «Казнь китайца» сначала принял к изданию Мандельштам-Одиссей, затем редактировал Георгий Санников, а, кажется, окончательную визу ставил Федор Раскольников, личность, вам известная по антисталинскому письму. Я его знал поболее — разного. Да и о Ларисе Рейснер — жене его — слыхивал разное: решительная была особа на расправы с неудобными. Не знаю, в деле ее не видывал.

За короткое время в Москве где мне ни случалось бывать и с кем ни беседовать и где ни подрабатывать. Часто забредал в Дом литераторов — дом Герцена. Там встречался с Пильняком (он на самом деле Вогау, из приволжских немцев), который всегда говорил глухо и которого трудно было разобрать; но Андрей Платонов, меня и познакомивший с ним, понимал его прекрасно, они одно время и писали совместно. Кажется, ими совместно написана сатирическая повесть «Че-Че-О». Встречался с Новиковым-Прибоем, Всеволодом Ивановым и многими, позже ставшими или широко известными, или резко ушедшими в тень.

Подрабатывал я и в «Крестьянской радиогазете», которая размещалась весьма далеко от крестьянства, — на Воздвиженке, близ Арбата. Я там с месяц подменял Архангельского, хлесткого пародиста, наверное, помните его строки о Безыменском — вожатом «комсомольских» поэтов: «И двадцать лет пою о том лишь, Что мне всего лишь двадцать лет».

Может, стоило бы встретиться в Москве с Маяковским, который меня тепло принял и напечатал в «Новом Лефе», но было неловко его беспокоить.

Андрей Платонов в двадцать седьмом звал меня быть редактором в «Молодой гвардии», где его крепко поддерживал директор издательства, бывший редактор «Воронежской коммуну» Литвин-Молотов, издавший к тому времени его «Епифанские шлюзы». А я заробел, да может, и к лучшему: Маши бы не встретил. Да и Москва — она не мать родная.

8

(Разговорились о декадентах, символистах, футуристах. От Брюсова, Блока и Белого, Хлебникова перекинулись к Вячеславу Иванову, Бальмонту, Кузмину. Последний — экая странная судьба с волжскими корнями и волнами! Я сказал, что прошел через увлечение едва не всеми ими (а Блок — навсегда, чувствую, мой поэт из любимых), но сейчас питаю неприязнь к лукавству-изыску, может, и потому еще, что когда-то в молодости дал себя увлечь этим, поддаться очарованию строк, чуждых народным бедам и заботам. Различая, разумеется, подлинные строки, которые есть и у Иванова, и у Кузмина, и Бальмонта, и Северянина).

— Да, «нездешние вечера». Утягивало далеко куда-то. Мне и поныне некоторые строки Кузмина помнятся. Выходила у него такая книга «Глиняные голубки» с проглядываемыми гомосексуалистскими мотивчиками.

У декадентов трудно понять, в какой строфе белиберда переходит в заклинание, и наоборот. Когда я впервые прочитал Хлебникова: «Котенку шепчешь: «Не кусай», // Когда умру — тебе дам крылья. // Уста напишет Хокусай, // А брови — девушки Мурильо», — потянулся, как тот котенок к валерьянке. Вроде пустячок маловразумительный, а завораживал. У Маяковского — поглубже, по-выразительней, понятней: «Один сезон — наш бог Сезанн, Другой сезон — Ван Гог».

9

(В четырнадцать-пятнадцать лет я пережил сильнейшее увлечение Маяковским, его мощным стихом, рубленой, лестничной строкой. Тогдашние мои беспомощные вирши складывались «под Маяковского», строфы лестницей спускались вниз, и еще не пришел час задуматься, сколь органично это; и даже позже прочитанные заметки Маяковского с полемическим названием «Как делать стихи», в которых рождение стиха описывалось как только тяжелая работа, а не молитва, вдохновенное состояние, не вызывали ни капельки протеста неким механистическим взглядом на музу. Он был поэтом — из главных. Разумеется, сельский подросток не мог знать тогда, что была у автора «Во весь голос» житейская, непоэтическая жизнь — в сущности трагическая. Бессемейная, бездомовная, безнациональная. А раз так, и музей отечественной культуры — пережиток, и Пушкин — пережиток, и сама Россия — пережиток.

Всегда грустно расставаться с увлечениями молодости, будь то красивая женщина или большой поэт).

— *Маяковский. Лиля Брик. Осип Брик. М-м-да, художественная коммуна. Маяковский — гигант. А вокруг — свадебка нешутейная. «Эти Лили, эти Оси...» И рухнул, как древооточками изъязвленный дуб.*

10

(Есенин — среди любимых поэтов моей юности, да и на всю жизнь — Поэт. У Владимира Александровича напротив — не его поэт. Думаю, что многое в этой нелюбви из-за любви к Маяковскому).

— *Стихи Есенина — не глыбастые по-маяковски, а подчас надрывные, с кабацкими нотами в молодости мне не нравились. Было и другое. Рассказы о нем. В конце двадцать девятого года появляется перед нашими очесами (я тогда работал в «Коммуне» вместе с Брюном) сильно потертый гражданин лет под сорок, — это для нас, двадцатилетних, уже старик, — им оказался сосланный в Воронеж Иван Грузинов. Полупоэт, полуадминистратор, ловкий человек, вел все дела в знаменитом «Стойле Пегаса» и хорошо знал альковные утехы многих жрецов и жриц искусства. Он и рассказывал позже много о Есенине, о его тяге к рекламе и саморекламе. Жертвой его рекламной страсти стала и Татьяна Толстая, внучка писателя. У поэта было так: «Я и Татьяна Толстая», «Я и Айседора Дункан». Когда ушел из жизни, по всей России распевалось надрывное «Ты жива еще, моя старушка» — так надрывно, что можно было и возненавидеть. Грузинов в первый же день стал декламировать есенинские стихи, но как-то ловко и быстро переключился на свои. Вечером я пригласил его к себе, в Троицкую слободу. С Брюном взяли водки и втроем крепко выпили и спать улеглись на полу: до этого, выяснилось, Грузинов ночевал на вокзале. Пить он*

любил размашисто, и рассказчик был размашистый, многознающий, за два года, пока пребывал в Воронеже, мы часто встречались, и он много чего порассказал о непоэтических нравах наших больших и малых стихотворцев. Он позже нашел гостеприимный угол у Андрея Гавриловича Русанова. Тот был замечательный врач, человек начитанный, культурный, но резкий, справедливо резко вспыхивал при любой неправде. Я тоже не раз бывал у него, он жил в бывшей областной земской больнице, нынешней второй городской имени Федяевского; в огромной прихожей вечно ползали щенята, поскольку их любили дети, которые, выросши, стали людьми незаурядными, хотя не у всех по дарованиям сложилось. Андрей Гаврилович познакомился со Львом Николаевичем Толстым, когда тот останавливался в доме его отца у Покровского собора; позже, как и отец, написал любопытные воспоминания о Толстом. Действительно почтенная, уважения достойная воронежская фамилия.

А возвращаясь к Есенину... Тут и извороты судьбы, гонимость его поэтического слова после смерти и запрет на публикации, а запретный плод всегда сладок. Помню, в пятидесятые годы один журналист, теперь ползузабытый, попросил у меня только что вышедший первый послевоенный есенинский сборник, полагая, что тот весь сложен из стихов наподобие «Пей со мной, паршивая сука...»; а уже на другой день, разочарованно вернул со словами: «Я думал он весь матерный, а он так — всякая там лебеда, рожь-овес, эка невидаль...»

В чем-то Есенин — сколок с загульно-хмельного в Блоке. Понятно, что в такой оценке лишь малая крупница правды, если таковая вообще есть. Конечно же, и Блок, и Есенин — не только хмель или тяжкое похмелье. Пяст, какой-то родовитой польской крови, эдакий листок драгоценный с королевской ветки, выпустил в свет в начале тридцатых «Воспоминания о Блоке», чем недобро, даже гнусное дело сделал. Пигмей чернит титана — под видом правды. Примерный образчик вспоминаемого: за дальней окраиной Петербурга, в тумане, в мокрой траве лежит во фраке вдрызг пьяный Блок, а благодетельствующий друг Пяст, зачерпнув в цилиндр воды, обрызгивает его, пока тот («Где я?») не начинает пробуждаться — помятый, плохо соображающий, жалкий.

Или приходилось вам читать воспоминания Мариенгофа «Роман без вранья»?

— У меня есть подаренная Шнейдером, организатором есенинских творческих вечеров, книжка с его надписью, в которой он сетует: «без меня меня женили»: поляки под одним переплетом издали его «Встречи с Есениным» вместе с «Романом без вранья». Не знаю, сколько там вранья, сколько не вранья, но... от прочитанного неприятный осадок. Мне счастливо выпадало несколько раз встречаться с любимой сестрой поэта Александрой Александровной в ее доме, у нее неприятие многого, посмертно увековечивающего память о Есенине, — от московского памятного ему на Рязанском бульваре до книг, подобных опусу Мариенгофа.

— Бывал он в Воронеже в 1928 году. Гастролировал с актрисой Некретиной. До «Романа без вранья» его и не слышать-то было, а тут быстро же он изловчился с этим пасквилом, стал знаменит под куполом есенинской трагической судьбы. Вечная тема и в литературе, и в жизни — гений и злодейство, вершина и низость, свет подлинный и свет отраженный. Посредственность, отирающаяся возле большого человека...

Выступал Мариенгоф в Доме Семейного Собрания, в саду нынешнего Дома офицеров. Вышел в костюме-оверлоке, широкие плечи, пиджак до пупка, широкие брюки. Читал: «Приятель, дева, комнатушка — // Вот что осталось, что осталось. // А мы заложим черту душу // За эту солнечную малость». А затем вдруг стал поносить Воронеж. Дескать, думал, настоящий город, а въехал — одни скворечни да сортиры. И в местной газете — те же сортиры. Вот

стихи Короблинова... Я, и не назови он мое имя, едва ли стал бы до конца выслушивать, как претенциозный гастролер «расправляется» с моим родным городом.

— Ему не понравился наш город? Во всем, что на пути встречается, брезгливо видеть только заурядное, серое, отхожее... Слава Богу, Жуковский, Фет, Мусоргский, да и Лесков, и Островский — не чета Мариенгофу — увидели наш Воронеж совсем другим — живописным и приглядным.

А вообще иные впечатления, а тем более воспоминания — словно из залы кривых зеркал. Редко выпадает прочесть достойные воспоминания об ушедших, так же, как и достойные рассмотрения жизни и творчества живущих. Чаще видишь стремление пишущего — «засветиться» рядом с большой творческой личностью, неважно как... Иногда в кривозеркально пишущем обнаруживаешь два подспудных начала — и невольно похвалить, и вольно грязью измазать.

Из известных мне воспоминаний воронежцев ближе остальных ваши воспоминания о Платонове да еще Прасолова — о Твардовском. Искренне и без слюнявости. Лаколично, строго.

— *Твардовский. При кажущейся простоватости стиха его просто так не похлопаешь по плечу. Его «Теркин» — это на века. Недаром Бунин, предельно чуткий к литературной фальши, вездешности, не увидел в «Теркине» ни сучка, ни задоринки. В таком духе пытались писать. Кирсанов, а уж он-то был искусный версификатор, эксцентрик, фокусник, начал было «Заветное слово Фомы Смыслова», а не пошло. Искусственная штука. Не достало пустяковинки: знания народной жизни.*

11

(Часто вспоминаю Северный Кавказ. Город Грозный, где на творческих встречах при редакции газеты «Комсомольское племя» мы, молодые чеченские, ингушские, русские пыталели пера, жарко обсуждали свои строки; райцентр Урус-Мартан, где в книжном магазине можно было приобрести редкие книги; селение Валерик, где я учительствовал. Шумные дети, одна из учениц — красивая девочка с красивым именем Асет... Асет Ульбиева окончила филологический факультет Грозненского пединститута, окончила аспирантуру и вернулась учительствовать в родной Валерик; ее младоучительскими стараниями был открыт в школе литературный музей, среди экспонатов которого рисунки, фотографии, литературные принадлежности, журналы, книги, автографы русских и чеченских писателей, посвятивших свои страницы Кавказу. Мирное, понимающее, принимающее. Но — «кровавый рубец на теле империи»... Можно ли было иначе? Как?)

— *Кавказ... Одно время — недолго — меня занимала мысль написать о Пушкине — как он едет на Кавказ, проезжает воронежские поля, Дон перед его глазами, а далее иная, горная страна. Потом понял — необязательное. Для начала надо было самому поехать на Кавказ. Но там уже другие черты — не пушкинских времен.*

— А мысль хорошая. Пушкинский путь от трясин Санкт-Петербурга до предгорий Арарата, с севера на юг через всю европейскую часть России. Тут не просто наши воронежские поля, а особый край. Марина Мнишек, она уже описана в «Борисе Годунове», но и многое другое увидел бы он: как она убегает с атаманом Заруцким, близ Воронежа чуть не попадает в плен. Для меня из пророков (литературных) России — Пушкин, прежде всего он. Также — Достоевский, Тютчев. Есть, конечно, духовно-религиозные мыслители, прорицатели, но... прочитать их не удается.

— Их ныне просто так не найдешь. Не приобретешь. А чтение их, думаю, многим бы помогло — не увлекаться пустым, побрякушечным. Они о вечном думали. Тот же Тихон Задонский...

12

(Августовские дни 1973 года. Семейный отдых в Крыму. До этого на курортном полуострове я уже бывал. Каждый уголок — чем-то да запомнился. Прежде всего — Симферополь, Ялта и Ботанический сад, Бахчисарай, сердоликовый Коктебель, Евпатория с детскими пляжами, Феодосия с полотнами Айвазовского... И, конечно же, Севастополь.

Город русской славы, как его именуют не со вчерашнего дня, дорог мне еще и тем, что в годы последней Отечественной войны его оборонял и мой отец. От первого до последнего дня. Долгие месяцы — осени, зимы, весны и лета. В последний день обороны отец с однополчанами, отрезанными от своих с суши и моря, попал в плен; тяжелейшими дорогами (поездом и пешком) был препровожден аж до Западной Украины; сумел бежать, тяжело добирался к своим, был дотошно, до последней родинки проверен в фильтрационном лагере; после освобождения Одессу, дошел до Берлина, командиром роты штурмовал Имперскую канцелярию рейха, был представлен к званию Героя Советского Союза... В каких только фронтовых передрыгах не был, а еще в Крыму мог погибнуть — и не раз.

Думаешь: сколько племен и народов (скифы, парфяне, греки, остготы, потомки римлян, турки, татары, русские обживали Крым, враждовали, теснили друг друга, терпели поражения и побеждали, мирились после пролитой крови, а больше всего-то пролито кровушки русской!)

— Крым? Для меня он большой исторический, да и литературный заповедный угол. Но по крымским степям и набережным не бродил. Хотя, казалось, должно было бы потянуть... Волошин — поглядеть на его акварели было бы не лишне, они в Коктебеле, верно, сохранились. Свой дом в Коктебеле Волошин передал советским писателям, тамошний Дом творчества облюбовали и воронежские литераторы. Но я не охотник до писательских Домов творчества.

— В Коктебеле мне выпало побывать одним днем. За один день осмотрел и Старый Крым. Поднимался от моря в горы по улочке в акациях, вишнях, греческих деревьях — в конце улочки дом-музей Грина. Поднимался вверх — вспоминалось гриновское: «И грезилось мне море, покрытое парусами».

— Вам нравится Грин? Много из него прочитали?.. «Алые паруса», «Блестящий мир», «Золотая цепь»? Или — «Бегущая по волнам»?

— Его читать надо было в отрочестве или юности. После прочитанных Достоевского и Толстого, после их глубоких отображений жизни... Грин не воспринимается всерьез... во всяком случае, на его страницах, по первому взгляду, немало поверхностных, надуманных, выпрєнных, пенноромантических строк. «Он прошел мимо жизни», — сказал Твардовский о другом романтического стиля писателе, автора «Бегущей по волнам» высоко ценившем. У меня между тем есть знакомые, даже близкие, читающие Грина.

— Вы упомянули о Толстом? Он тоже днями Первой Севастопольской обороны породнен с Крымом. Его «Севастопольские рассказы» я перечитывал несколько раз. Мне еще приходит на ум имя Муравьева-Карского, уроженца Черноземного края. Благодаря ему после Крымской кампании Севастополь остался за русскими: взятый Муравьевым стратегически важный малоазийский Карс был обменен на Севастополь.

Разговор о Сибири, о покорении и освоении ее. Осенью 1974 году моя поездка в Сибирь. Воздушный рейс от главного города Черноземья до главного города Западной Сибири с изнурительными посадками: Казань, Свердловск, Омск, Новосибирск. Далее поездом — до Читы. Далее — Нерчинский завод, ночные сопки, рудники... подземные дни декабристов. Советско-китайская граница по Аргуни. Возвратный путь — Петровский Завод, Иркутск, Байкал, Ангара. Сибирские встречи — с рабочими, крестьянами, советскими служащими, издателями, журналистами, писателями... какие сильные, отзывчивые, широкие души! Сибиряки — под стать необъятным здешним просторам. В Иркутске надеялся увидеться с Валентином Распутиным, он уехал то ли в Усть-Уду, то ли выше по Ангаре. Когда теперь удастся встретиться? Он одновременно и ребенок, и по мудрости много-поживший. Его мудрость — народная, глубинная.

Владимир Александрович вспоминал свою Сибирь — Мариинск, Новосибирск начала тридцатых.

(После поездки в Вешенскую по весне 1978 года показал Кораблинову подписанные Шолоховым книги, признавшись: «С некоторых пор спокойно отношусь к подаренным книгам с авторскими надписями, но... «Тихий Дон» — любимая с детства книга. Именно через «Тихий Дон» стал проникновеннее чувствовать донской мир природы и мир человека, разделенного на «белого» и «красного»; образ природы — в каких словах, в каких красках!»)

— Я переую книгу «Тихого Дона» прочитал в конце двадцатых в «Роман-газете». Сразу взял в полон. И все сильнее от книги к книге. Под конец — крещендо, грохот музыки как бы вырывается из рук дирижера... и уходит в жизнь, в вечность. В те годы пресса яростно ополчалась против шолоховского романа. Кто он, главный герой Мелехов, и на кого оставляет автор его сына. Шолохов — и человек, и писатель большого мужества. Все же человек оказался слабее своего таланта-гения. Хотя — кто судья гению, кроме Господа Бога?

(Образ Дона-батюшки увиден детскими глазами. И... на всю жизнь. Образ Волги-матушки тоже сопутствует мне с детства — еще со школьной поездки в Сталинград. Волга в юности — Казань, Свияжск, Ульяновск, Нижний Новгород. Позже — Ярославль, Нижегородский край — в лесах и на горах. Когда был в Сталинграде, детским сердцем чувствовал, как позже и в Бресте или в том же Воронеже, что никакого горя не должны бы знать впрямь эти города: слишком много бомб, мин, снарядов, пуль обрушилось на них.)

— Поволжье среди привязанностей и дорог моей молодости. Мы прошли по одним и тем же местам. У меня о поволжских скитаниях — неполные страницы в «Азорских островах». Нигде не встречал более широкого, сильного, отзывчивого народа.

(Лето 1978 года. Трудная поездка в Польшу. На фронтовое кладбище в Цибинке, у польско-германской границы. Два кладбища — офицерское и солдатское. На офицерском покоится отец моей жены. Оба кладбища — обихоженные, чув-

ствается хороший пригляд за ними. И приглядывающие люди — каменщики, цвечники, сварщики, сторожа — хорошие люди. То есть приветливые, отзывчивые, готовые помочь.

В мою раннюю жизнь Польша вошла не только рассказами отца о боях на польской земле, форсировании Вислы, но и полупольской семьей в моем селе. Бакенщик Евлампий жил у самого берега Дона. С войны он вернулся с женой Христиной, полячкой. Несколько раз с отцом я бывал у них, и она мне запомнилась радушной, но грустной, часто глядящей в восточную задонскую даль, словно именно там находилась ее Польша, деревня близ Зелены Гуры, близкой, выходило, и от Цибинки с кладбищами тысяч похороненных советских воинов.

На этом кладбище роковым образом сходились три скорби, три страны, три народных судьбы, в неразвязный узел завязанных. Еще до войны польский военный министр утверждал: «С немцами мы теряем свою свободу, с русскими — свою душу». А мы, русские? Что и с кем теряем — с Европой или Азией? Или приобретаем? Сколько сил и крови ушло в вечном противостоянии немцев, поляков, русских!»

— *Историческая судьба распорядилась нами не самым счастливым образом. Вы читали «Крестоносцев» Сенкевича? Понятно, читали... Он описывает и натиск крестоносцев, и их поражение. Вот, может, оттуда, еще со времен Грюнвальда, нам, славянам, сообща и надо было и обороняться, и побеждать дальше. Вместе!*

— Да, но, с другой стороны, Речь Посполитая и раздробленная Русь... Можно было, наверное, объединиться, по крайней мере, не теснить друг друга, не укладывать под свои уклады, не наступать то одним, то другим.

— *Историю не перепишешь. Народы, страны... так все неустойчиво. Соединения, разделения, исторические обиды, распри. Разделы Польши обернулись против нас. Особенно последний, с присоединением к Российской империи Царства Польского, пусть и с конституцией. Думаю, что трудно нам достигнуть всеславянского единства. Даже всерусское, единорусское — изначально, корневое, колыбельное — теперь в исторической дымке.*

Могло и с немцами у нас быть иначе. Почему мы в двух мировых войнах оказались противниками?

— Я тоже не раз об этом думал. Мы до Мировых с Пруссией, позже Германией столетие не воевали, и даже во многом союзниками оказывались. А сколько немцев из Прибалтики, да и не только из Прибалтики, — истинных патриотов России, ее обустроивавших и оборонявших! А наши культуры! Сколько нами благодарно воспринято от культуры германской, но, с другой стороны, и великие умы Германии преклонялись перед нашими духовными, литературными вершинами. Томас Манн, например, видел нашу литературу девятнадцатого века великой, святой, учительной.

— *Увы, Не знают об этом ни у нас, ни у них. Я имею в виду более обывателя, нежели читателя. Хорошее обычно не знают, не помнят... Войны — это да! И кто-то греет руки политически, финансово, идеологически на всякого рода освещении этих прошлых войн. И нередко так: мы защищали свою землю, а нет, от нас угроза исходит.*

— Я однажды бродил по ночному Лейпцигу, странно пустынному (за день до того побывав в берлинском Трептов-парке) и думал — не о ночном европейском городе, а о вроде бы и неуместном. Мне то ли хотелось выйти к мемориалу битвы народов у Лейпцига, хотя сама та страшная мясорубка, как и тысячи других битв, представлялась мне безумной растратой сил человечества на его маятниковом пути. Я думал о русском воинстве, по каким европейским столицам не шагавшего победно, — Берлин, Кенигсберг, Милан, Париж, Варшава, Вена, Будапешт... Завоеватели, освободители — все перемешалось в книгах, в газетах и, прискорбнее всего, в головах...

(Владимир Александрович просил рассказать о впечатлениях от моих поездок в литературные места Брянщины и Орловщины. Рассказал о первом посещении Брянска еще в шестидесятые годы. Было это незадолго до праздника Победы, и местные власти повезли нас, группу журналистов с разных концов страны, в бывший партизанский лагерь: землянки, окопы, колючая проволока. Тогда острое было впечатление — какой-то зримой жертвы-подвига во имя родины. Теперь все это глуше. Неужели так станется и с восприятием русской литературы? Один Брянск — великие имена: Тютчев — Овстуг, Алексей Толстой — Красный Рог.)

— Я у Алексея Константиновича Толстого до сих пор знаю наизусть большинство из его баллад, немалое число стихотворений. С удовольствием перечитываю его роман «Князь Серебряный». Толстой — непонятно кем и когда поставлен во второй или даже запасной ряд русской литературы. А фигура первоначальная, и как художник, и как человек высокой чести и нравственности.

— Брянск — бывший уездный город Орловской губернии. Не губерния, а страна. Размах: от смоленских земель до тамбовских. А какие имена — так или иначе орловские: братья Киреевские, Тургенев, Лесков, Апухтин, Андреев, Бунин!..

— Тут можно добавить и Грановского. Разумеется, и Данилевского. Он широко и глубоко взглянул на мир. Его «Россия и Европа»... Книгу теперь не издают, а ее бы надо знать многим. Как и труды о Сергия Булгакова. А если шире взять культурное поле Орловщины, то его ростки — математик Киселев, композитор Калинин, полярный исследователь Русанов...

(В который раз поразился-порадовался энциклопедичности знаний Владимира Александровича. Сказал ему, что в детстве учился по учебнику арифметики Киселева и получал радость от самих текстов задач, хотя математический блок не был мне в радость. И «Первую симфонию» Калинникова не раз прослушивал — одна из любимых. А Данилевского и Булгакова не читал, хотя слышал о них с юности.)

— Лесков — писатель первейший, между тем — словно в стороне от столбовой дороги литературы.

— А я побывал и в Орле, и в Гостомле, и Добрыни, и на хуторе Панино. Впечатление сильное и грустное. В Гостомле новую школу отстроили, а учиться некому. Села стали малолюдные, еще очевиднее — малодетные. А хутор Панино — божественный уголок. Директор Лесковского музея в Орле Раиса Митрофановна Алексина, истинная подвижница отечественной культуры, проехала со мной в тот день от Спаского-Лутовинова до северной Орловщины. Многие мне показала и рассказала о многом. Это ее трудами-поисками найден лесковский хутор. Несуществующий хутор. И тяжелая мысль. Ушли хутора, знаменитые и незнаменитые, великими тысячами сошли с земли и карты деревни, а большие села становятся все меньше. Настанет день, когда коренная крестьянская Россия, сеющая, поля возделывающая и хлеба жнущая, исчезнет полностью. Исчезнет деревнями, даже селами.

— И все-таки — нет! Что-то останется. Даже и не о том слово, что сохранится в предании, биографически, событийно, именами знаменитых. Просто останутся села, жители которых будут выращивать хлеб насыщенный. Хотя... хотя мир меняется так стремительно, что, может, нашим потомкам сплошь придется обитать в стоэтажных башнях. Так что Мать-сыра-земля навсегда перестанет быть матерью.

11 марта 1980 года. В гостях у Владимира Александровича — Наталья Евгеньевна Штемпель. Ей понадобилась «Чукоккала» — книга забавная, издание давно уже библиофильское. Штемпель — известная в творческой среде личность: хорошо знала Мандельштама, сохранила его «Воронежские тетради» («Воронежские стихи»).

Повспоминали они старое. О том, как собирались у Загоровского на творческие диалоги; о том, где жил в Воронеже Платонов, помимо Ямской слободы; о том, какие нравы царили в воронежской литературной среде в двадцатые-тридцатые годы. Владимир Александрович рассказывал о театре Арсения Рюдаля, одессита, как тот прятался при белых в мастерской у похоронщиков и как послужил в «Прозрении Аполлона» прообразом Лебрена — тот в домовине водку пьет. По выходе книги две преклонных лет дамы прислали возмущенные письма: дескать, режиссер Рюдаль (Лебрен) никогда не пил, в рот не брал спиртного.

А Наталья Евгеньевна читала некоторые строки из «Воронежских тетрадей» Мандельштама, много и живо рассказывала о поэте, о его пребывании здесь в трех местах: у железной дороги неподалеку от педагогического; на менявшей не раз названия нынешней улице Пятницкого, где теперь дом обкомовских работников; и на улице Энгельса, в доме тринадцать, в квартире на втором этаже. Здесь, на улице Энгельса, бывшей Малой Дворянской, по всей видимости, и встречался Мандельштам с Ахматовой, навестившей поэта в феврале 1936 года. «Во всяком случае, — смеялась Наталья Евгеньевна, — один известный в городе краевед-литературовед сказал мне: — Давайте считать, что здесь».

«Воронежскими стихами», да и не только ими, я зачитывался еще в молодости, в переписи. Но тогда притягивали все больше антивластные, в которых человек и народ психологически, социально задыхаются, мертвеют в удавках, накинутах роком и властью: «В Европе холодно. В Италии темно. Власть отвратительна, как руки брэдбрея. О, если б распахнуть, да как нельзя скорее, На Адриатику широкое окно»; «Природа своего не узнает лица, И тени страшные Украины, Кубани... Как в туфлях войлочных голодные крестьяне Калитку стерегут, не трогая кольца...» Идет-проходит жизнь, сменяются не только листки календарные, но и мысли, чувства... одни расширяются, углубляются, другие, если вовсе не избегаются, смиряются, становятся терпимыми и прощающими. Принимаешь мир памятью и любовью. Теперь любимые строки: «Я тяжкую память твою берегу — Дичок, медвежонок, Миньона, — Но мельниц колеса зимуют в снегу, И стнет рожок почтальона».

И при начале разговора и при конце гостя не преминула сказать, что ей понравилась моя книга «Далеким недавним днем». И порадоваться бы еще одной доброй оценке. Но в книге столько всего, от чего ушел! Как говорится, многое бы отдал, чтобы иных страниц, абзацев, строк вовсе не было! Наталья Евгеньевна на четвертушке листа оставила для меня адрес, телефон и приглашала при свободном часе заходить.

(Полтавщина, откуда — одна из материнских ветвей моих предков, прямо-таки очаровала меня. Был май 1980 года, еще не отцвели крупнотравяные сильные вишни в Диканьке, еще по ночам били всюю соловьи в Миргороде и в самой Полтаве — на заросших спусках Ивановой горы к реке Ворскла, и все окрестное было наполнено поэзией возвышенного гоголевского слова. Владимир Александрович, попросив рассказать о полтавской поездке, обратился по

ходу моего рассказа в знающего собеседника, словно сам полжизни прожил на Полтавщине.)

— *Вдохновенный край. Недаром Гоголь столько страниц посвятил полтавской земле. Так не он один. Тот же Гребинка или Гребенка, как поточнее сказать. А еще раньше Котляревский. А позже Короленко. Глибов, автор песни «Стоит гора высокая». Или наш Бунин — тоже певец Полтавы, жил там. Впрочем, он вообще Малороссию любил. Плавал по Днепру. Бывал в Киеве, жил в Одессе. Вам-то в Одессе не приходилось бывать?*

— Тянет в былые малые родины предков. Во мне, как и у многих из нас, русских, немалая часть украинских, белорусских корешков единого родового изначально русского древа. Да поди еще и греческих, и татарских. В Одессе я бывал. Это когда оставил Киевский университет на полпути к поступлению, вдруг решив сменить его на Одесскую мореходку. Дабы после исплавать моря и океаны... Тогда, правда, не знал, что и Бунин в Одессе находил приют. Позже прочитал о том. И его строки о Полтаве в «Жизни Арсеньева», конечно, читал. Строки прекрасные, как и вся книга. Думаю, что каждый, у кого мало-мальски творческое сердце, побывав на Полтавщине, не в силах не восхититься этой солнечной, приветливой землей и ее людьми и в слове ли, или краске попытается отобразить это восхищение.

— *Сколько и впрямь менее известных, но по-сыновьи преданных своей матери-Полтавщине! Тот же Олесь Юренко, который гостеприимно принял вас в Полтаве. Хороший писатель, замечательный человек, выразительный, как его почерк. Вам показать его письма?*

— Он мне тоже прислал несколько открыток. Почерк изумительный. А сам он — образец славянского радушия, гостеприимства, доброты. Беда его — пьющий сын. Крепко пьет. При мне устраивал куражные сцены, в полночь воротясь Бог весть откуда. Или это — сыновьи недуги — беда всех талантливых, всех глубококоранных от родственных и чужих несчастий?

— *У каждого — по-разному. Ищут, слышал, чип всеобщего счастья. Нас будут развеселые комедианты на сцене, с телеэкрана смешить, а мы все поголовно будем смеяться. Смеяться, хоть там отец родной умри или сын исходи в тяжелой болезни.*

20

(Февраль 1981 года. Вернулся из Средней Азии — Ташкент, Самарканд, Бухара. Изнурительный вояж. В Ташкенте заболел и Самарканд, Бухару осматривал словно сквозь пелену. Возвратный рейс — метельная погода. Два вынужденных приземления — в Свердловске и Абакане. Еле добрался из воронежского аэропорта домой, на предокраинную улицу Путиловская).

— *«Ташкент — город хлебный», конечно, читали эту неверовскую повесть?! В мою молодость многие туда устремлялись — кто от голода, кто приключений ради. Я надеялся там пробыть долго, да не притянул меня пестрый среднеазиатский Восток, вернулся и тоже, как вы, простудился от перепада холода-жары, жары-холода.*

21

(Конец июля 1981 года. Самолет, с высоты разворачиваясь на посадку, казалось, сейчас уткнется в болотистую трясиину — так густо близ аэродрома скопились озерца, луговые весенние заливни. Но нет, твердая и (странное ощущение) — радушно-теплая, мягкая земля. Такими увидел и архангелогородцев: в достоин-

стве — твердыми, в гостевом добросердечии — мягкими, и не надо годами исчисляемого северного жития, чтобы почувствовать это. Невольно думаешь о широте и некоей нехвастливой особице русского человека, который столь разнообразно проявил себя в историческом бытии на Дону и Волге, на Урале и в Сибири, на предкавказском юге и в северном поморском краю. Сколько надо было положить мужества, упорства и таланта, чтобы освоить эти поморские неудобь-земли, каменистые, болотистые, даже песчаные, выстроить монастыри и деревянные сокровенные церкви, обустроить села прекрасными рублеными, резными избами, нередко в два этажа. Архангельск — город Северной Двины и доброприветливых коренных горожан, Большие Карелы — музей деревянного зодчества, Холмогоры с величавым монастырем, на противоположном берегу широкой реки — родина Ломоносова.

И как венец труда, подвижничества, тяжелейших испытаний народных — Соловки. Великий народный монастырь. Великая народная тюрьма. Я не мог не поехать на Соловки, мне надо было увидеть тяжелые острова, где, по семейному преданию, сгинул один из моих дедов, где отбывал изнурительные скорбные дни мой земляк Андрей Евгеньевич Снесарев, пронизательный геополитик, который мысленным взором охватывал всю географию и историю земного шара. Разумеется, я хотел своими глазами видеть и монастырь, не поддавшийся самым сокрушающим орудиям враждебной внешней стороны. Проплыл каскадом соловецких озер, побывал на горе Секирной, где церковь оказалась превращенной в маяк. А монастырь превращен в музей, который, разумеется, душеисправляет и просвещает больше и человечней, нежели тюрьма. Но тюрьма — вечная, а музей... Я знал, что библиотека монастыря, одна из лучших частных в Европе, разграблена при чекистском «освоении» острова. А Петровский возок — он уцелел? Петр для меня и велик, и дуроломен. Но тут должно верить Пушкину, которым царь увиден и принят во всей полноте и строительства, и крушительства. Царь — «на троне вечный был работник», — славно, но он же и «Россию поднял на дыбы», а последнее — менее всего метафора...)

— *Говорят, Люфанов пишет о Петре Первом? Смел Евгений Дмитриевич, смел, — смеясь, подивился Владимир Александрович и продолжил: — Я ничего не имею против, даже радуюсь, пусть ему пишется и напишется. Написал же он романы о Ленине. Вполне профессионально. Но... чтобы писать о таком человеке, надо знать и видеть, сколько знал и видел он. А это задача не из легких. Впрочем, о Ленине писано-переписано!.. А вот о Петре Первом... Правда, — засмеялся вновь, — задача тоже не из легких. Уже есть роман, так и называется «Петр Первый». Думаю, что это лучшее произведение Толстого. Разумеется, его «Хождение по мукам» — крепкое полотно. Но прочитайте сначала шолоховский «Тихий Дон», а вслед толстовское «Хождение по мукам», и разница бросится в глаза. «Тихий Дон — полотно гения, «Хождение по мукам» — всего лишь таланта.*

(В начале 1983 года — кончина Марии Александровны Платоновой. Кораблинов в «Коммуне» прочитал некролог, написанный мной и Свительским. Он начал вспоминать некоторые штрихи из встреч с Андреем Платоновичем, затем попросил меня рассказать что-нибудь памятное из моих встреч с Марией Александровной. Встреч было много, я рассказал, может, тысячную часть и сказал, что написал стихи о музе — вдове великого писателя, которую как осы облепляют истолкователи и «интерпретаторы» его творчества и которая «терпеливо их нашествие сносит»).

— Помнится, вы рассказывали, вдова Платонова не раз жаловалась на то, как «вселенские освоители» — режиссеры, интерпретаторы, театральные и литературоведческие «прочтенцы» весьма вольно обращаются с платоновскими текстами. Воля, вольница, безответственность... Мировое поветрие. В двадцатые-тридцатые годы было еще похлеще, побессовестнее с этими свежими новостями, новыми прочтениями. Эти «новопрочтенцы» — какое-то паразитарное племя. Взять готовое (Шекспир, Кальдерон, Мольер или Гоголь, Чехов, Платонов) и попрыгать на нем так, чтобы получилось нечто иное. Новое. Да ты новое сделай от начала до конца, а не хватайся за одежды Платонова, чтобы их перелицевать и переукрасить. Платонов, что хотел сказать, сказал. И сказал именно так, как хотел сказать. Но поветрие «новопрочтенства» никогда не утихнет, а будет агрессивно шириться.

23

(В детстве я любил рассматривать географический атлас, географические карты и знал столицы всех тогдашних государств, все большие реки и горы, но более всего — озера и острова. Пристрастие к последним — идущее, скорей всего, из детства. Всякий раз поднимаясь на придонские кручи, я видел перед собой остров, безымянный, но мною названный Осокоревым из-за множества осококорей, росших здесь среди иных приречных деревьев. Стародонье и Дон, разветвлением и соединением которых и был образован остров, омывали его берега. При желании и воображении остров можно было видеть сказочным, таинственным, манящим древними следами, его можно было видеть как старинную покинутую крепость, можно было населить его добрыми или злыми созданиями Божьими. Лежали в лесной, луговинной пойме близ Нижнего Карабута озера Криничное, Голубое, Круглое, и они тревожили тоже некоей тайной. Но это было давно. Во взрослой жизни все стало посерьезнее. Если острова — так Соловки, Рюген, Хортица, если озера — так Онежское, Байкал, Светлояр. При упоминании Светлояра Владимир Александрович оживился...)

— Я так и не добрался до Светлояра, хотя однажды был неподалеку от него. Миф, одновременно светлый и скорбный миф. Манил всю жизнь.

— Мне побывать удалось. Исходил его берегами и по движению солнца, и наоборот. Познакомился со старообрядцами, даже останавливался в сельской интеллигентской староверческой семье. Замечательные по доброте, благородству и внутренней культуре люди. Я написал очерк о Светлояре и встрече с писателем-сказочником Афоньшиным, довольно поверхностный, вызвавший его критическое восприятие, — мол, написано не в лучших традициях журналистики. Справедливо. Более того, совпадало и с моим отношением к хлестким проявлениям «творчества» представителей свободных профессий, вроде тех же не обремененных совестью журналистов или присяжных поверенных. Грустно, что с людьми, по сердцу и по духу тебе близкими, встречаешься на ходу, да еще и в недоразумении, а с людьми, которые, чувствуешь, при общественно неровной погоде от тебя отпрянут, тебя предадут, проводишь месяцы и годы.

— У старообрядцев этого — безответственной легкости отношений, гулевой праздности, злодательства, каинства, предательства — никогда не было. Это была великая сила, может, самая деятельная часть русского народа. Сколько революций на пути его! В двадцатом веке — три. А раскол — та же революция. А крещение? Мне многое открылось, когда писал «Крещение Аполона».

(Владимиру Александровичу, члену редколлегии «Отчего края», выпускаемого в свет в Воронеже Центрально-Черноземным книжным издательством, передали «Советскую культуру», «Литературную Россию», «Известия», где есть хорошие слова о нашей книжной серии. Разный народ в редколлегии — и помогающий, и представляющий. Фамилии: Абрамов, Афанасьев, Гончаров, Гордейчев, Кораблинов, Ласунский, Носов, Попов, Троепольский, главный редактор издательства Жигульская, завредакцией Сысоев.

«Отчий край» — на середине пути. Уже изданное: сборник русских народных сказок, Державин, Боратынский, Лесков, Фет, Бунин, Платонов... На очереди — «Сочинения Козьмы Пруткова», Буслаев, Замятин... В «Молодом коммунаре» — большая статья об «Отчем крае», отзывы земляков, благодарное письмо Анатолия Владимировича Жигулина, короткая оценка серии Владимиром Александровичем Кораблиновым: «Многотомная книжная акция — дело не из привычных, бывалых. Возможны и какие-то частные недостатки, трудно их избежать, их не бывает разве, когда ходят по исхоженной тропе. А тропа «Отчего края» — тропа новая. И главное — нужная!» Позже Василий Михайлович Песков в письме ко мне напишет: «Отчий край», тобою выпестованный, — несомненное явление в наших издательских делах. Не случайно же эта идея проросла и в других местах. Все, кто сердцем остается на черноземе, этим могут гордиться. Доброе, хорошее, умное, нужное дело!»)

— *Самое главное — учителя, библиотекари, вузовские преподаватели считают выпуск «Отчего края» делом нужным, необходимым для молодых. Для их образования, просвещения.*

— Не всем нравилось. По рангу весьма почтенные литераторы направили свои стопы в обком обличать меня в пристрастии к старорусскому, патриархальному, реакционно-крестьянскому, религиозному. Даже имперски-монархическому!

— *Писатели — нередко скучный народ. Искра Божия далеко не в каждом горит. А вот по части тщеславия, следований литературным модным веяниям, а то и гаденького — вроде зависти, клеветничества, подворотного песьего лая — всегда хватает.*

Есть слабости — и не поймешь, безобидные ли они. Вот псевдонимы... Шолохов в не столь давние времена удивлялся: зачем ныне псевдонимы? Какой в них смысл? И действительно недоумеваешь. Мало имени, данного родителями, фамилии, восходящей к корням рода?

Воронежцы тоже псевдонимами баловались и балуются. Платонов был среди первых. А потом пошло-поехало. Коптев — Задонский. Подобедов — Суровый. Живогляды — Дальний (последний хвастался, что у него ни одной строчки нет ненапечатанной).

Один быстрописучий похвалялся, что строчит с ходу и не любит переписывать. Блин с горячей сковородки, ну а каков блин... О Толстом кто-то сказал: «Он пишет, как все литераторы, а потом начинает корезить написанное». Вот и выходило — иные абзацы, а то и страницы переписывал и трижды, и тридцать, и сто тридцать раз. Куда Толстому до наших быстрописучих!

Разные есть у писателей слабости. Задонский, с чего бы ни начинал, — хоть с французской революции, хоть с декабристов, хоть с библейского потопы, разговор неизменно переводил на свою персону. Но это невинное занятие. Вот у Подобедова было посерьезнее. Он классику правил, редактировал. Рапповская закваска: поправлять, настаивать, сокращать. Однажды он дал мне почитать Вячеслава Шишкова «Угрюм-реку» со своими пометами на полях. Густо почеркал — то кулацкие мотивы высмотрел, то эротические, то контрреволюцион-

ные. Не знаешь, кого читать: то ли Шишкова, то ли Подобедова, который поправляет писателя так: «Эт ты, Вячеслав, не туда заворачиваешь!» Подчеркивал, помечал он и страницы трудов наипервейших революционно-политических деятелей, ставя часто: «Sic!», «Мудро!», «Гениально!»

25

(Владимир Александрович посоветовал мне подумать о профессиональном писательском положении. Может случиться так, что за просветительскими делами, за редакционным столом свой писательский стол пылью покроется. Но что делать, вздохнул я, редакторская служба дает возможность помочь молодым, отстаивать их на разных уровнях, соотнести традицию и новизну нынешних литературных поисков; да и приходится часто выступать перед разными аудиториями, ездить по стране, что все равно бы отрывало от писательского стола.)

— Я сам знаю, сколько отнимает работа с начинающими, пусть и талантливыми. А ведь и не столько талантливые, сколько пробивные тоже нет-нет да и попадают в тематический план. Куда от них деться!

— За многие годы, пожалуй, самыми «трудными» оказались не начинающие, а маститые, признанные. Николай Алексеевич Задонский, с которым мы были в добрых отношениях, передал в издательство «Повесть о золотом комиссаре», рукопись крайне небрежную, словно автор и не думал о своей почтенной репутации. Долго мы с ним не могли прийти к единому. Сначала обсуждалась каждая страница, каждый абзац, затем Николай Алексеевич махнул рукой, попросил скорее заключить договор и предоставил мне самому, без его глаз, завершить и сдать рукопись в набор.

А над добротной рукописью Гончарова «Вспоминая Паустовского. Предки Бунина» редакторской работы как таковой по сути и не было. Но было другое — нервное и огорчающее. Бесконечные походы в цензурное ведомство, в обком, откуда несколько раз возвращали верстку с жирными красными, синими пометами. С Юрием Даниловичем мы до этого совершили поездку по орловским, елецким полям. Фотографии оттуда — виды хат под соломенными крышами — также не понравились областной власти. Фотоблок в конце книги велено было снять. Да еще корректор допустил недогляд-ошибку. И хотя я тогда был в отъезде, писатель и за корректорский недогляд мне попенял, прекрасно зная, что мне, известному несколькими идеологическими «проступками», уже успели подергать нервы и в цензуре, и в обкоме, и в директорском кабинете; правда, вскоре из Крыма, отдохавший в Ялте, в Доме Литфонда, Юрий Данилович прислал мне открытку, извещая, что на лазурном берегу его книга — бестселлер и все отдыхающие московские писатели ее уже или читали, или хотя бы прочесть; сообщал также, что отдохавшая в те дни в Ялте вдова Паустовского Татьяна Алексеевна сказала ему, что эти воспоминания — лучшее, что она читала о Паустовском. И шутливо добавлял в мой адрес: «Гордитесь. На книге стоит Ваша подпись». Он человек с характером нелегким, не мне вам рассказывать, но ко мне, за редчайшими исключениями, относится доброжелательно с первых вех знакомства (когда прочитал и опубликовал в «Подъеме» мое лирическое эссе-путешествие в бунинское подстепье), даже часто хвалит, предрекает серьезное литературное будущее. Знал бы, как я сам ставил препоны своему литературному хотению. Да и какое творческое будущее, когда уже за сорок!

— Самый прекрасный возраст для литератора. Мне бы! Я-то «Жизнь Кольцова» начал, когда мне было под пятьдесят. Тут возраст, мол, пушкинские «Руслан и Людмила», «Пьяный корабль» Рембо или первые тома шолоховского «Тихого Дона» написаны в ранней молодости. А сколько мы знаем примеров, когда люди начинали в сорок, пятьдесят и успевали сказать значительное!

А издательская жизнь... Надеюсь, ее скрепляют не только профсоюзные собрания. Но казенщины, как везде, видать, немало. Бобылев, давний друг моей молодости и друг Платонова, написал рукопись о воронежской «Коммуне» двадцатых годов. После того, как Центрально-Черноземное книжное издательство вернуло рукопись назад, я ее крепко переписал и перепечатал. Но и в таком виде ее не принимают, идет долгая тяжба, автор шлет гневные телеграммы. Экие времена!

(В беседе — разное. О так называемых «свободных профессиях», никогда, разумеется, не могущих быть свободными — зависящими если не от власти или, за границей, от частного работодателя, то определенно зависящими от своих заблуждений, малого или большого опыта, неумения или невозможности рассмотреть явление с разных сторон, наконец, от эмоциональных, психических, умственных «особенностей» часто ловких и циничных носителей этих профессий: политики, адвокатской практики, журналистики...)

О нынешнем «Молодом коммунаре» и нынешней «Коммуне». Сейчас — обычные, привычные. Намного ли отличаются от тех, что издавались около полувека назад?)

— Начало года тридцать седьмого. В приемной «Коммуны» — «Завтрак на сенокосе» — огромная картина, на которую Бучкури пуда два белил выдавил. Картина про старое. Крестьяне вдали копнят, там возы, мужики, бабы, а на переднем плане господа пьют шампанское.

Бучкури был большого роста, широкая крестьянская кость. Очень характерные, необычные для художника руки. Русский старик из Бутурлиновки — художавое лицо, впалые щеки, редкая бородка, глубокие впадины в глазницах, глаза горящие и сверлящие насквозь. Ходил в холщовке, сандалиях, напоминал Льва Толстого на известной репинской картине. Спилили березу у его нового, добротного выстроенного дома — улица Логовая, теперь улица Бучкури. А жена, тоже художница, больная, обезноженная — как та береза. Началась война. И судьба его непроясненная. Кто-то видел его закапывающим картины во дворе, кто-то — бредущим по хохольской дороге, да как бы он жену одну оставил! Я в благодарность ему, своему учителю, написал небольшую повесть «Русский художник» («Художник Валиади»). Правда, жизнь, тем более такую драматичную, и большую повестью не охватить.

А «Коммуна» — знавала взлеты и вершины, поточнее бы выразиться. Свой самолет, три автомобиля, своя лодочная пристань с лодками и даже яхтами. И все такое. Всего два десятка лет после революции и вон как разросся клан привилегированных! Редактор газеты Швер — друг бывалого партийца-ленинца Вайкиса. Редакция располагалась на главной улице, где и сейчас. На третьем этаже стеклянная длинная перегородка, отделяющая кабинеты сотрудников от коридора. В большой комнате за стеклянной перегородкой жило-поживало Воронежское писательское отделение. В коридоре у двери к писателям деревянный диван, скамья посетителей-просителей. Здесь и первая моя встреча с отбывавшим тогда ссылку в Воронеж Мандельштамом. Он по коридору скорым шагом расхаживает, что-то бормоча, и посетители взглядывают на него соответственно — с большим недоумением. Он малого роста, шупленький, но с гордо поднятой головой, отчего иным, видимо, кажется непозволительно надменным. Я его не однажды встречал в том коммунаро-писательском коридорчике. Все приборматывал, слегка запрокинув голову вверх, носатый, и впрямь Щелкунчик или Верблюд, как он точно поименован в катаевском «Алмазном венце...»

Но даже в юности, когда все лезло в голову, я прошел, минуя Мандельштама, может, во вред литературному своему обзору. Вот Ахматова — да! Помни-те ее «Рыбака»? Вот это: «Даже девочка, что ходит // В город продавать хамсу, // Как потерянная бродит // Возле моря на мысу. // Щеки бледны, руки слабы, // Истомленный взгляд глубок. // Ноги ей щекочут крабы, // Выползая на песок».

(Я в который раз поразился эрудиции и памяти Владимира Александровича. казал ему об этом, добавив, что еще разве Владимир Гордейчев, наш долговременный секретарь-председатель писательской организации, имеет такую уникальную память — он помнит едва не все лучшие стихи современных поэтов. Он и сам поэт сильный, на мой взгляд, жестковатый, иные строки его не всегда вызваны потребностью лирического чувства. Ну а у кого из нынешних — всегда?)

— У Гордейчева, помимо его творческих забот, нелегкая ноша — наша литературная гвардия. Ему трудно и молодых, и старых в одной упряжи, в одном союзе держать. Ему посочувствуешь. Как справиться с эдакой компанией: писательская организация — третья в стране. Численно третья после столичных — и нынешней, и бывшей! Один мой добрый знакомый не так давно восклицал: «У меня такой же писательский билет, как и у Шолохова». Билет-то, верно, такой же — типовой. Худо, когда и мы, пишущие, — типовые.

— А Мандельштама я в юности читал, и многое нравилось. Мой старший друг Ростислав Подунов исписал его стихами общую тетрадь, и я тогда, в бытность на Северном Кавказе, многое запомнил. Теперь многое позабылось.

27

Разговорились о Катаеве. Вспомнили, что он взрастал на русской классике. Более того, ценил воронежцев — Кольцова, Никитина, Бунина. Меня он мало волнует, хотя его «Белеет парус одинокий», в виде приглядно изданной книги врученный мне в пятом классе как ученику с хорошей успеваемостью, прочитан был без отяжек. Да и «Сын полка» — славная повесть. Но его «Время, вперед», его толстые романы до конца не одолел. И последнее из написанного им, не все принял, особенно — «Алмазный мой венец». Ему, мастерски описывающему эпоху, хочется подняться над всеми и над эпохой, а этого никому не дано.

Владимир Александрович ценит его шире, наверное, жизнь в одном времени немало значит: дает иное знание, отсюда и иное прочтение. Сошлись на сильной, страшной вещи «Уже написан Вертер», ее напечатал «Новый мир», и, мне кажется, снова ее не скоро напечатают.

28

Солженицын и Можаев — друзья. Можаев и Акулов — друзья. Но втроем никогда не встречались.

29

(Разговор о писателях-«деревенщиках». Русские писатели-почвенники и писатели-почвенники Латинской Америки — восстановители исторической, корневой правды о своих землях и народах. Но я это понял слишком поздно. Шумно восхищаются Маркесом, исполать! А Борхес, Аргедас, Кортасар, Астуриас, Фуэнтес!..)

— Да, это две ветви единого мирового литературного древа. Вернее, два корня... Естественно, русские — мне ближе. И тоже — разные. Вот, например,

Евгений Носов — Венецианов в современной деревенской прозе. Хороший, очень хороший писатель, но на иных страницах — некая неестественность слога. Сгущенный народный язык хорош и органичен именно в народной среде — в поле, на свадьбе, в стариковской беседе. А вот Федор Абрамов — сильно без оговорок. Эпически сильно. Его «Пряслины» — могучая вещь. Трагическая и героическая вещь.

— Я с ним встречался лишь однажды в ЦДЛ, куда меня, сказать по правде, никогда не тянуло, я там и бывал не более десятка раз. Но тут нельзя было отказаться: предложил поход в ЦДЛ Иван Иванович Акулов. Можаяев дал прочитать Абрамову акуловского «Касьяна Остудного», тот был удивлен художественной, эпической мощью автора. И попросил встретиться. Иван Иванович и меня пригласил: с Можаяевым мы не раз встречались у Акулова, а жене Абрамова, Людмиле Владимировне Крутиковой, моей доброй знакомой еще с Орла в дни бунинского столетия, я заказывал составительство и вступительную статью к сборнику бунинских произведений; Абрамов об этом знал, и наш стол как-то естественно обозначился как классическими именами прошлого, так честными серьезными именами текущей жизни. Естественно возникли и воронежские. Абрамов ухватился за Афанасьева, Суворина и Бунина. Акулов хвалил «Воронежские корабли»... Еще по-доброму всплывали имена Астафьева, Залыгина, Солоухина, Шукшина, Белова. Из более молодых — Распутина, Крупина, Лихоносова, Личутина.

— Из названных вами молодых с кем встречались?

— С Личутиным на всесоюзном семинаре молодых прозаиков и публицистов в Переделкино, в начале семидесятых. Там разный был народ, мы потянулись друг к другу, за недолгие дни нас сдружили чувства совестливости и нелукавства. У Володи уже тогда пробился завидно самобытный, прекрасный язык. И думали мы сходно о многом, прежде всего о России ушедшей и России текущей. После какого-то время переписывались. Жаль, что далее не выпадает видеться.

— Так часто бывает у людей, родственно близких по душе, по мысли, по одинаковому пониманию, что делается в стране и мире. Могли бы стать крепкими друзьями — а судьба не дает быть вместе. Небольшие страны, скажем, Бельгия или Дания — там близким людям можно каждый день встречаться. А тут — размах на тысячи верст. Вот и вы разминулись с Распутиным в Иркутске, и когда теперь выпадет дорога-встреча... Он мне — по душе. «Прощание с Матерой» — глубоко сердечная повесть, горестная, трагическая.

— Чивилихин — чуткий на дарования писатель. Это он Распутина заметил и сказал поощряющее слово в начале творческого пути. На совещании молодых писателей в Чите. Недавно узнал, что после войны он проходил журналистскую стажировку в воронежской «Коммуне». А его «Память» — честная, сильная.

— Мы с Чивилихиным — в некотором роде земляки. Он родился в Мариинске и был еще ребенком, когда я в том сибирском городке оказался в знаменитом «Централе». Чивилихин — это серьезно. Хорошо, когда человек находит свое слово от сорока до пятидесяти лет. Чивилихин еще поймает много птиц-книг и отпустит их на читательскую радость. Хотя у талантливых людей никогда не знаешь, что будет завтра. Книги радости, книги скорби, а чаще всего — все цвета радуги. Как и в жизни.

(Принес Кораблинову сборник «Русские народные сказки», изданный в «Отчем крае». Как все переплетено в жизни! Несколько лет назад я обращался к Шолохову с просьбой написать короткое предисловие для сборника русских народных сказок (именно он предварил значимым немногострочьем издание пословиц

русского народа, собранных Далем; и русские сказки в обработке Платонова вышли в свет под его, шолоховской, общей редакцией вскоре после войны. Не будь этой общей редакции, может, и книга сказок не появилась бы: и до войны, и после войны Платонов был из почти непечатаемых, опальных). Однако Михаил Александрович постоянно прибаливал. Пришлось обойтись предисловием известного специалиста по фольклору. Составлял сборник сам, отдавая предпочтение сказкам, собранным Афанасьевым на территории Черноземного края).

— *Сказки у нас любят. И сказительницы есть, может, и не так густо, как на русском Севере или в Сибири, но есть. Я когда-то обрабатывал сказки Барышниковой (Куприянихи) и Корольковой. Обе талантливые. Но Королькова все же не Куприяниха. Не той самобытной силы. Куприяниха подлинный самородок. Вся такая простодушная. Небольшого росточка. И бесхитростная. После войны, как и до войны, Союз писателей размещался в здании «Коммуны». Вот она, бывало, доберется из своей Верейки где пехом, где на подводе подвезут, поздоровается и без обиняков спросит, мол, была ли раздача? Имелась в виду всевозможная помощь Литфонда. А Королькова... Однажды предлагает: «Владимир Александрович, вот чего я думаю. Давай вместе напишем сказку про Петра. Баят, его в ЮНЕСКО будут отмечать...» Или — «Как Сталин во Кремле похаживает, золотым перышком помахивает»... и такое было у нее... Притом дар сказительский — несомненный.*

31

(Первая половина восьмидесятых. Тревожность мира. Осенью восемьдесят третьего года сбитый «Боинг» с сотнями пассажиров. «Россия — империя зла», — заявляет американский президент-актер. В начале восемьдесят четвертого — кончина Шолохова. Он — истинно народный писатель. Вскоре смерть генсека Андропова. Кто он, чем для него являлись Россия, Советский Союз? Или?.. Старые и молодые — в политике и литературе. «Архаисты и новаторы»?)

— *Мир меняется быстрее, нежели наша страна. Это, чувствую, опасно для нее. А как быть? В семнадцатом уже резко менялись. Сидья сидеть — потом не встанешь, но и бежать очертя голову — тоже добра мало: или не той дорогой побежишь, или сердце вдруг надорвешь. Мир — не марафонец. Все хорошее растет постепенно. Дурное накапливается и низвергается враз — и в человеке, и в природе.*

32

(Дважды мне предоставлялась возможность оставить Воронеж. Обосноваться в Великом Новгороде — в конце шестидесятых, когда из-за письменной солидарности Солженицыну в родном городе попал в опальные журналисты; обосноваться в Москве — в начале восьмидесятых, когда в Министерстве печати, в российском Госкомиздате был рассмотрен и как опыт рекомендован издательствам России «Отчий край». Оставить Воронеж? Он мой, надеюсь, окончательный причал, продолжение малой родины, расширяющейся во все концы мира).

— *Воронеж... Он нам дорог потому, что здесь поля, дороги и могилы наших близких. Старинные здания усиливают и возвышают память. А нынешний народ... он за век так перекручен, перемолот, что, пожалуй, рязанец или курянин не сильно отличается от воронежца. Великая круговерть двадцатого века тасовала города, как колоды карт, какой город ни возьми — едва не половина пришлых.*

И у всех — по-разному. Для одних город становится судьбой, для других —

это касается и наезжих губернаторов, обкомовских секретарей, чиновников, и творцов искусства, служащих культуры — он мыслится как перевалочный пункт, где можно вдалеке от Москвы побездарничать, вольготно обустроиться и нажать всякого рода капиталец. Вот наши знаменитые краеведы прошлого Второв, Де-Пуле, Марков, или архитекторы такие, как Миронов, — для них город — судьба, и они больше воронежцы, чем многие уроженцы его. Или уроженец Кубани Антон Иванович Башта. Геройский человек. Он и георгиевский кавалер Первой мировой войны. И кавалер ордена боевого Красного Знамени, в сорок втором оборонял отроженские мосты, участвовал в боях на Чижовке — возглавлял истребительный батальон. Много сделал и для защиты Воронежа, и для культуры его. И всю жизнь носил в теле осколки. Слава Богу, он известен городу. Но и так подумаешь: сколько безвестных, немало для него сделавших!

А каким город будет — трудно сказать, но скорей всего его исторический облик разорвут высотками, а в высотках человек чувствует себя хуже: сто или больше ушедших веков бьют его по жилам, по нервам, мол, ты родился на земле, и веками жил на земле, чего же зависишь в воздухе...

33

(Июль 1985 года. Владимир Александрович — в больнице, двухэтажном краснокирпичном доме на Никитинской, где до войны жили секретари обкома. Долгие месяцы не заживает свищ, но самое тягостное, что писателя угнетает: черно надвигающаяся слепота. Сидим во внутреннем двореке — густокронные каштаны, яблони, сквозь ветви пробиваются лучи солнца, изламываясь и причудливо пятная дворовый асфальт. Долго говорим о Бунине, вспоминаем его стихи, любимые обоими: «Там, в полях, на погосте, // В роще старых берез // Не могилы, не кости — // Царство радостных грез»).

— Там, в полях, из века в век длится крестьянская страда. В мире много благодати, ее не уничтожить даже самым могущественным дурным силам. Это особенно чувствуешь не в городе и даже не в деревне, а именно в поле. «Гул молотилки слышен на гумне», помните, бунинское? Или: «Брат в запыленных сапогах // Швырнул ко мне на подоконник // Цветок, растущий на полях, // Цветок засухи — желтый донник». Ни брата, ни запыленных сапог... Разве что засуха... А помните кольцовское: «От возов всю ночь скрипят музыка». Это я еще захватил. По погоде всю ночь — хоть луна, хоть звезды — всю ночь возят снопы, чтобы до дождя управиться. Вот что давало крепость и цельность крестьянскому народу: хлеб насыщенный, немислимый без поэтического, духовного. Эх, надо было смолоду начитывать и запоминать, а то сейчас промелькнет какая строфа — все вокруг будто приосветит. И снова сумерки.

34

(В начале восьмидесятых с писателем Олегом Михайловым побывал в гостях у Леонова. До того, еще в молодости, я читал его «Русский лес», и некоторая, как мною тогда воспринималось, высокопарность слога мешала мне прочувствовать драматизм противостояния Вихрова и Грацианского, пусть образов Вихрова и Грацианского и стоящих за ними сил сбережения природы и убийства природы. Позже прочитал его побольше, Леонид Максимович в языке — велик. Да и не только...)

— Леонов, конечно, велик. Но... то слишком философствует; то орнаментален; то стилизует; то приемами мучает. В нем, например, прием Достоевско-

го — стягивать всех героев в одну залу, комнату, завязывать узел, собрав всех героев воедино. Он меня мало трогает, разумеется, побольше, чем, признаюсь в своей немодности, чем Бабель с его «коралловой» цветистостью. Стилизация всегда вещь рискованная, даже опасная. «Ох ты гой еси!..» — тут много подводных камней. Вот Чапыгин. Примерно в одно время с Леоновым начинал. Чапыгинский «Степан Разин» — замечательный исторический роман. Но читать трудно. Густо стилизован.

35

Встреча с Дубровиным в доме Кораблинова. Воспоминание о совместной нашей с журналистом и писателем Дубровиным, художником Криворучко, фотокорреспондентом Костиным журналистской поездке на Нововоронежскую атомную станцию в 1966 году. И двадцати лет не прошло, а — как целая вечность! А когда-то именно он, Женя Дубровин, замредактора «Молодого коммунара», принимал меня в штат по преувеличенно высокой оценке моей нештатной статьи в одном из номеров газеты, статьи, которая и Дубровину понравилась. Он, писатель, поближе узнав меня, и во мне видел будущего автора — только не сатирических, а лирических, исторических повествований.

А днем раньше мы встречались в доме Владимира Александровича с Василием Павловичем Криворучко, чтобы за большим столом более обстоятельно проработать проспект будущего альбома о Воронеже, где предполагались вступительные строки Кораблинова, рисунки Криворучко, мои стихи.

...Глазами — из более позднего времени. Зажигающийся, брызжущий искрами таланта и энергического, радующего людей характера Василий Павлович, степенный, неторопливый в движениях и голосе Владимир Александрович и я, вечно хватающийся за сто начинаний и потому живущий в разрыве времени.

Нет, не был нами подготовлен альбом о Воронеже. Менее того, я даже не нашел полдня заглянуть в мастерскую художника, где он воодушевился нарисовать мой портрет в проеме узкого церковного окна, и я даже несколько раз терпеливо-нетерпеливо стоял у окна его мастерской, исполняя некое подобие позирования. А за портретом во весь рост так и не пришел. И где он теперь? Не сохранился, как не сохраняется многое, и как не сохранится все земное — не только художественное наследие?

36

(Молодые имена, книги и страницы, стихотворные строки которых благожелательно приняты Кораблиновым, — Евгений Титаренко, Станислав Никулин, Евгений Новичихин, Василий Белокрылов, Иван Евсеенко, Виктор Кузнецов, Эдуард Ефремов, Владимир Шуваев... Такие разные по жанру и мысли, и по характерам — естественно.)

— *Говорите, что со многими дружны? Это хорошо. В творческой среде подчас — не до дружбы. Нередко иное состояние — состояние душевной вражды, идейной борьбы... разные нравственные и бытовые взгляды и уклады. Тут, может, немало значит и само писательское занятие — напишешь или рассказ, или цикл стихов и поднимаешься из-за письменного стола со смешанным чувством: талантливое? или пригодное разве что для корзины? А на коллегах не хочется выглядеть сомневающимся. Вот и получается, как вспевливой строфе Блока о поэтах, надменной улыбкой друг друга встречающих.*

(Осень 1986 года. Рассказал Кораблинову о поездке на родину Прасолова. Ивановка на юге Воронежской области, одна из множества славянских Ивановок — уходящих. Написал несколько эссе о поэте и позже опубликовал их в его родном «Молодом коммунаре». Избран председателем комиссии по литературному наследию Прасолова).

— *Это хорошо. Почему хорошо? Вы и земляк его, и поэт, знавший его, кому же, как не вам, позаботиться о его литературном наследии?*

— Трудно подвигается. Вот удалось открыть фонд памяти Прасолова... переслал первый «взнос» — тот одиноко и завис... И по мемориальной доске, и по именной улице, именной библиотеке враз многого не добьешься. Сборник воспоминаний... может, все-таки напишете о нем, Владимир Александрович, — снова начал я.

— *Боюсь братья. От воспоминаний о Задонском я отказался, хотя я ему и благодарен по жизни. Он щедр и находчив был на помощь. Но в нем много было торгашеского, предпринимательского. А здесь иное. Боюсь, Прасолов по моим воспоминаниям был бы слишком литературен, выдуман. У него — острыми гранями в жизни. Действительно, земля и зенит. И яма, и высь. Эти запои... Отчего они? Бедное полусиротское детство? Сложное приятие-неприятие идущей мимо жизни. Пьяный — он недобрый, какой-то обиженный был. Странное выражение испуга в глазах. Мне это знакомое. У меня есть фотография, мне один год, так там сходное выражение. Бывает, оно переходит и во взрослую жизнь. Ему, этому выражению, не доверяют квартиродатели, на квартиры не пускают. Но чего об этом, это не главное.*

Прасолов был по-своему сокровенный человек. Он берег свою литературную биографию. Ни на кого не жаловался, не сваливал, не хныкал. После двух отсидок — две книги стихов. И какие сильные стихи!

(Много пишут о повести «Белый Бим Черное ухо» Троепольского... Мне больше нравится его повесть «В камышах». Может, это лучшая его вещь. А «Белый Бим черное ухо»... люди всегда скучают по теплоте. По добру. Рассказы о лошадях, о собаках всегда охотно прочитывались. Сотни книг про собак — слабее, сильнее...)

— *«Белый Бим черное ухо»?.. Радует, что его так широко читают. Скажем честно, что наши книги — это не какая-нибудь «Джиоконда», которую надо украсть. Обычно лежат, пылятся.*

Гавриилу Николаевичу в чем-то везло. А в чем-то он настоящий страдалец: один расстрел отца-священника — каково пережить!.. Слава Богу, человек он крепкий, достаёт сил и представлять на всякого рода съездах, конференциях, и даже в больших и малых застольях.

(Не скажу о застольях, я с Гавриилом Николаевичем на застольях не соседствовал. Зато несколько раз разделял с ним его страсть — шахматы. В писательском доме его нередко можно видеть склоненным над шахматной доской: сражается то с Ваней Евсеенко, то со Стасом Никулиным. Бывает, что и четвертинка при сем, но в редкость. Проигрывать Гавриил Николаевич не любит.)

При моих встречах с ним обычно отводим время и душу в беседах о крестьянском мире, придонской природе, тесном человеческом и машинном натиском, а еще — о литературе настоящей и литературе околелитературной — скорохватной, пустословной по чувству и мысли плоской.

У меня с ним, сказать бы поточнее, хорошие, но не всегда ровные отношения. Случаются и недоразумения. Мой рассказ «Вишня», подвергнутый критике с разных сторон (партийной, литведческой и старописательской), перед обсуждением в писательской организации Троепольский искренне, признательными словами хвалил, но на обсуждении не защитил — промолчал; только и отозвался, что все необходимое уже сказал автору. Когда позже к сборнику «Родное Черноземье» он написал предисловие, я опрометчиво предложил уместные, на редакторский взгляд, косметические, стилистические правки. Писатель пригласил меня домой, стал сетовать, мол, со старым человеком — резкое обхождение. Но далее все обрвалось, редко, но по-доброму встречаемся.

...Незадолго до кончины Гавриил Николаевич, всегда жилисто крепкий, как сильный вяз, а теперь явно ослабший, у здания «Магистрата», в котором соседствовали литературный музей, писательская организация и журнал «Подъём», после взаимных приветствий остановил меня и вдруг стал, что называется, изливать душу, словно близкому-близкому человеку. И все повторял: «Будьте вместе с Беловым, Носовым, Распутиным...» Разумеется, я не стал напоминать ему, зачем же он тогда ушел из традиционного писательского союза, где и Белов, и Носов, и Распутин. Проговорили мы — в основном он — около часа, и я, боясь, что ему нелегко стоять, даже прислоняюсь к каштану, просил его подняться наверх, чтобы не спеша потолковать о наболевшем в тиши писательского этажа; он даже сделал было шаг, а потом устало махнул рукой. И медленно направился к Кольцовскому скверу... Это была наша последняя встреча).

39

(Великие художники. Сколько их! Разумеется, наиглавный художник — Природа, и это величавое чудо Бога великие художники навечно запечатлевают. А авангардисты додумывают, чего в природе нет. Полагают — небывалое. Почему же? В закромах у дьявола всякого хлама достаточно на сей счет. Но, надеюсь, и при дурных временах, погодах, властях не удастся им изжить мировую и русскую классику. Рафаэль. Боттичелли. Рублев...)

— Если ближе — Нестеров велик во всех своих темах. Великое душевное воздействие, что ни возьми: и его соловецкое «Молчание», и его «Философы» — религиозные мыслители Флоренский и Булгаков, и, конечно же, его религиозно-православные мотивы — «Видение отроку Варфоломею», шествие монахинь, инокинь со свечами в руках. Перед его картинами понимаешь, что человеку главное не кресло во житейское удобство, а искра Божья, святая свеча. Помните у Бунина: «Но этот крест, но этот ковшик белый, // Смиренные родимые черты».

— И для меня теперь любимый художник — Нестеров. И еще целая плеяда духовных и историко-патриотических художников. Рублев — особая страница. Но и Иванов, Крамской, Перов, Васнецов, Суриков, Рерих, Верещагин, Корин...

А в юности я потянулся к художникам неравновесного, неестественного восприятия и отображения жизни. Меня волновал лермонтовский «Демон». И Врубель с его «Демоном поверженным» волновал необычайно. Нравились художники, видящие мир в изломанных формах. Чем-то притягивал и Филонов, и особенно Петров-Водкин. Правда, «Черный квадрат» Малевича, как и далекий Пикассо, мало тронули... Если говорить о западных — мне нравились, кроме средневековых итальянцев, голландцев, немцев, Эль Греко, Гойя, Ван Гог, французские импрессионисты.

— Глазунов... *Нестеровская Русь* — не то, что глазуновский фотомонтаж. Эта его знаменитая картина, где целый иконостас исторических личностей — полководцы, политики, писатели, художники, духовные подвижники. Застылая картина. А Россия десять веков в движении. И многовековую Россию можно увидеть и в маленькой девочке, бегущей через луг, и в утре стрелецкой казни, и в прощании славянки, провожающей Россию на страшные войны, и во взлете космонавта — уроженца смоленского городка. Глазунов, как и Криворучко, наш искренний друг Василий Павлович, глазами и сердцем видят более всего Русь историческую, ушедшую. Они, может, и повторяют традиционное, а как можно миновать лучи от полотен Верещагина, Васнецова, Сурикова! Да и кому позволено, кроме разве белинских, стасовых, ставить печать — золотую или свинцовую — на творчество художника?!

— И у Глазунова, и у Криворучко главное, по-моему, любовь к России. И прежде всего к Руси былинной, Руси православной... — Кораблинов согласно кивнул головой, а далее не продолжил, а сказал неожиданное.

— В Углынце однажды, в дни гражданской войны, кажется, в году двадцать первом иконка «поновила» в избенке одной чернички. Это когда она словно дополнительный свет обретает и когда краски на ней словно вчера положенные. Самое забавное, что иконку ту нарисовал я, учась в художественных мастерских и начитавшись книг о древнерусской живописи. Каждому времени — свой плод. Пройдет четверть века, после страшной войны во множестве появятся художники-маляры, которые в день умудрялись дюжину полотен изрисовать. Все лебеди да русалки. Столько их развелось, что, оживи они, стали бы самыми многочисленными особями в природе. Да я и сам, грех был, рисовал их.

— Правда ли, сейчас в издательствах, редакциях иных журналов и газет прелюбопытные нравы? Ты писатель, когда при тебе конфеты, коньяк, шампанское? Все по-новому. Впрочем, я это новое учуял давно. И в столице, и даже в провинции. Помню, за «Воронежские корабли» столичное издательство более полугода не платило после выхода книги в свет. Советуют: туда ехать надо! Да какой из меня московский гость! Тут до соседней улицы в тягость добрести. А сказывают, что сейчас — были б деньги — можно заказать хвалебную рецензию на недостойное похвалы сочинение. И само это сочинение тоже напечатать, был бы наш «коллега» без совести да при денежном кармане.

(Разговорились о военной прозе. Прозе окопных лейтенантов, прозе окопной правды. Некрасов, Бондарев, Бакланов, Воробьев, Курочкин... достаточно длинен этот список, конечно же, бесконечно сокращенный залпами войны).

— Знаете, меня более всего пронзило «Крещение» Ивана Акулова. Я долго вглядывался в его портрет. Вроде бы некрасивое, самое простое русское лицо. Но в нем есть что-то истинно притягательное. Чувствуется, что это — честный человек. Большой скромности. Болеющий за народ. Я несколько книг его прочитал, пишет правдиво и смело.

— Только о нем мало пишут. Вот Можаяев роман Акулова «Касьян Остудный» назвал уральским кряжем. И действительно — кряж. Действительно — явление. А трубят о растолкай-молодцах, хватких, всюду поспешающе-успевающих.

— Ну и что ж, он такой человек, что локтями не работает. И секретарских кресел избегает. Вон о секретаре писательского Союза, воронежце Михаиле Шевченко пишут так, что можно подумать, что он уже затмил Тараса Шевченко — Кобзаря. Помните мое семидесятипятое, вечер на главном проспекте? Из Москвы приехали Песков, Шевченко. После торжественной части — «чай-зелие». Песков ушел, он никогда ни в шумных, ни в тихих выпивках не участвует. А Шевченко остался, две-три рюмки, и уже он душа общества, веселый рассказ о веселых приключениях дома и за границей, гитара и прочее...

— Михаил Шевченко и вправду, сколько его знаю, распахистый, широкий человек. И готовый откликнуться, помочь; я, например, просил его посодействовать в приеме в писательское сообщество молодых авторов книг, которые редактировал, и он помог. Земляк с добрыми чувствами землячества. Секретарское кресло кому-то мешает, кого-то в собственных глазах приподымает, а кому-то оно дает возможность помогать не самым плохим людям).

— И то, и другое, и третье, пожалуй, верно. Во всяком случае, на своем веку мне приходилось встречать разных, разнообразных обладателей чиновного кресла.

(31 июля 1986 года. 80 лет Владимиру Александровичу. Давно он уже не отмечает своих «летий», не бывает на всякого рода торжествах в торжественных залах.

В двенадцать часов орден Дружбы народов вручил писателю на дому первый секретарь Воронежского обкома КПСС Игнатов, с ним — первый секретарь обкома комсомола Ёжиков, завотделом культуры обкома Синицын.

Поздравляли от писательской организации — Троепольский, Кретова, Прудковский, Пылев и я.

Сколько знает история, да что история, сколько было на нашем веку известных, много и щедро хвалимых писателей, шумевших о добре, но внутренне черствых, холодных и даже злых, кричавших о справедливости, всемирной причастности ко всем и вся, но занятых лишь своеустройством. Возлетающие и опадающие, как лозунги. По счастью, у Владимира Александровича и слово и дело, слово и душа вне разлада, душа отвечает за слово. Показательный штрих: у Кораблинова нет никаких государственных, правительственных или хотя бы «отраслевых» премий. Что ж, и у Платонова премий никаких не было. И у Булгакова — тоже. И у скольких — вовсе с прерванной строкой, замолчанных, оболганных.)

— Вот орден Дружбы народов, — мягко улыбнулся Владимир Александрович. — Чуть-чуть не ко времени. Мы с вами по части зелий никудышние празднователи. Нам орден разве в стакан чаю опустить, чтобы не избегать фронтовой традиции. Согласитесь, что это такая условная штука — орден. Почему — Дружбы народов? Да может, люди воевавшие или и ныне воюющие и проявляющие милосердие, спасающие чужих детей ценой собственной жизни в сто, в тысячу раз достойнее быть награжденными именно этим орденом. А они или безвестными полегли в случайных могилах, или миру безвестны. Куда мне с ним? Есть похватливая публика, у которой деньги к деньгам, ордена к орденам, премии к премиям. Да для этого надо суетиться, в Москве почаще бывать. А я и в молодые годы неохотный был ездок-добыватель. А льготы — как же писателям без льгот? И грустное, и забавное. Пришвин еще до войны получил орден «Знак Почета», так он его в нагрудном кармане носил, а извлекал, когда надо было приобретать билет в железнодорожной кассе.

— Пришвин, как и вы, был без государственных премий. А тоже, думаю, заслуживал. У нас его по-настоящему не знают. Когда мы в «Отчем крае» готовили с вдовой писателя Валерией Дмитриевной сборник пришвинских произведений, она

дала мне почитать кое-что из его дневника. Пришвин — большой мыслитель и писатель недооцененный. Зацитированное «Любить природу — значит любить Родину»... верно, справедливо. Но вовсе не весь Пришвин в этом. У нас его по-настоящему мало знают. Глубокий писатель.

— Да, он стоял особняком. Он старая школа, классическая. Недаром среди его знакомых и близких был Бунин...

44

(Долгая беседа — о советской державе с ее высотами и пропастями, о России, о выдающихся русских людях двадцатого века. И нечаянно, вольно или невольно в ряду выдающихся, ныне живущих, называем воронежцев: Стукалина, Пескова, Воротникова. Да, они нам близкие люди, кто больше, кто меньше. Разумеется, даже «воронежский» список имен выдающихся можно продолжить, но мы разговорились именно о троих. Я рассказал Владимиру Александровичу росошанский эпизод из секретарской жизни Воротникова. Казалось бы, пустяк. На летнем, от жары горячем поле первый секретарь обкома спросил, есть ли какие просьбы. Свекловичницы, народ бедовый, весело, внежалобно ответили, что у них все есть, — и хорошие мужья, и хорошие дети, — разве что термосов нет, а они бы сгодились в жаркие дни. Термос тогда был великий дефицит. Секретарь пообещал. Прошло две недели, три, — свекловичницы махнули рукой, мол, обычное дежурное обещание, — и вдруг приехала машина и привезла термосы.

Обязательность Стукалина — вообще притча во языцех. Это его непреложное правило: пообещать — исполнить. Сколько классики, сколько книг для детей издано при нем! А «Библиотека всемирной литературы» в двухстах томах! Или Булгаков, Кафка, Мандельштам, прежде не печатавшиеся и «разрешенные» к печати именно Стукалиным.

Песков — какое счастливое сочетание дара человеческого и профессионального, журналистского. Его «Глаза ребенка» — верней, лаконичней, проникновенней трудно сказать о красоте и тревоге человечества. Его «Отечество»! — можно ли лучше словами и снимками поведать о нашей Родине?! Потомки будут воспринимать книгу как благодарную поэму о Родине, одну из прекрасных книг. Только будут ли?)

— О том и тревога. Вы помните репортажи Пескова о полете Гагарина? И первый космонавт был во всем хорош, и слово о нем было замечательно душевным, и, казалось, столько непорушимой мощи было у страны! А теперь — какая-то трещина идет по родной земле, мы чувствуем, как она разрастается. Наверное, если бы побольше было таких людей, как названные земляки, жизнь бы развивалась разумней и отрадней. Скажем, Воротников и солидарные с ним помощники совершенствуют государственную систему; Стукалин и его единомышленники-помощники возделывают поле культуры и литературы, горизонты образовательные, просвещенческие; а Песков... сейчас, наверное, и не найти хоть чем-то похожего журналиста, чтобы столько было в слове душевной теплоты и простоты, добра, улыбки к человеческой простительной слабости, восхищения подвигом... И какое незамутненное чувство родины!

45

(Ушедшие, уходящие литераторы. На писательском правлении и далее на писательском собрании я произнес нечто вроде укорной, но и призывающей речи: мы невнимательны друг к другу, живущим, неблагодарны и к памяти ушедших; предложил отмечать Дни памяти не только ширококочтимых писателей, но и скром-

ных по общественному признанию, однако смогших высказать, чем болели души в их дни).

— *Это хорошее дело — помнить. Иначе немногим человек отличается даже не от дерева или травы, а от груды камня в каменоломне. Вот Кубанев — его по-настоящему всесоюзному читателю явил Борис Иванович Стукалин. Да, «идут в наступление строки». Понятно, что Кубанев — при его крепких строках в стихе и в публицистике — только-только начинал. Он бы вырос в большого поэта и публициста, может, и прозаика, это мы видим, читая собранное кубаневским другом — Стукалиным. А сколько у нас позабытых. Или вовсе не знаемых. Я уже не говорю про поэтов-земляков, вынужденных в гражданскую войну оставить Родину, уйти в зарубежье. А вот Костя Козлов. Он родился, помнится, в Верхней Тойде бывшего Бобровского уезда. Недолгое время работал ответсекретарем «Воронежского альманаха». Рано, двадцати восьми лет, сгорел от туберкулеза. Даже не успел увидеть напечатанным свой поэтический сборник. А поэт был хороший, стихи доверчиво открытые, чистые, истинно лирические.*

46

(Май-травень 1987 года. Поездка в Запорожье. Творческая бригада — поэты Николай Белянский, Виктор Панкратов, Виктор Самойлов, Сергей Пылев и я. Сильное впечатление: остров Хортица, Днепрогэс, «Запорожсталь». Год прошел, как взорвалась Чернобыльская атомная станция. Читал «чернобыльские стихи» и в городе, и в селе. Везде принимали с благодарностью. А в стране происходят вещи незаметно чернобыльские. Например, в сельской местности Запорожской области люди, узнав, что будут строить шахты, поразъехались кто куда. Оставляемая родина — не от войны, не от климата, не от голода уходят, а от шахт, рнящих утробу земли, от технического прогресса — прожорливого спутника капитализма. Капитализма — да! А социализма — с его гигантскими стройками, рукотворными морями, бесконечными плотинами?)

— *От этого теперь никуда не деться, — более чем всегда замедленно сказал Владимир Александрович. — Полезные ископаемые — экое милое сочетание. На мой старомодный, консервативный взгляд... что отрываем у природы, то отрываем у человека; уничтожаем природу — уничтожаем человека; преобразовываем природу — преобразовываем человека. А что такое преобразованный homo sapiens? Не знаю, но, по-моему, что-то очень враждебное традиционному человеку в его высоком духовном назначении.*

47

(Июнь 1987 года. Поездка воронежской писательской группы в Чечню. Среди гостей Грозного — Люфанов, Новичихин, Никулин, Ионкин и я. Что-то тревожное нарастает в межнациональных отношениях, может, оттого слаживаются все эти делегации культуры... хотя самыми благими словами и настроениями таких делегаций, разумеется, не скрепить разрываемого, а где-то и рвущегося союзного полотна. Торжественная встреча в Чечено-Ингушском партийном обкоме, еще более торжественная и душевная — в республиканской библиотеке имени Антона Павловича Чехова. За неделю проехали едва не всю Чечню — Ножай-Юрт, станции Старогладковская, Шелковская, Гудермес, Урус-Мартан, Валерик).

— *В Валерике вас, полагаю, радушно встречали? Помнится, вы рассказывали, что ваш фельетон помог достроить в Валерике водопровод и местные старожилы благодарили вас.*

— Встречали так — как некоего геройского и близкого родственника, вернувшегося издалека. Женя Новичихин об этом в разных изданиях писал. Всем был оказан прием радушный. Даже водки-вина-коньяки вдосталь выставили на застольном ковре у речки Валерик, а тогда антиалкогольная «борьба» была на самом пике, и в других районах для нашей группы винной скатерти-самобранки не растилали. Иные мои ученики повыбились во власти разноуровневые и возглавили встречу гостей. Мы побывали в школьном музее, созданном тщанием и увлеченностью учительницы Асет Ульбиевой, когда-то моей ученицы-пятиклассницы-шестиклассницы, в которой уже тогда чувствовалась глубокая натура. А через многие годы увидел я настоящую подвижницу культуры.

— *Хорошо, когда в мире есть душа, которой ты давно-давно смог дать что-то доброе, хоть крохотку доброго. И прекрасно, когда та душа умеет быть благодарной. Даже в самых темных, злых, пригнетающих обстоятельствах душа человеческая способна быть светлой, доброй, свободной. Она — щедрое дарение свыше, и для меня рай действительно существовал бы, если бы там встречались родные души.*

48

(«Слово о полку Игореве». В августе 1987 года поездка с сыновьями в степь к притоку Северского Донца — Белой Калитве, по иным историческим версиям, будто бы к той самой неуловимой Каяле-реке, где восемьсот лет назад сошлись русские и половцы в сече, в которой князь Игорь был пленен. На просторном косогоре — памятник князю и дружине, хотя где именно состоялась та битва, едва ли кто и когда-нибудь скажет достоверно.

У памятника — острое сухотравье, наброс бутылочных осколков, видать, хмельная молодая дурь, швыряя бутылки, опробывала таким образом прочность не только кубического, в землю вросшего постамента, но и прочность головы князя. Старший мой сын Игорь, словно обидясь за своего тезку, возмущился: «Словно орава пьяных половцев прискакала из двенадцатого века и заново поквиталась с князем Игорем...», на что младший сын Олег, природно благотерпимый ко всем племенам и народам, возразил: «Какие половцы! Славянские молодцы, местные молодые не знают, куда деть себя, свои силы, свои руки»).

— *Да уж что-то, а небрежными, безалаберными и к своей земле, и к своей истории мы научились быть. Пусть даже это условная пядь памяти, истории, но лучше же, когда бы на том косогоре сад рос, и были бы беседки для отдыха, дорожки для гуляний в шпалерах кустарников, скамейки, ряды полевых цветов. Детям-то на чем возрастать?*

— Среди многого другого существенного — читая и перечитывая «Слово о полку Игореве». Правда, снова и снова ученые не перестают сомневаться и спорить, не мистификация ли здесь? Французский исследователь Мазон...

— *Мазон, харьковский уроженец? Так ли уж глубоко проник в поэтическую тайну целой эпохи?! —* вдруг оживленно, словно на миг утратив обычную свою степенность, неторопливость, приостановил меня Владимир Александрович. — *Не говорю, что не могут ошибаться Пушкин или Карамзин, считавшие «Слово...» подлинным; или что не могут ошибаться современные крупные лингвисты, историки, писатели, хотя думаю, что в совокупности они видят рассматриваемый предмет глубже, чем Мазон. Допустим даже, что «Слово...» — мистификация. Но гениальная. Без «Песен Оссиана» Макферсона или «Песен южных славян» Мериме литература была бы явно обедненной.*

Я люблю перечитывать «Слово о полку Игореве» и в подлиннике, и в переводах Жуковского, Майкова, Заболоцкого. А еще радость для меня — любоваться

сопутствующими гравюрами Фаворского. Замечательный художник, он исторически и поэтически увидел Русь, в его гравюрах есть нечто и позднейшее, и раннехристианское. Впрочем, не это главное. Главное, как и в самом «Слове», в гравюрах — столько поэзии, столько любви к природе и русской земле!..

49

Не первая моя поездка в бунинское подстепье. Теперь, в августе 1987 года, — с Иваном Ивановичем Акуловым и его женой, кроткой, обаятельной Галиной Григорьевной. За рулем машины — сын Игорь, так что мне легко и свободно отвечать на распросы гостей, больше — о людях и землях воронежских, орловских. В годы войны Иван Иванович в здешних краях воевал. Писатель хотел увидеть бунинские уголки в Ельце, а также Воргол, Бутырки, Озерки, Каменку, Васильевское. После возвращения он попросил о встрече с Владимиром Александровичем Корблиновым, с которым виделся лишь однажды, лет десять назад. Как славно было слушать вроде бы и обыденный, но в то же время глубокий, исполненный сердечности, душевного согласия и доверия разговор двух больших писателей о больших именах Отечества, истории, Родине, о ее тревожном будущем!

50

(Осень 1987 года. Поездка в Чехословакию. Прага. Брно. Городище Микульчице. Древняя столица моравской земли, где было положено начало православному миссионерскому служению равноапостольных Кирилла и Мефодия. Среди берез — памятник славянским духовным просветителям. Вокруг следы археологических раскопок, дыхание старины, тишина. А в не столь далеких отсюда верстах-пределах Оломоуц — вселенски знаменитый Аустерлиц. Битва трех императоров, трех монархов, разумеется, оставшихся в живых, но положивших десятки тысяч несчастных из разных стран и народов. Грохоты боя и салюта, кажется, и доньше слышатся под Аустерлицем. И, долго бродя по неисходимому тому страшному клину земли, думал, насколько поле-нива прекрасней и благодатней поля битвы.

При встрече после поездки разговорились с Владимиром Александровичем о том, сколь важно путешествовать, бывать и в родных далеких краях, и в зарубежье. Хотя Сергей Радонежский далее околomosковских земель не паломничал, а какие духовные горизонты увидел! Да и Пушкин нигде кроме Российской империи не бывал, а как постиг Испанию! У Лермонтова с его даже космическими взглядами география «личная»: Москва, Петербург, Подмосковье, Тарханы, Кавказ.

А если о нас, то у нас по-разному. Владимир Александрович путешествовал и по своей, и не по своей воле. Я, впервые в журналистской командировке, выправленной в Ростов-на-Дону, поселенный в номер-люкс с телефоном, изумлялся: за какие доблести мне все это? Не землепашец же, не крестьянин или рабочий, — не в тяжелых трудах?)

— Двигаться всегда полезно. Хорошо, что исходили сначала воронежские деревни, свой уезд, а затем двинулись дальше.

— Хотелось бы исходить всю Россию. Хотя еще в молодости почувствовал — не осилить. Тогда я наметил себе культурные уголки, литературные пенаты, поля битв. Случалось, иные географические точки исхаживал по несколько раз. Другие — не совсем обычно и не совсем обыденно. Куликовскому, Бородинскому полям не только день летний, осенний отдал, но и лунные ночи прихватил. Так же было с блоковским Шахматовым. А есенинское Константиново — в день солнечный.

— Прекрасный удел — путешествовать в молодости. Куда прекрасней, чем погружаться в праздники, удовольствия и водочные затяжные застолья. Многие на этом сгорают.

51

(У Кораблинова среди любимых и не раз прочитанных — Аксаков, Гоголь, Лесков, Достоевский, Толстой, Бунин, Булгаков, Шолохов, Замятин...)

— У нас столько писателей в былые годы старались укоротить, окорнать, дать не в полный рост. Вот Лесков... «На ножах» — блистательный роман, а в собрании сочинений его нет. Между тем вещь своеобразнейшая и жутковатая, для меня очевидное, Федор Сологуб в своего «Мелкого беса» изрядно вливал оттуда, по локти залезал обеими руками. Да и Ремизов, и Платонов тоже без пользы ознакомились с Лесковым. Читаешь, например, нашего земляка, — вот он, неповторимый Платонов. Неповторимый, но в чем-то уже повторяющий более ранних, там корешки и лесковские.

52

(1 ноября 1987 года. Углянец. От былого сохранились разве что география улиц да основательно порушенная церковь, кладбище вокруг; через ложок — улица, на которой жила семья Кораблиновых, ныне улица Ломоносова, 75 — былой дом священника. Прежде на улице вздымались большие деревья, теперь устояли только за церковью, где некогда располагался барский парк. Старые дубы выглядят мощно, их, конечно, видел Владимир Александрович и в детстве, и в последний свой приезд сюда. Теперь здесь заводской корпус, размашистые дома-особняки, машинно-мотоциклетный гул...)

— Мне теперь уже не побывать в Углянце. Да если бы и побывал, что бы я слепыми глазами увидел?

— Но вы написали такие строки о родном селе, что его мысленно видят во многих уголках страны, не говоря уже о Воронежской земле.

— Это скоро забудется. — Долго молчал и вдруг: — Представьте непредставимое: мой отец и маленький я идем в церковь, какой-то большой праздник, может, день Троицы, церковь полна народу, отец поднимается на амвон... Только «Никогда не взойти солнцу с запада», нам Кольцова надо вспоминать почаще, особенно в минуты, когда остро чувствуешь, как жизнь приближается к концу.

— Жизнь человеческая... От детства до старости — один шаг. А сколько жить человечеству — ни один футуролог не предскажет. Откуда главные угрозы исходят и сколько их — вроде бы и понимаем, а сами наращаем эти угрозы. Техногенные. Экологические. Социальные. Теперь уже и на космос смотрим как на городную территорию.

— Мы хоть и послали в космос сотни спутников, мало чего достигли. Разве что замусориваем небо так же успешно, как грешную землю. Где там живут инопланетяне, для чего они интересуются нами, если только интересуются, хотят ли с нами по-хорошему договориться или ждут, когда переполнится их чаша терпения, и направят на нас оружие нашего конца? А мы, земные грешные люди, меж собой договориться не можем. Горячие войны, холодные войны... Опаматоваться бы нам: сколько видимых и невидимых угроз для человечества! Пойдут ли техногенные разломы в глубинах земли, Мировой ли океан затопит континенты, небесный ли метеорит испепелит земную твердь...

(Поездка с писателями из разных концов страны в Италию в сентябре 1988 года. Милан, Падуа, Венеция, Орвиетто, Флоренция, Рим... Рафаэль. Микеланджело Буонарроти. Фрески Страшного суда. Боттичелли. Джотто. А в последний день — современные итальянские литераторы, журналисты, ученые. После встречи в доме советско-итальянской дружбы иные из них, знавшие Советский Союз, не раз бывавшие в нем и увидевшие неповторимое, достойное, массово-культурное, в немалом удивлении допытывались у нас и увещевали нас так, словно мы были первые лица государства: что вы делаете? Перестройка превращается в испытание более чем странное. У вас лучшее в мире образование. Лучшая в мире фундаментальная наука... Вы же страна Победы! Страна Гагарина. А куда теперь взяли лететь? Вас, поверьте, изменят, и вы не сможете творить, как прежде, великой культуры. Она, настоящая культура, не будет нужна ни в вашей стране, ни в мире).

— *Как ни тревожно на Земле, надеюсь, правда восторжествует. А правда — в русской душе, сколь ее ни засоряют сорняками. Некорыстной и открытой душе, готовой откликнуться на любую боль. Где это еще видано, чтобы выбежать из дому на помощь страдающему, гонимому, побиваемому?! Широка страна родная, во все стороны земного шара широко распахнута, может, и оттого — и любовь к родине, и тревога за всю планету, но не праздное жительство на планете в качестве всепланетных человек.*

Еще великие страдания будут. Может, и восточное нашествие падет на нас. Не обязательно восточное, но какое-то будет. Но мы устоим. Или так: мир все-таки придет к русскому — духовному, душевному.

— Западнему, американизированному, синтетическому от ботинок до сердца любимцу прогресса нужно ли все это? Что ему до наших страданий и зачем ему вообще страдания, если не за горами — эра вечного смеха, смехачества, вечного наслаждения?!

— *Хороший народ вырубить, или так: лучших в народе вырубить — все равно что тысячелетний дубравный лес вырубить. А вот шелупонь воспроизводится, амёбы густо делятся. Так что может случиться долговременная их власть и в стране, и в мире. Едва ли тогда будут вспоминать или равняться на былые цивилизации. Тогда правящей мировой верхушке определенно будет не интересен духовный поиск русского человека. Поживем — увидим.*

— Мало того что властные верхи (не все, разумеется) — какая-то полупредательская, если не совсем предательская напасть. Наверное, еще не раз вспомнишь слова Блока, что бедную Россию еще не раз предадут. А с другой стороны, и сам русский человек — словно предает самого себя. Эта его (Буниним так разительно увиденная) страсть к самоистреблению, страсть к выпивке, великие загулы и великие похмелья. Близ моей малой родины в хуторе Оробинском, на юге области, есть дом вроде психбольницы в Орловке, — смещенное сознание на почве алкогольных запоев и зачатий.

— *Пьянство — беда народная. Слабоумные, с рождения больные, в пьянке зачатые. Поколение слабоумных! Это в России-то слабоумные? Где один мужик двух генералов прокормил! После стольких столетий отечественной крепости — вдруг полоумные, полуидиотские улыбки... Хлебный край — и в чистом поле дом психически неполноценных? Жуть. Раньше на все село два-три пьющих до положения риз. А ныне на все село разве два-три непьющих. Женщины пьют хлеще мужчин. Что-то с нами происходит такое, что, тяжело говорить, и в яме можно очутиться.*

Однажды я встретился, вернее, подружился в Песчаном с человеком, друг

которого в войну предлагал ему, когда уходили на фронт и шли гурьбой мимо леса, бежать и отсидеться в лесной яме. «Нет, — сказал тот человек, — из войны как-нибудь — известным или безвестным — можно выкарабкаться, а из ямы — не выбраться, нет!»

54

(Разговорились о поэзии классической и поэзии современной. Пушкин, Лермонтов, Бородинский, Тютчев, Некрасов, Блок. И разительное современное понижение планки... А какие аудитории собирал тот же Евтушенко и иже с ним... И теперь ему хочется всюду поспевать, да что они теперь, по всякому поводу откликательские и будто для эстрады изготовленные его стихи? Многие испарились, как только открылась дверь).

— *Евтушенко? Евг.? Да уж очень ему хочется быть всеми знаемым и всеми любимым. Столько позы, что на дюжину дурных театров хватило бы. А ведь не двадцать лет. Эти его литературные бега, эти поэмы, вроде «Мамы и нейтронной бомбы», его к месту и не к месту вскрики о братстве всемирном... В русской классике серьезно, а здесь, как в чеховской свадьбе, помните? Грек и русский напиваются и беседуют. «А что есть в Греции?» — «В Греции все есть». Все хочется иметь российско-англо-американскому поэту, а нет самого необходимого — глубины мысли и чувства, сострадательности действительной, а не эстрадной. Многое — заемное.*

— *«Туманны Патриаршие пруды»... хорошая строка.*

— *Хорошая строка случается и у плохого поэта. Грустно, что многие люди оболъцаются поверхностным, мнимым, а значительное, жизнестрадательное тихо, по-сиротски ютится в сторонке.*

— *Все-таки и значительное, жизнестрадательное, как вы говорите, чувствуется людьми сразу. Вот Рубцов. «Тихая моя родина...», или «В горнице моей светло...», или «Русский огонек» — зацитированное. А Рубцова никто не «надувает», подобно резиновым шарам. Подлинные поэты, как родники, пробивают даже бетонные или иные заглушки.*

— *У Рубцова — «Сосен звон». А у Клюева — «Сосен перезвон». А Клычков, а Орешин, а Ганин, или Павел Васильев — многие ли молодые о них знают? Перечень прекрасных и трагических поэтических имен не вместить и в общую тетрадь.*

55

— *Егор Исаев поэт «Егоровой реки» Геннадия Луткова в люди вывел, — сказал Владимир Александрович, усмехнувшись. — Правда, я тому же Луткову сочувствую. Началось побивание камнями последнего — после выхода «Черных камней» Жигулина. Недавно на областном телеэкране показывали, как на воронежском вокзале автор колымской повести встречаем был местным политесом. Пронзительно и жестко поэт выступал... Я прочитал его «Черные камни». Я тоже знал сибирские лагеря, а до Сибири — все эти следственные изморы...*

— *Тяжело слышать. Мы с Жигулиным дружны еще до того, как я стал редактором его поэтического сборника «Воронеж. Родина. Любовь». Мы с ним совершили путешествие по местам малой родины — его и моей. И в Москве я бывал у Жигулина множество раз. Мне Анатолий Владимирович зачитывал большие куски из колымской повести. Очень сильные страницы о лагерном быте, о колымской природе. Но сугубо «политических страниц», кроме двух-трех эпизодов, он не читал.*

— Да их тогда, может, и не было. Журнал «Знамя», допускаю, подвиг его на добавления. Бакланову, главному редактору «Знамени», нашему земляку, может, пожелалось «расширить» Жигулина, всего лишь... замечательного лирика, так сердечно пишущего о Родине.

— Бакланов, как редактор, конечно, не Твардовский. А писатель крепкий. У него есть фронтовое наблюдение, смысл такой: пока «избранные», от войны бегущие, музицируют, рядовые совестливые мокнут в окопах и гибнут.

— Никто не спорит. Сошлись земляки на литературном плацдарме... Так вот Исаев... Крупный литературный чиновник? Прежде всего — поэт. Поэт — под Маяковского? Да, громкий, трибунный...

(К сорокалетию Победы в Центральном-Черноземном книжном издательстве я подготовил (составил и отредактировал) сборник «Память сердца». Сборник был трехчастный, части открывались стихами — «Я убит подо Ржевом» Твардовского, «Русской женщине» Исаковского, «Двадцать пятый час» Исаева. Узнав об этом, Исаев, широко печатавшийся, тем не менее обрадовался, может, сорядности с первоначальными именами советской поэзии, во всяком случае, не столь уж отменно составленный мною сборник расхвалил. Мы встречались с ним не раз, побывал я у него и в рабочем кабинете в правлении Союза писателей на улице Воробьевского — секретарский кабинет маленький, что каморка, но имел очевидную чиновничью власть, вгонявшую в некую, подчас неумеренную почитительность забредавших туда. Исаев распахисто, щедро хвалил меня, желал моего «цветения глагола», именно такие слова даже надписал на одной из своих мне подаренных книг. Но серьезная доверчивая душевная близость не установилась, да мы и не встречались годами).

— А классика есть классика. Тот же Салтыков-Щедрин. Он вовсе не из моих любимых. Но прочитал вами нахваливаемый его рассказ «Совесть пропала» — действительно, там многое: лиризм, сатира... голос надежды в бессовестном мире. И Булгаков, и Платонов, да и не только они, словно заглядывали туда и зачерпнули настоящего, подлинного, это там есть. Так же и со стихотворцами. Читаешь кого из современных, и видишь, откуда черпал силы. Конечно, несоизмеримые с силами классики.

(Предлагал Крупину — написать повесть в письмах о перестройке. Он, Распутин, Лихонос и мой воронежский пласт. Володя согласился, да время побуждает спешить, разбрасывает каждого по непредвиденным заботам, очередям, выступлениям... не складывается).

— Каждодневные новшества. Мы, будто коровы в узком переулке, бьемся то в один, то в другой плетень. Время поспевает такое, что в самый раз увидеть бы перестроенные «новинки» Гоголю и Салтыкову-Щедрину.

(Подступление времени многообещающего, лукавого, злого, поначалу непонятного. Начало 1989 года. Что нас ждет на ристалищах литературных? Что нас вообще ждет?)

— В двадцать первом, еще гражданская не закончилась, в Рамони на крутом спуске к реке оползень случился. И родничок под березками забил. И, как водится, иконка объявилась. Еще много оставалось монахов, да и просто истовых православных, — вся богомольная губерния пошла в Рамонь на поклонение. Но тогда атеизм весьма воинствующим был. Березки срубили, родник засыпали. Мне что-то нынешнее напоминает те времена. Размахивают словесными дубинами и топорами, кричат о реакции, обещают новое лучезарие; а попробовал Юрий Бондарев, пусть не первый в стране писатель, но и далеко не послед-

ний, сказать предупредительное на партийном бомонде: мол, самолет перестройки взлетел, а аэродром, на котором он должен приземлиться, не определен, не знают, где приземлиться, — так сразу «ату его!», консерватора, ретрограда и так далее по нарастающей. Писатель в простоте наивной думает, что аэродром не определен. Эдак взлетело это перестроечное мышление-устремленье и затрепыхалось от неясности курса. Как бы не так! И аэродром определен, и знают, где приземлиться... Но не думаю, что этот многошумный проект и полет — во благо народное. Я уже это видывал в тысяча девятьсот семнадцатом.

— Недавно потребовалось мне зайти в райисполком, там рыскал по коридорам некий вертлявый, нахраписто обращался к сидящим в очереди: «Надо срочно землю отдавать каждому, кто пожелает, кто хочет купить. Подпишитесь, вот требовательный лист!» Я не стал спрашивать, во сколько оценивают зазывательский язык этого скороспелого агитатора. Спросил только, вскапывал ли он хоть однажды огород? Или хотя бы ком земли держал в руках? Что тут началось! Задергался, как в падучей, этот пламенный агитатор, обвинил меня в ретроградстве, мракобесии, советском недомыслии. Вот так. Ярлыки по-необольшевистски. Снова: земля — крестьянам, мир — народам? Да если его сотоварищи такие же злые, какого же мира нам ждать?

— *Прежде в русском Заволжье (да не только, конечно, в Заволжье) заведено было: волоковое окно, дощечка, а на ней хлебушко; пусть даже семья бедствует, а считалось делом чести, делом Божеским выставлять хлеб заплутавшему путнику, нищему, бродяге — всякому скитальцу на земле.*

А двадцатый век случайному человеку хлеб не выдает. Только нужным людям. Перспективным и хватко прыгающим по служебным и иным ступеням.

И каким тогда он будет, хлеб духовный?!





Раиса Ефремовна Дерикот (1937—2005) родилась в селе Новая Сотня Острогожского района Воронежской области. Окончила Россошанское педагогическое училище. Работала воспитателем, экскурсоводом, мастером по моделированию народного костюма. В 1991 году создала в Россоши детский литературный клуб «Малая Медведица». Автор нескольких поэтических сборников, среди которых «Свет любви», «Распутье», «Здравствуй, Россошь».

Раиса Дерикот

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДВУХ ДОРОГ

* * *

За дубами между сосен
Не во сне, а наяву,
Ходит осень, бродит осень,
Прелью путает траву.

С кем-то шепчется в осоке,
Где, от солнышка рябы,
Из земли на пень высокий
Выбираются грибы.

Сколько их, медвяно-желтых!
Вот бы на зиму сберечь...
И снимает шляпку желудь
Перед тем, как в спячку лечь.

* * *

Ночью крепкий морозец,
Днем пригрело сильней.
Паучок-сенокосец
Шел по теплой стене.
Путь свой щупал сторожко,
Беззащитен и бос.
Он на тоненьких ножках
Лето красное нес.
Снег хрустел под окошком.
До Петровки — сто дней.
А паук-косиножка
Шел да шел по стене.

* * *

На перекрестке двух больших дорог,
Пока еще не распустились листья,
Бывает четко виден обелиск,
И ели, что растут у обелиска.

Те ели привезли издалека,
Они на новом месте так болели,
И в холм из росошанского песка
Корнями уходили, как умели.

Когда окрасит золотой закат
На рыжем склоне выросшие елки,
В них вижу невернувшихся солдат,
В защитные одетых гимнастерки.

Тот, кто упал в победном феврале,
Не видел этих росошанских елок.
Это потом солдат из всех госпиталей
Свезли вот в этот выросший пригорок.

Это потом их, сгинувших в боях,
Свезли сюда и сообщили близким.
Сравнили звания песчаная земля
И общая звезда над обелиском.

И Реквием звучит, и прошлое так близко,
Приспущены знамена, и легли цветы
К подножью елей тех у обелиска
Последней, занятой посмертно, высоты.

* * *

Тайком, как поздняя любовь,
Приходят зимние рассветы.
И солнце, поднимаясь вновь,
Все заливает алым светом.

И жгучий иней серебром
Осыплет старую сторожку,
И брызнет маленьким костром
Березы каждая сережка.

И станет розовою даль
В курганах солнечного света.
Лишь тени, темные, как сталь,
Хранят задумчивость рассвета.

* * *

С постели — в сад заиндевелый,
Метель снежком в мои следы.
Привычно выплесну на тело
Ведро колодезной воды.

Погоревав, — топить-то нечем,
А у зимы свои права, —
Опять сама для ветхой печи
Колю вербовые дрова.

На малосилие пеняя,
Веду с поленом давний спор.
Я не из прихоти меняю
Колун тяжелый на топор.

И смят опять житейской прозой
Мой стих, нахлынувший едва.
Но пахнут тоненько мимозой
В моей поленнице дрова.



Алим Яковлевич Морозов родился в 1932 году в селе Вервекровка Богучарского района ЦЧО. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. Директор Россошанского краеведческого музея. Лауреат премии «Adordina de Oro» (Италия). Автор книг «Россошь: Краткий исторический очерк», «Из далекого военного детства», «Война у моего дома», «Россошь: земли родной начало» и др. Почетный гражданин города Россошь.

Алим Морозов

ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ

(Уникальный танковый рейд
лейтенанта Цыганка)

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевого задания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю:

орденом Ленина

лейтенанта Цыганка Василия Никифоровича, командира роты 306-го танкового батальона,

орденом Красного Знамени

старшего сержанта Шахватова Петра Алексеевича, механика-водителя 306-го танкового батальона,

орденом Красной Звезды

красноармейца Белову Ирину Александровну, санинструктора 306-го танкового батальона,

сержанта Коростелева Василия Михайловича, стрелка-радиста 306-го танкового батальона».

*Из приказа о награждении
личного состава 106-й танковой бригады*

ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ

Полузанесенная снегом Кантемировка на студеном январском ветру холодно поблескивала оконными стеклами низеньких, крытых соломой хат. Несмотря на стужу, на сельских улицах и в просторных крестьянских дворах

снова множество военных. Тут же, прижимаясь к глухим стенам жилищ и сараюшек, к стожкам сена и кукурузной былки, стояли побеленные танки, грузовики, тягачи и другая военная техника. Люди в танкистских шлемах, в ватниках и комбинезонах озабоченно хлопотали у боевых машин. По всему было видно, что расположенное в селе крупное воинское соединение готовилось к большому наступлению.

Собственно, основная подготовительная работа в 106-й танковой бригаде уже шла к завершению. Прошлой ночью из-за Дона пришли автозаправщики с горючим, грузовики со снарядами и продовольствием. И теперь каждый экипаж старался взять больше боеприпасов и залить все топливные баки боевых машин по горлышко. Бригадные техники вместе с механиками-водителями еще и еще раз проверяли техническое состояние танков. Остановка из-за неисправностей в ходе предстоящего наступления грозила танкистам серьезными последствиями. Приказ по 3-й танковой армии был по-военному суров: того, кто не доведет машину к месту боя, отдать под трибунал.

Механик-водитель старший сержант Шахватов вместе с заряжающим Буряком и стрелком-радистом Коростелевым еще засветло справились с делами. Мотор работал как хорошие часы, аккумуляторы заряжены, баллоны со сжатым воздухом для аварийного запуска двигателя тоже были на месте. Казалось бы, все проверено, все опробовано, но Петр Шахватов не спешил уходить с мороза в теплую хату. В своей роте он числился самым бывалым, испытанным в боях фронтовиком. С начала войны ему пришлось сменить не одну машину, и поэтому никто лучше него не знал, что значит иметь в бою технически безотказный танк.

Работу танкистов нарушило появление в расположении 306-го танкового батальона бригадного почтальона старшего сержанта Ивана Гавриленко. Он принес письма для своих боевых товарищей. Получить весточку от родителей, жены, невесты, друга, да и просто знакомого на фронте для солдата было чем-то вроде маленького праздника.

К почтальону сразу отовсюду подтянулись люди. Счастливчики быстро разобрали свои треугольники, споря от нетерпения быстрее познакомиться с их содержанием. Читали письма по-разному. Многие отходили в сторонку, стараясь остаться наедине с мыслями дорогого, любимого человека. Но находились и откровенные ребята, не считавшие зазорным поделиться содержанием письма с товарищами. Вокруг таких собирались небольшие группы из тех танкистов, кого почтальон обошел стороной. В экипаже лейтенанта Цыганка счастливчиком оказался старший сержант Буряк. Вечером он засиделся над письмом жене допоздна. Стрелок-радист Коростелев, самый молодой в экипаже, над которым любил подтрунивать Буряк, не пропустил случая в отместку подколоть заряжающего:

— Гляньте, как разошелся наш сочинитель! Не иначе хвалится перед подругой о своих боевых подвигах.

— Тебе, холостяку, не понять забот семейного человека, — беззлобно, с напускным назиданием отвечал Буряк. — Не мешай мне с сыном серьезно о жизни поговорить. Ведь ему скоро четыре года исполнится, а он половину своей жизни отца родного не видел. И увидит ли, еще неизвестно.

Буряк на минуту задумался, покусал тупой конец карандаша и сказал:

— Чем зубоскалить попусту, напомни мне, какой сегодня день.

— Да с утра вроде бы было тринадцатое.

Коростелев хотел еще что-то добавить, но в сенях громко звякнула дверная щеколда, и на пороге из облака морозного воздуха возник лейтенант Цыганок.

— Собирайтесь, славяне! Бригада получила приказ выйти в район сосредоточения к Касьяновке.

После непродолжительного марша танки бригады укрылись в небольшом ле-

сочке. В той стороне, где был фронт, с раннего утра все время ухало и гремело. Частые, приглушенные расстоянием удары иногда сливались в сплошной гул. Артиллеристы перед атакой пехоты обрабатывали оборону противника. Их задача заключалась в том, чтобы расчистить путь танкам, которые сразу же должны были ринуться во вражеский тыл и к вечеру взять город Россось. Но с прорывом немецкой обороны у пехотинцев с самого начала что-то не заладилось. Бригаду долго не пускали в дело. Время шло мучительно медленно. Ожидание изнуряло людей. От холода тоже не было никакого спасения. Солнце ярко светило, но мороз от этого казался еще злее. Пытаясь согреться, десантники приплясывали вокруг танков, громко хлопая себя руками по бокам. Валенки, ватные брюки и распиравшие бока шинелей ватники не спасали бойцов от лютой январской стужи.

Сигнал атаки комбриг Алексеев получил только после полудня 14 января. И сразу от машины к машине разнеслась громкая, разноголосая команда: «Заводи!»

До передовой — километров десять. В танке лейтенанта Цыганка не слышно обычных шуточек и подначек. Все невольно поддались предбоевому сосредоточенному напряжению. В планшете лейтенанта лежала аккуратно свернутая полевая карта. На ней красным карандашом старательно был вычерчен маршрут движения 106-й танковой бригады в первый день наступления. Не доходя города Россоси, стрелка на карте упиралась в село Лизиновку и круто поворачивала на Ольховатку. Вражеская оборона на карте была обозначена синим карандашом. За время подготовки к наступлению Василию Цыганку пришлось столько раз всматриваться в этот маршрут, что теперь он знал на память каждую высотку, каждый лесок, балку, не говоря уже о населенных пунктах, через которые им предстояло сегодня пройти.

Впереди показался небольшой, состоящий из нескольких домов хуторок. Это Дмитровка. За старым скрипучим ветряком дорога спустилась в низину, а потом снова пошла в гору. На карте эта высота значилась, как 201,4. За ней находился поселок совхоза «Красный Молот». Еще утром совхоз удерживали немцы, но теперь там должна была быть наша пехота.

БОЙ У «КРАСНОГО МОЛОТА»

На подъеме громче взревели танковые моторы. Шахватов тоже прибавил газу, стараясь не отстать от идущей впереди «тридцатьчетверки» начальника штаба 306-го танкового батальона старшего лейтенанта Мудрака. Неожиданно метрах в тридцати от дороги искрящееся на солнце заснеженное поле вздыбилось взрывом. За ним еще три снаряда с оглушительным грохотом врезались в мерзлую землю. Танкисты задраили люки. Комбат Сачко по радио приказал приготовиться к бою.

С гребня высоты хорошо была видна усадьба совхоза. Несколько домов и примыкавшие к ним хозяйственные постройки были охвачены огнем, а на подступах к поселку догорало несколько танков.



Василий Цыганок — командир роты
306-го танкового батальона.
Послевоенное фото

— Чьи же это машины? — недоумевал лейтенант Цыганок.

— Командир, смотри, — взволнованно отозвался Шахватов. — Это же «КВ» из 97-й горят!

В наушниках шлемофона через треск помех прорвался требовательный с хрипотцой голос комбрига Алексеева:

— Сачко, Васильев, усилить огонь и вперед!

Танки медленно спускались с горы и с коротких остановок стреляли из пушек по горящему совхозу. Им навстречу посылали снаряд за снарядом немецкая батарея. Один танк из колонны 106-й бригады вильнул в сторону и густо задымил. Нужно было немедленно переходить к решительным действиям, но в танковых экипажах обоих батальонов все еще продолжалось какое-то необъяснимое замешательство. Наконец танк, за которым следовала машина Цыганка, свернул с дороги и устремился вниз по склону. К нему сразу присоединился танк младшего лейтенанта Кузнецова.

— Давай, Шахватов, догоняй их! — скомандовал Цыганок.

Через минуту, другую уже больше десятка машин на большой скорости мчались в направлении совхозной окраины. Немцы панически суетились возле своих орудий, пытаясь перевести их на прямую наводку. На позицию вражеской батареи ворвалось сразу несколько машин. Танк младшего лейтенанта Кузнецова всей своей многоотной тяжестью навалился на немецкое орудие. Машина Цыганка помчалась вдогонку удирающей артиллерийской прислуге.

Бойцы танкового десанта на ходу прыгивали на землю и вступали в бой с немецкими автоматчиками. Те яростно сопротивлялись, отходя к северной окраине совхозного поселка, где их ожидали грузовики. Но воспользоваться автотранспортом им не удалось. К автомашинам раньше успели подойти танки 106-й бригады. Гитлеровцам пришлось бежать в поле под прикрытие быстро сгущавшихся зимних сумерек.

Бой за совхоз «Красный Молот» задержал танкистов Алексеева почти на три часа. Комбриг торопился. Он приказал комбатам быстрее собрать машины и идти вперед. Ведь перед бригадой была поставлена задача: прорываться в глубокий тыл противника, обходя те места, где он оказывает организованное сопротивление. В шесть часов вечера танки 106-й бригады продолжили путь дальше на север. После боя в «Красном Молоте» танковая колонна стала значительно короче. Пришлось оставить несколько машин на территории совхоза. Причины были разные: один танк был подбит, у другого случилась поломка, третий застрял в овраге, а четвертый нужен был для того, чтобы помочь ему выбраться. Да и разгоряченных боем десантников, которые увлеклись преследованием вражеских солдат, собрать сразу всех не удалось. Поэтому для них тоже пришлось оставлять транспорт, чтобы они могли без задержки догнать бригаду.

НОЧНОЙ РЕЙД

После «Красного Молота» санинструктор 306-го танкового батальона сержант Ирина Белова ехала на танке лейтенанта Цыганка одна. Еще недавно здесь, за танковой башней, на широком брезенте, сидело отделение десантников, и в окружении вооруженных мужчин Ирина почти не чувствовала страха. Санинструктор не заметила, как вечерние сумерки сменились рассеянным, прозрачным мраком лунной ночи. Теперь, одинокая, она жалким серым комочком сидела, прислонившись спиной к холодной башне под огромным, усыпанным яркими звездами небом.

Танковая колонна прошла в стороне от какого-то большого села. Утопающие в сугробах хаты горбились покрытыми снегом кровлями. Из их окон на проезжав-

шие танки смотрела немая, настороженная чернота. За дальней околицей села, там, где крыши его домов терялись за горизонтом, небо высвечивалось яркими сполохами взрывов.

За селом, недалеко от дороги, на поле, Ирина заметила волчью стаю. Волки бежали трусдой по направлению движения танков. Когда они поворачивали морды в сторону дороги, глаза их краснели, как угли в золе. От этих светящихся взглядов Ирине стало еще больше не по себе. Неожиданно стая остановилась, волки сошлись кучнее, подняли головы и, наверно, завыли. Из-за гула танковых моторов Ирина не слышала волчьего воя. Но она вдруг ощутила в душе такой страх, что чуть не закричала. На нее нахлынуло паническое желание бить кулаками и ногами по броне, чтобы ее услышали танкисты и взяли к себе в машину. Беловой с трудом удалось преодолеть свою слабость. Из-за гула мотора и громкого лязга гусениц танкисты вряд ли могли услышать ее удары. Да даже если бы и услышали, им нельзя было останавливаться на марше. «Тридцатьчетверки» на предельной скорости, минуя спящие села и хутора, мчались к намеченной цели. Их гусеницы поднимали клубящиеся шлейфы снежной пыли, которая медленно оседала в морозном воздухе на следы, оставляемые тяжелыми траками на степной дороге.

Было далеко за полночь, когда танки 106-й бригады остановились в небольшом, почти утонувшем в снежных наметах поселке. Немногочисленные бойцы десанта слезли с машин и вместе с танкистами быстро, не создавая шума, окружили дома, в которых спали вражеские солдаты. С непрошеными гостями не церемонились: брали прямо в постелях, выводили во двор и расстреливали. Через полчаса с немецким гарнизоном, располагавшемся в поселке совхоза имени Копенкина, было покончено.

Кто-то из местных жителей указал на сарай, где были заперты военнопленные красноармейцы. Удар прикладом по замку, и дверь под напором изнутри распахнулась настежь. Истощенные, грязные, плохо одетые люди со слезами бросились обнимать своих освободителей. Но у танкистов не было времени на проявление чувств. Комиссар без лишних слов призвал освобожденных военнопленных присоединиться к танковому десанту. Согласились все, и в бригаде на 57 бойцов стало больше. Их тут же вооружили трофейными винтовками и автоматами. Шестеро новичков сели на танк Цыганка. Они прихватили с собой немецкие одеяла, чтобы хоть немного укрыться от крепкого январского мороза. Вслед за ними к машине вернулся и сам лейтенант Цыганок. Они вместе с командиром батальона майором Сачко были на кратком совещании, которое комбриг срочно собрал у своего танка.

— Ну, что там, командир? — встретил вопросом лейтенанта Петр Шахватов.

— Находимся в совхозе имени Копенкина. Дальше маршрут меняется. Пойдем не на Лизиновку, а на Россось. Скорость приказано не сбавлять, чтобы успеть в город до подъема.

Кратко объяснив ситуацию, Василий Цыганок быстро поднялся на танк и занял свое место в башне. В разных концах колонны уже слышалась команда: «Заводи!» Шахватов нажал на педаль стартера. Мотор сразу набрал обороты, влившись в общий гул трогającychся бронированных машин. За совхозом колонна 106-й танковой бригады свернула на хорошо почищенный грейдер. По его обочинам поднимались высокие снежные валы, закрывавшие танковые башни. Темп движения колонны сразу ускорился. Танкисты уже вторые сутки находились в холодных танках, но, несмотря на это, все они действовали уверенно и четко.

В машине Цыганка никто не нарушал молчания, даже Шахватов не ругал, как обычно, Буряка за то, что тот закрыл башенный люк. На марше механик-водитель, чтобы лучше видеть дорогу, был вынужден всегда держать свой люк открытым. Расположенная сзади турбина двигателя тянет снаружи морозный воздух и прохватывает его сквозняком. Вот он и требовал обычно, чтобы Буряк открывал верхний люк,



Ирина Белова — санинструктор
106-й танковой бригады.
Военное фото

под которым сидел заряжающий. От этого сквозняк уменьшался. Буряк просьбу Шахватова всегда выполнял, но обязательно с подначкой:

— Ты у нас, Петро, как в аэродинамической трубе, проходишь испытания на обтекаемость и продуваемость.

Авиатехнические термины в лексиконе старшего сержанта Буряка присутствовали не случайно. До призыва в армию он работал техником в Оренбургском авиационном училище и считал свое пребывание в танковых войсках результатом безответственной ошибки армейских кадровиков.

В экипаже Цыганка Буряк был самым разговорчивым. Вот и теперь он подал голос первым:

— Ну, чего сидите, как будто в рот воды набрали. Пора просыпаться, граждане-пассажиры. Скоро узловая станция, готовьтесь к пересадке.

— Эй ты, кондуктор, открой лучше свой люк, чем без толку языком молоть, — отозвался снизу Шахватов.

Выполнив просьбу механика-водителя, Буряк в переговорную трубку позвал стрелка-радиста:

— Коростелев, не пора ли связаться по радио с бургомистром города Россоши. Передай ему, что важные персоны на подходе. Так что пусть приготовит яичницу с колбасой.

— А гуся с яблоками ты не хочешь?

— Не отказался бы. Но, понимаешь, с гусем возиться долго, а у нас времени на застолье в обрез. Нам же в Берлин торопиться нужно.

На востоке зарозовел краешек неба. Танковая колонна, преодолев подъем, спустилась в широкую речную пойму. Слева от дороги выстроились, как солдаты на разводе, тополя, справа вытянулся порядок низеньких хат.

— Что-то никто нас не встречает? — нарочито посожалел Буряк. — Или действительно фрицы еще дрыхнут, или пакость нам какую-нибудь приготовили.

Рассуждения заряжающего прервал переданный по радио приказ комбрига:

— Всем приготовиться к атаке. Нанести удар по городу. Закрепиться на северо-западной окраине и перекрыть войскам противника путь к отступлению. Держаться до подхода основных сил корпуса.

Танки вышли к реке, за которой виднелись неказистые домики городской окраины. Шахватов, съезжая со склона, неожиданно выругался и резко притормозил машину. Вынудил его остановиться впереди идущий танк. Буряк открыл люк и высунулся из башни.

— В чем дело? — спросил его Цыганок.

— На мосту какая-то заминка... Эй, пехота, что там случилось? — окликнул заряжающий бежавшего от моста десантника.

— Худо там. Танк в речку упал, и все, кто в нем находился, говорят, утонули.

— Это механик-водитель проморгал. Вот растяпа! — заволновался Шахватов.

— А что, Петя, может, напрямик через речку рванем? — предложил Цыганок, которого явно раздражало нетерпение.

— Не горячись, лейтенант, не зная броду, не суйся...

— Глянь, командир, а нас кто-то уже обошел, — забеспокоился заряжающий.

«Тридцатьчетверка», шедшая в колонне сзади цыганковского танка, решительно повернула направо. Перед въездом на лед она замедлила ход, выползла на середину реки и провалилась, погрузившись в воду по башню. Танкисты провалившейся машины один за другим выбрались через башенные люки на лед. В это время находившиеся в голове колонны танки взрвали моторами и двинулись к низкоопорному деревянному мосту, чтобы переправиться на левый берег неширокой здесь Черной Калитвы. Когда Шахватов направил свою «тридцатьчетверку» к городской окраине, на улицах просыпающейся Росоши прогремели первые оружейные выстрелы.

ВНЕЗАПНЫЙ УДАР

В танке Цыганка шла слаженная боевая работа. Петр Шахватов словно прирос к рычагам управления. Его внимание привлек выскочивший из переулка легковой автомобиль. Механик-водитель прибавил скорость. Экипажу танка хорошо был слышно, как заскрежетали гусеницы по металлу. Одному из немецких офицеров удалось выпрыгнуть из автомобиля на ходу. Коростелев тут же срезал его короткой пулеметной очередью.

Чем ближе танк лейтенанта Цыганка продвигался к центру Росоши, тем больше появлялось целей. Грузовики, бронетранспортеры, тягачи, мотоциклы. Огонь танковых орудий разбудил оккупантов, и теперь они неорганизованной, панической толпой удирали из города.

Через рев мотора и грохот стрельбы прорывался возбужденный голос Буряка: — Ребята! Смотрите, сколько у нас попутчиков!

В это время Шахватов догонял мотоцикл с коляской. Тяжелые траки гусениц подмяли его вместе с седоками. Впереди по широкой улице мчался грузовой «фиат». Его крытый брезентом кузов был переполнен солдатами. Лейтенант командовал Буряку:

— Осколочным заряжай!

Шахватов придержал «тридцатьчетверку», Цыганок быстро навел орудие и резко нажал педаль спуска. На кончике ствола танковой пушки блеснула молния, тугая волна ударила в уши. Из казенника в гильзоулавливатель со звоном упала стреляная гильза. В горле Цыганка запершило от едкой пороховой гари.

— Так их, сволочей! — весело воскликнул Буряк.

Петр отпустил сцепление, и танк, снова набрав скорость, продолжал преследование охваченных паникой вражеских солдат и офицеров.

Освобожденные в Копенкино военнопленные, ехавшие с Ириной на танке Цыганка, тоже стреляли из винтовок и автоматов по убегающим гитлеровцам. Во время короткой остановки к танку подбежал лейтенант из мотострелковой роты и попросил Ирину:

— Перевяжи, сестричка.

Он был ранен в лицо, кровь стекала по белому полушубку. Белова быстро наложила повязку. Лейтенант поблагодарил за помощь, схватил автомат и вернулся к танку, который шел сзади.

Все это утро, находясь на броне «тридцатьчетверки», Ирина чувствовала себя совершенно беззащитной. Пули и снаряды со свистом проносились где-то над головой. Несколько раз она оказывала помощь раненым, и в момент перевязки у нее пропадало ощущение опасности. Но, как только она оставалась без дела, страх снова возвращался. В центре города пули стали чаще бить по броне танка. Видно, не все враги потеряли головы от паники. Те из них, кто сохранил самообладание, вели огонь из домов и сараев. Уже почти на западной окраине города танк, съез-

жая с грейдера, резко накренился. Несколько десантников, не удержавшись, свалились в кювет. Ирина успела ухватиться за башенную скобу.

Минув последний дом на городской окраине, «тридцатьчетверка» лейтенанта Цыганка дала несколько выстрелов по убежавшим немецким и итальянским солдатам, после чего снова повернула в сторону города. Резкая боль в руке заставила Белову вскрикнуть. В этот момент сержант Буряк открыл башенный люк.

— Глянь, командир, Ирина с нами. Да ты ранена, сестричка!

Заряжающий быстро выпрыгнул из люка и помог медсестре спуститься в танк. Ее усадили внизу на ящик под гильзоулавливателем за сиденьем механика-водителя. Шахватов с Коростелевым оказали первую помощь санинструктору. К счастью, рана Ирины была неопасной, пуля не задела кость. Пока перевязывали Белову, танкисты пропустили момент, когда над ними появились вражеские самолеты. Сбросив несколько бомб, «юнкеры» сразу улетели. Шахватов увел танк с дороги и поставил его между деревьями небольшого палисадника и хатой. Цыганку доложили, что во время бомбежки в его роте был ранен младший лейтенант Кузнецов и погибли три десантника из освобожденных военнопленных.

В небе снова зарокотали моторы вражеских самолетов. Старик, видимо, хозяин хаты, около которой остановился танк Цыганка, притащил охапку сухой былки подсолнуха и начал укрывать ею машину.

— Дед, ты что задумал? — забеспокоился Буряк.

— Хочу схватить вашу танку, шоб нимэць зверху нэ побачив.

— Не хлопочи, батя, напрасно.

— Ой, сынку, да як же нэ хлопотать? Нас же немецьки еропланы всих поуубывають.

— Ты, отец, скорей иди ховайся в погреб, а у нас должность такая: со смертью в жмурки играть.

— Иван, — позвал Цыганок заряжающего, — зажигай дымовую шашку, пусть фрицы думают, что мы горим.

В наушниках шлемофона послышался треск, через который прорвался хриплый простуженный голос майора Сачко. Комбат приказал всем танкам 306-го батальона следовать через город в направлении железнодорожной станции. Главная цель атаки — расположенный за стальной магистралью у хутора Красный Пахарь немецкий аэродром. Избавиться от бомбежек вражеских самолетов танкисты могли, только нанеся удар по их основной базе.

Пройдя по лабиринту узких улочек старой части города, «тридцатьчетверки» переправились на левый берег речки Россось. Как только за мостом гусеницы машины скребнули по булыжникам шоссе, Шахватов дал полный газ. От речки дорога шла на подъем, а потом круто поворачивала направо. На этом повороте танк Цыганка чуть не столкнулся с «опелем». Автомобиль шархнул в сторону и врезался в телеграфный столб. Коростелев успел выпустить очередь из пулемета по высочившим из кабины «опеля» эсэсовским офицерам.

По правому борту танка громко ударили пули крупнокалиберного пулемета. Цыганок скомандовал остановить машину. По обе стороны от шоссе в некотором удалении располагались несколько больших зданий. Командир внимательно вглядывался в окна трехэтажного дома, стоявшего справа. Вот яркий огонек запульсировал в крайнем окне верхнего этажа. Лейтенант быстро навел орудие и нажал на спуск. Красное облако кирпичной пыли заволокло окно. Пулемет больше не стрелял. А радио снова донесло голос комбата:

— Не останавливаться, не сбавлять скорость! Всем вперед!

Пока Цыганок охотился за пулеметом, его успели обойти несколько танков. Петр Шахватов нажал на педаль газа до упора, и машина помчалась к станции, оставляя за собой искрящийся на солнце шлейф снежной пыли.

ПРОРЫВ К АЭРОДРОМУ

От города к станции вело узкое шоссе, обрамленное снежными валами. Справа от дороги находилось открытое пространство, а слева вытянулся редкий порядок низеньких хат. Догоняя впереди идущий танк, Цыганок заметил яркую вспышку на его броне с правого борта. Танк резко вильнул в сторону и задымился. Дальше впереди были видны еще две замершие на обочине дороги «тридцатьчетверки».

— Сволочи, бьют из засады, — выругался лейтенант.

Вражая башенный перископ, Цыганок напряженно изучал строения, расположенные справа от шоссе. Его взгляд задержался на домиках, стоявших обособленной кучкой в стороне от дороги.

— Где-то здесь? — решил Цыганок и тут же заметил, как между хатой и сараем мелькнул силуэт вражеской самоходки. «Меняет позицию», — догадался лейтенант и крикнул заряжающему:

— Иван, давай бронейбойный!

Лейтенант Цыганок старался точнее навести орудие на угол дома, из-за которого вот-вот должна была появиться самоходка. Он нажал спуск в тот момент, когда увидел в прицеле черно-белый крест на борту вражеской машины. Пламя и клубы густого бурого дыма подтвердили попадание в цель.

На подступах к станции опять загремели пушки противника. Немцы стремились любой ценой не допустить прорыва танков к своему аэродрому, где уже началась эвакуация.

Только к полудню со значительными потерями танкистам бригады удалось преодолеть железную дорогу у моста через речку Черную Калитву. За железнодорожным переездом, прямо посередине улицы Максима Горького сделали остановку. Вражеские солдаты не появлялись, стрельба тоже вроде бы стихла. Жители улицы, пренебрегая опасностью, хотели поскорее увидеть своих. Они стали собираться вокруг танков. Цыганок открыл люк и высунулся из башни. Недалеко стоял танк командира 306-го батальона. Майор Сачко спросил подошедших женщин: «Далеко ли до аэродрома?» Ему сразу ответили несколько голосов: «Да тут рукой подать, почти рядом».

Пожилая хохлушка в клетчатой шали, явно неудовлетворенная предыдущими ответами, стала объяснять майору:

— Вы мэнэ послухайтэ. Паняйтэ прямо по ци улыци. Она вас вывэдэ в полэ, а там побачитэ хутир. На него правтэсь и попадэтэ прямо на еродром.

Сачко хотел еще о чем-то спросить женщину, но в это время от переезда подошел еще один танк. Его командир, открыв люк, крикнул:

— Немцы! Дамочки, прочь от машин. Сейчас будут стрелять.

И тут же в подтверждение его слов с противоположного конца улицы грохнул пушечный выстрел, а за ним еще и еще...

Танк комбата помчался в сторону Красного Пахаря, и сразу же из эфира в наушники Цыганка прорвался раздосадованный голос майора:

— Раззява, куда снаряды пулял? Нужно же было ближе подпустить...

Оказывается, со стороны аэродрома к станции двигался немецкий легковой автомобиль. Командир танка, которого майор раньше послал в охранение на окраину поселка, поспешил выстрелить и промазал. Машина быстро развернулась и помчалась обратно к аэродрому.

На разнос явно сплеховавшего командира у комбата не было времени. Он сразу повел танки в атаку. Набирая скорость, «тридцатьчетверки» 306-го танкового батальона двигались к немецкому аэродрому. Давая танкам дорогу, на обочину свернул обоз из запряженных мулами саней. Итальянские солдаты-возницы, побросав вожжи, стояли с поднятыми вверх руками. «Эти уже отвоевались», — поду-

мал Цыганок, оставляя обоз позади. Танк тут же трянуло взрывом от близко разорвавшегося снаряда.

— Петя! — крикнул в трубку механику-водителю лейтенант. — Теперь жми!

Шахватов сразу дал полный газ и всю орудовал рычагами. На открытом месте спасение танкового экипажа прямо зависело от скорости и маневренности их машины. По приближавшимся танкам от аэродрома били вражеские зенитки. Их снаряды с воем неслись навстречу атакующим. Петр бросал свой танк то влево, то вправо, пытаясь сбить с толку немецких наводчиков. С аэродрома поднялось несколько самолетов. Они наседали на танки сверху, ведя огонь из пушек и пулеметов. Лейтенант Цыганок сжался в комок, как будто приготовился совершить головокружительное сальто. «Тридцатьчетверка» мчалась вперед, пробиваясь сквозь снежные сугробы.

Чем больше сокращалось расстояние до аэродрома, тем ближе к танку рвались снаряды. Лейтенант Цыганок тоже стрелял из танковой пушки по вражеским орудиям. Однако с ходу попасть в цель было трудно, а останавливать танк для выстрела на открытом заснеженном поле было безрассудно. Во время остановки вражеские наводчики могли легко попасть в машину. Но они тоже, наверное, волновались, да и опыта стрельбы по наземным целям у зенитчиков, скорее всего, не хватало.

И все же вражеские зенитчики не всегда делали промахи. Еще на дальних подступах к аэродрому остановилась одна «тридцатьчетверка», а потом другая, третья... Над заснеженным полем потянулись черные шлейфы дыма.

Лейтенант Цыганок уже видел в триплекс земляные валы полевых ангаров. Немного в стороне от них, наверное, над складом горючего бушевал огонь. На какое-то мгновение в поле зрения Цыганка попал впереди идущий танк, направлявшийся к взлетной полосе аэродрома. Выстрелив еще раз по немецкой зенитке, лейтенант вдруг почувствовал страх. Он не мог сказать определенно, почему в запале атаки неожиданно четко осознал, что ни рядом, ни впереди, ни сзади его танка уже не было своих. Инстинкт самосохранения сработал сам собой, и его сознание немедленно отреагировало на смертельную опасность: «Нужно уходить из-под огня». Танк, ранее выехавший на взлетную полосу, стоял охваченный пламенем. Сзади него на снегу широкой лентой распласталась перебитая гусеница. Цыганок зло выругался и скомандовал Шахватову:

— Поворачивай, Петро!

Сразу развернуть танк под огнем было непросто. При повороте машина по очереди подставляла немецким комендорам борт и корму — его самые уязвимые места. Но искушенный в вождении бронированных машин Шахватов сразу нашел выход. Он резко сдал танк назад, а потом волчком крутанул его на месте.

— Бери левее и жми, что есть мочи к роце, — подсказал механику-водителю командир.

Шахватов затормозил танк на узкой просеке. На снегу хорошо были видны две широкие колеи от гусениц «тридцатьчетверки». По этому следу вышли к реке. На льду, недалеко от берега, следы обрывались широкой полыньей. Сомнений быть не могло: машина провалилась под лед. Перед командиром танка встал вопрос: куда вести машину дальше. Цыганок в раздумье смотрел на карту:

— На той стороне реки село Морозовка, но до нее нам не добраться. Придется, Шахватов, ехать обратно, по старой дороге. Только на открытое место не высывайся. Держись опушки леса и гони к станции. Может быть, удастся проскочить.

К окраине станционного поселка подошли без помех. Танк мчался на предельной скорости. Шахватов выжимал из мотора все, что мог. Впереди у крайней хаты из-за большого сугроба неожиданно возникла вражеская противотанковая пушка. Ее прислуга поздно заметила возвращавшийся от аэродрома танк. Наводчик в

спешке неправильно навел орудие, и первый снаряд пронесся мимо башни. Второй раз немецкие артиллеристы выстрелить не успели. Грозно ревущая машина была рядом, и они кинулись врассыпную. Танк смял брошенную пушку и по улице помчался к железной дороге. Приближаясь к переезду, «тридцатьчетверка» лейтенанта Цыганка снова попала под обстрел. Стремясь уйти от прямого попадания, механик-водитель повел машину зигзагами. И опять мастерство Петра Шахватава переиграло умение вражеского наводчика. Проскочив благополучно железнодорожный переезд, танк, не сворачивая, направился к небольшому сосновому лесу.

Перекрывая гул танкового двигателя, донесся рокот вражеского самолета. «Мессершмитт» пронесся на бреющем полете. Очередь его крупнокалиберного пулемета резанула по танковой броне. Шахватов свернул на санный путь, проложенный вдоль опушки сосняка, и повел танк к речной пойме. Он приоткрыл передний люк, чтобы лучше видеть дорогу и сразу же снова опустил его. Со стороны реки прямо в лоб «тридцатьчетверки» стремительно несся другой самолет. Две бомбы почти одновременно рванули мерзлую землю рядом с машиной. Минуту под броней стояла звенящая тишина. Первым подал голос Цыганок:

— Петро, что с мотором? Почему стоим!

— Сейчас проверю, командир.

Шахватов завел мотор, но при попытке тронуться с места, он снова заглох.

— В чем дело, механик? — заволновался лейтенант.

— Что-то держит. А что, сам не пойму.

Шахватов еще и еще раз пытался тронуть машину с места, но безрезультатно.

— Нужно выходить, командир.

— Давай, Петя, если что, мы прикроем.

Механик-водитель через передний люк вылез из машины. Оставшимся в танке было отчетливо слышно, как под его ногами скрипел снег. Все напряженно ждали, что он скажет. Если танк больше не сможет двигаться, их шансы на спасение сразу падали до нуля.

— Давайте мне кувалду и лом, — наконец отозвался Шахватов. — И пусть еще кто-нибудь вылезет помочь. Между гусеницей и ведущим колесом застрял крупный осколок от бомбы.

— Петя, я сейчас, — отозвался на просьбу механика-водителя заряжающий Буряк.

Несколько минут они стучали снаружи.

— Скорее, скорее, братцы, — подгонял их Цыганок.

Наконец Петр Шахватов вернулся в танк, завел мотор и попробовал тронуться. Машина вела себя послушно.

— Все, Ваня, залезай. Поехали, — крикнул Буряку механик-водитель.

В танке с нетерпением ждали заряжающего, а его все не было.

— Где же он, что с ним? — забеспокоился Цыганок. — Петя, посмотри.

Шахватов вернулся быстро, он протиснулся в люк и тяжело плюхнулся на сидение.

— Нету нашего Ивана. Убили, — с трудом, негромко выдохнул Петр. — Забрать не сможем. Немецкие автоматчики уже рядом, в сосне.

Голос Шахватава утонул в реве низко пронесшегося самолета.

— Петро, давай быстрее отсюда, — скомандовал лейтенант.

Танк с места рванул под уклон, туда, где широко разлеглась речная пойма, и помчался, взметая гусеницами снежную пыль. Но уйти от вражеских самолетов было невозможно. Сделав разворот, они снова бросались в атаку на одинокий танк. Уверенные в безнаказанности, фашистские стервятники вели себя нагло. Спускались до бреющего полета и по очереди неслись навстречу танку, пульсируя вспыш-

ками пушек и пулеметов. Лобовая броня «тридцатьчетверки» грохотала от прямых попаданий. Удар в смотровую щель переднего люка заставил Шахвата отпрыгнуть назад. Пуля не пробила толстое бронестекло, но оно покрылось густой сеткой мельчайших трещинок. Потеряв возможность видеть дорогу, Петр остановил танк, на что сразу же отреагировал Цыганок:

— Почему остановился, Шахватов?

— Триплекс разбит, ничего не вижу.

Цыганок открыл свой люк, высунул голову из башни.

— Петя, пошел прямо, — скомандовал он механику-водителю.

Петр привык доверять своим глазам. Теперь же ему пришлось вести машину, не видя дороги, по подсказке командира. Танк то и дело съезжал с проселка. Цыганок вносил поправку. Водитель делал поворот, но больше чем требовалось, и машина, проскочив дорогу, снова оказывалась на обочине. Чтобы не терять дороги, Шахвату пришлось сбавить ход. Танк утратил маневренность и скорость, то есть те выигрышные качества, которые до сих пор спасали от прямых попаданий снарядов и бомб.

Сверху снова зарокотал мотор «юнкерса». Цыганок успел спрятать голову в башню. Несколько пуль ударило по броневому кругу открытого башенного люка. Снизу кто-то из экипажа схватил лейтенанта за сапог, и он почувствовал, что съезжает с сиденья.

— Черти, что вы делаете? Машина, почему стоит машина! — завопил он, ощутив ногами днище.

— Остынь, остынь, командир, — успокаивал Цыганка Шахватов. — Уступи место Коростелеву. Ты нам, Вася, живой нужен!

Цыганок нехотя подчинился, но тут же набросился на Петра:

— Гони, гони быстреей отсюда. А то этот «лаптежник» прихлопнет нас, как муху среди поля.

А стрелок-радист Коростелев, заняв в башне место командира, уже кричал сверху:

— Петро, прими чуть влево и прямо шуруй.

Грохот мощного взрыва ударил по ушным перепонкам. Набивавшую ход машину как будто кто-то приподнял за одну гусеницу и сразу уронил, не справившись с ее многотонной тяжестью. Танк продолжал разгон, и Шахватов включил третью скорость.

Все, что происходило дальше, почти не запечатлелось в сознании членов экипажа. Механик-водитель все время боялся пропустить команду Коростелева, слова которого двигали его руками и ногами. Стрелку-радисту нужно было следить и за дорогой, и за маневрами немецких самолетов. Цыганок не смог долго оставаться внизу. Он поднялся в башню и сел рядом с Коростелевым на место заряжающего.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Танк Цыганка проскочил последние хаты городской окраины в то время, когда солнце, блеснув на прощание верхним краешком, ушло за горизонт. Вечерняя заря быстро померкла, завершив короткий зимний день, и сиреневые сумерки поглотили белизну заснеженного поля.

Коростелев неожиданно обнаружил, что их больше никто не преследует. Он забыл подсказать механику-водителю, куда ехать, и тот остановил машину. Мотор как-то зло фыркнул, заглох. Шахватов сидел молча, откинувшись на спинку сиденья, обессиленный от долгой смертельной гонки. Цыганок и Ирина Белова тоже не подавали голоса. Но опасность для экипажа чудом оставшегося неповрежденным танка, еще не миновала. Танкисты находились в глубоком вражес-

ком тылу. Солдаты противника могли появиться в любой момент, чтобы попытаться захватить танк. Затянувшееся молчание прервал лейтенант Цыганок:

— Петь, глянь, сколько у нас топлива осталось?

— Почти на доньшке, командир.

— Коростелев, спускайся вниз, покрути свою рацию, возможно, удастся связаться с штабом. Неужели немцы наших остановили?

Стрелок-радист долго слушал эфир. Все терпеливо ждали, даже Шахватов не напомним, как обычно, Коростелеву, что рация может посадить аккумуляторы.

— Глухо, командир, никто не отзывается, — разочарованно доложил Коростелев.

— Худо, славяне, но ничего не поделаешь. Жаль, что горячего мало, а то можно бы было попробовать ночью прорваться через город навстречу своим.

Цыганок выглянул из танка. Впереди на снегу чернело что-то, похожее на кусты. Лейтенант приказал Шахватову перегнать танк туда: все же, какая ни есть, а маскировка. Потом закрыл верхний люк и, подсвечивая фонариком, спустился вниз. Там, под гильзоулавливателем, низко пригнувшись, сидела Белова. Ее тряс мелкий озноб. К ночи мороз усивался, в машине становилось нестерпимо холодно.

— Тут мы и без помощи фрицев от одного Деда Мороза к утру околеем, — мрачно пошутил Коростелев.

— Ирина, а где твоя сумка? Давай быстрее бинты и вату, — спохватившись, захопотал Шахватов. — Сейчас быстренько соорудим отопление.

Он взял ведро и полез за шиберную перегородку к топливному кранику, чтобы нацедить солярки. Пропитавшиеся маслянистой горючей жидкостью бинты и вата, взятые из Ирининой сумки, густо коптели. Дым ел глаза и вызывал удушливый кашель, но другой возможности согреться у экипажа не было. Приближая руки к металлическому лотку, в котором неровно трепетал огонь, Коростелев вспомнил, что его дядька до войны жил в Ташкенте.

— После войны обязательно уеду в Среднюю Азию. Вот уж там отогреюсь на солнышке.

— Не забудь панаму прихватить, чтобы головку не напекло, — вяло отозвался Шахватов.

Коростелев не ответил. На разговор не хватало сил. Невероятная усталость от пережитого за последние два дня, от той напряженной работы, которую им пришлось выполнять в боевой обстановке, нагоняла апатию, наваливалась многопудовой тяжестью на плечи, вызывая состояние тяжелой полудремы.

Ночь с 15 на 16 января экипажу Цыганка пришлось провести в бронированной машине у лотка с неяркими языками густо коптящего пламени. Вражеские солдаты не появлялись. Возможно, они потеряли из вида одинокий танк, а может быть, им было просто не до него. Сломив сопротивление гитлеровцев у Михайловки, к Россоши подходили основные силы 12-го танкового корпуса. Вражеский гарнизон поспешно готовился к бегству, а немецкие летчики еще засветло вылетели на самолетах с аэродрома у Красного Пахаря в сторону Харькова.

Измученные холодом и бессонницей танкисты, наконец, дождались утра. Оно начиналось лениво. Небо было плотно затянуто белесой пеленой. Первым из танка выглянул лейтенант Цыганок. Только теперь он смог по-настоящему оценить всю невыгодность места, на котором их застала ночь. То, что вчера в темноте показалось ему кустами, было всего лишь зарослями пробивавшейся сквозь снег прошлогодней дерезы. Танк стоял на совершенно открытом месте. Перед ним в желтом камышовом обрамлении лежала скованная льдом река, довольно широкая. Недалеко от танка находился деревянный мост, от которого в обе стороны тянулась наезженная дорога.

Цыганок решил отогнать танк к небольшой посадке и там замаскироваться. Мотор удалось завести без особых хлопот. Лейтенант уже хотел дать команду тро-

гаться, когда его внимание привлекло какое-то движение на противоположной стороне реки. Минут через пять он без бинокля уже мог определить, что к мосту движется вражеская автоколонна.

Предупредив экипаж о приближающейся опасности, Цыганок занял свое место в башне и еще до подхода немецких машин тщательно навел орудие на середину моста. Он нажал на спуск в тот момент, когда кабина головной машины попала в перекрестье прицела. В первый момент лейтенанту показалось, что выстрелила не танковая пушка, а вражеский снаряд попал прямо в башню. Сильнейший удар толкнул «тридцатьчетверку» назад и оглушил всех, кто находился под ее броней. Приходя в себя, Цыганок лихорадочно соображал, что же произошло. В танке было полно удушливого порохового дыма. Боясь задохнуться, лейтенант быстро нащупал рукой кнопку защелки люка, высунул голову наружу и жадно, всей грудью вдохнул свежего морозного воздуха. Его сразу поразил непривычный вид башни. Она была без ствола, который во время выстрела улетел вперед вслед за снарядом. Скорее всего, причиной этому был крупный осколок немецкой бомбы, оставивший на стволе вмятину во время вчерашней бомбежки.

На мосту у немцев тоже некоторое время царило замешательство. Развороченный прямым попаданием снаряда грузовик перекрыл путь колонне. Соскочившие с автомобилей гитлеровцы озадаченно смотрели в сторону танка. Потом они все сразу засуетились, забегали и начали рассредоточиваться по обе стороны от дороги.

Цыганок понял, что немцы разворачиваются в цепь. Сейчас они пойдут вперед, чтобы окружить и уничтожить вставшую на их пути «тридцатьчетверку». Их офицеры, конечно, уже успели рассмотреть в бинокль, что танк после выстрела остался без ствола и теперь для них не представлял большой опасности.

Эти тревожные размышления лейтенанта прервал свист мины. Первая мина разорвалась далеко позади. За ней еще две почти разом взметнули снег в нескольких метрах от танка. Мины были небольшие и поразить защищенных толстой броней танкистов экипажа не могли. «Лишь бы пушек у фрицев не было», — подумал Цыганок, прикрывая башенный люк. А гитлеровцы, путаясь в длиннополых шинелях, уже бежали по льду реки. Их цепь разделилась на две части, которые стали расходиться в разные стороны с намерением окружить танк. Из пулемета стрелка-радиста достать наступавших немцев было невозможно, а башенный пулемет мог стрелять только по одной части вражеской цепи. Лейтенант развернул башню влево и дал длинную очередь по бегущим от реки солдатам.

— Шахматов, дай задний ход и поверни машину так, чтобы Коростелев мог стрелять правее, — приказал он механику-водителю.

«Тридцатьчетверка» начала медленно пятиться назад, разворачиваясь влево. Немецкие пехотинцы, обходившие танк с другой стороны, теперь оказались в секторе огня пулемета стрелка-радиста. С этого момента оба танковых пулемета заработали одновременно, и наступавшим гитлеровцам пришлось залечь в снегу. Вскоре они начали подниматься и короткими перебежками возвращаться назад. Через некоторое время от колонны отделилось несколько запряженных лошадьми саней. За ними следовал пеший отряд. Немцы ушли в сторону от дороги, перешли речку по льду и повернули на запад. Экипаж танка Цыганка из-за нехватки горючего и патронов не смог помешать их поспешному отходу.

ПОСЛЕ БОЯ

После короткой стычки с немцами танковый экипаж остался в машине. Со стороны Россоши доносилась приглушенная расстоянием то разгорающаяся, то ослабевающая стрельба. Иногда долетало глухое эхо разрыва артиллерийского снаряда. А вокруг одиноко стоявшего танка было тихо. Мороз не ослабевал. Днем

усилился ветер, через дорогу понесло поземку. Холод в танке стал совсем невыносимым, и Шахватов опять полез с ведром за шиберную перегородку. Содержимое санитарной сумки было сожжено раньше. Пришлось пустить на растопку шапку-ушанку Ирины Беловой. Сама санинструктор осталась в одном подшлемнике. Каждый из членов экипажа стремился сесть поближе к лотку с огнем, но в тесном танке это было не так просто сделать. Вскоре от холода и усталости люди впали в полудремотное оцепенение.

Василий Цыганок очнулся от частых ударов чем-то металлическим по борту машины.

— Эй! Есть здесь, кто живой? — позвал голос снаружи.

В танке все разом возбужденно задвигались. Лейтенант первым выглянул из люка. У «тридцатьчетверки» стояла машина их бригады, а рядом с ней начальник оперативного отдела майор Ягодкин с двумя автоматчиками. Когда Цыганок спрыгнул с танка, майор как-то необычно пристально на него поглядел.

— Ты что, лейтенант, в преисподней побывал?

— Хуже, майор. У черта в зубах.

— Не ранен?

— Самого-то бог миловал, а танк, сам видишь, без ствола остался. С нами раненая — санинструктор Ирина Белова. Ее бы поскорее в санчасть.

— Давайте Ирину ко мне в машину. Мы ее сейчас же в госпиталь доставим.

Цыганок с Шахватовым помогли Ирине сесть на сиденье рядом с шофером, майор Ягодкин с автоматчиками устроились сзади.

— А вы поезжайте в центр города. Наш штаб недалеко от церкви, — приказал Ягодкин лейтенанту перед тем, как машина тронулась.

Штабной автомобиль укатил в сторону Россоси, а трое промерзших до костей и прокопченных танкистов остались у танка. Они были настолько обессилены, что даже радоваться не могли тому, что живы.

— Смотрите, да тут хаты недалеко, — первым проявил активность Коростелев. — Пошли туда, хоть немного погреемся и чего-нибудь горяченького попросим.

Тяжело передвигая затекшие от долгого сиденья ноги, танкисты поплелись к крайней, полузанесенной снегом хате. Из-под низко надвинутого очеретяного козырька крыши на них ледяными бельмами смотрели замерзшие окна. Лейтенант громко затопал задеревеневшими от мороза валенками на ступеньках низенького крыльца, звякнул щекоткой. Он решительно шагнул из тесных сеней в натопленную хату и тут же отпрянул назад, встреченный громкими криками перепуганных женщин.

— Что они, совсем спятили? — ничего не понявший Цыганок растерянно оглянулся на своих товарищей, стоявших у него за спиной.

— Глянул бы ты, лейтенант, на свою рожу, — сказал Шахватов. — В этом доме тебя не иначе, как за нечистую силу приняли. Давай я пойду на переговоры.

— Женщины, пожалуйста, не пугайтесь, — переступая порог, попросил механик-водитель.

— Мамаша, ну, чего вы прячетесь? Свои мы. Разве ж так долгожданных гостей встречают?

— Да кто вас теперь разберет, какие вы гости, — недовольным голосом отозвалась хозяйка, недоверчиво глядя из-за русской печи на Шахватова. За нею стояла закутанная в темный платок молодуха. Ее острые глаза быстрее распознали в чумазах танкистах своих, и она защелкала радостной скороговоркой:

— Ой, мамо, та чи вы ны бачитэ, шо цэ ж наши. А мы зразу пэрэлякались. Дужэ ж черный той товарыш, шо пэрвым вийшов.

— Заходьты, заходьты, люды добри, — присодинилась к дочери сразу подобревшая хозяйка. — Зараз мы вам водычки нагрємо.

Через полчаса умытые, разомлевшие от тепла танкисты сидели за столом вокруг только что вынутого из печи чугунок с украинским борщом. От него шел такой вкусный аромат, что гости сразу почувствовали нестерпимый голод. К этому крестьянскому вареву Коростелев принес из танка вещмешок с консервами и мерзлым хлебом. Цыганковский экипаж впервые за трое суток мог по-настоящему поесть и насладиться домашним теплом.

Лейтенанту так же, как и его товарищам, не хотелось покидать уютную теплую хату, уходить от радужных женщин, но должность обязывала его раньше других вспомнить о службе:

— Погостили, славяне, пора и честь знать. Поехали искать штаб бригады, а то нас еще в дезертиры запишут.

Поблагодарив хозяйку, танкисты, пригибая головы перед низким дверным проемом, друг за другом вышли на улицу. Молодуха в коротких подшитых валенках, в накинутом на плечи платке, из-под которого выглядывали голые локти, выбежала из хаты проводить гостей. Шахватов из открытого переднего люка помахал ей рукавицей, а Цыганок, стоя на башне, приложил по армейскому обычаю руку к виску. Танк, взревев мотором и отбрасывая гусеницами снежные комья, рванул в сторону уже освобожденной Россоши. Услышав гул танкового мотора, из соседней хаты выбежали два паренька. Сгоряча они бросились было бежать вслед за «тридцатьчетверкой», но, поняв, что им не догнать быстрой машины, остановились и долго провожали ее восхищенными взглядами.

— Видел на башне танка букву «С»? Это наш танк, советский! — громко сказал один из мальчишек.

* * *

Во время вступления танкистов Алексеева в Россошь буквы, написанные на танковых башнях, запомнились многим. Не все сразу поняли, в чем их смысл, и поэтому каждый объяснял их значение по-своему. Много лет спустя после встречи с ветеранами-танкистами, освобождавшими Россошь, мы узнали, что эти необычные отличительные знаки придумал кто-то из офицеров штаба 106-й танковой бригады уже перед самым наступлением, когда танки для маскировки побелили, и номеров их не стало видно. На башне танка комбрига И.Е. Алексеева стояла буква «А», а на «тридцатьчетверках» 305-го и 306-го танковых батальонов, которыми командовали майоры Васильев и Сачко, стояли литеры «В» и «С» — начальные буквы фамилий комбатов.

На мраморных плитах центральной братской могилы города Россоши высечены фамилии и имена солдат и офицеров, погибших при его освобождении. В этом трагически длинном списке много фамилий танкистов 106-й танковой бригады, павших 15 января 1943 года в первом бою за город Россошь. Начинает его комбриг гвардии полковник Иван Епифанович Алексеев, а чуть ниже значится: Иван Силантьевич Буряк, заряжающий в экипаже лейтенанта Василия Никифоровича Цыганка.





Татьяна Ивановна Воробьева родилась в городе Россошь. Работает экскурсоводом в отделе эстетического воспитания библиотеки им. А.Т. Прасолова. Участвовала во многих музыкально-поэтических фестивалях. Автор сборника стихотворений «Малиновый чай». Живет в Россоши.

Татьяна Воробьева

НОЧНОЙ ПОБЕГ

* * *

Я все чаще не сплю в ночи,
Бестолково гляжу в окно.
Кукла старенькая молчит.
Этой девочке все равно,
Что хозяйка, совы мудрей,
Молча мается в тишине,
И не спится ей, хоть убей,
И не скоро рассвет в окне.
Кукла, девочка, помоги,
Колыбельную песню спой,
Чтоб не слышались мне шаги,
Когда он уходил к другой.
Стрелки ходиков через раз
Отмеряют времени счет...
Что-то чешется левый глаз,
И поскрипывает плечо.
Не стихи идут — ерунда,
Все уж высказано давно.
Не вернется он никогда,
Хоть смотри — не смотри в окно!
В вязкой бархатной тишине
Не свихнуться бы до утра!
То ли мухой тону в вине,
То ли снится, что спать пора...

В ДЕРЕВНЕ

Два года ничего не пишется,
И год уже как не мечтается.
Здесь, говорят, так вольно дышится!
А у меня — не получается.

Я стала просто бабой Танею,
Кормлю котов, шуршу галошами,
И фестивальные скитания
Сменились повседневной ношею.
Мне голубей считать поручено,
И яйца выбирать назначено.
А я ж к такому не приучена,
И я здесь все переиначила!
Сачком ловить пытаюсь кроликов,
(они теперь в саду встречаются).
Придется мне вставать на ролики,
А так догнать — не получается.
Они удрали так стремительно,
Пока я щурилась мечтательно:
«Ах, как свобода упоительна!»
Поймать их нужно обязательно!
Приедет зять — с меня ведь спросится,
Зачем кроли по саду носятся.
А также стала я сутулиться,
Хоть и прошло немного времечка:
Когда несла яйцо от курицы —
То не вписалась в дверцу темечком...
В уборной деревенской старенькой,
Где дверь закрыть не получается —
Как будто на высокой сцене я,
И вновь мечты мои сбываются!
Зовут дороги бесконечные,
Душа моя в неволе мается,
Взлететь бы в небо птицей певчею,
Да вот никак не получается!..

НОЧНОЙ ПОБЕГ

По тканой дорожке шагну босиком осторожно,
Украдкой от внука в далекое детство нырну,
И все невозможное станет, как в сказке, возможным,
Вот только бы скрип половиц не вспугнул тишину.

Взлечу на крылечко, и дверь потихоньку открою,
И в домике старом во все уголки загляну,
У печки на корточках я незаметно устроюсь,
Вот только бы скрип половиц не вспугнул тишину.

Красивая мама с улыбкой заглянет в окошко,
Она не заметит под шарфом мою седину...
Родная моя, ну постой за окошком немножко!
Лишь только бы скрип половиц не вспугнул тишину.

Скворечник пустует. Летите к нам птицы, летите,
Несите на крыльях в наш дом молодую весну!

И всех, кто когда-то в нем жил — соберите,
Взорвите распевом родных голосов тишину!

...Я маме рукой помахала, на миг оглянулась,
И с веточкой белой сирени из дальней страны
По тканой дорожке в реальность под утро вернулась
Никто не заметил побег, не вспугнул тишины.

МАЛИНОВЫЙ ЧАЙ

Две чашки с цветком-бирюзой
Дымятся малиновым чаем.
Рассветное утро с тобой,
Мой милый, впервые встречаем.
В корзинке соцветье конфет,
С нехитрым узором печенье,
В окошках сиреневый свет,
На стеклах — мороза плетенье.
Ах, миг! Превратись с бесконечность,
Оставь нас, забудь невзначай!
Ты знаешь, я целую вечность
Пила в одиночестве чай.



**Татьяна Малютина,
Петр Чалый**

СРАЖАЛИСЬ НЕ ЗА ОРДЕНА

КАЗАЧЬЯ ДОЛЯ

*Не носить тебе Золотой Звезды,
Что в награду тебе дана.*

Михаил Тимошечкин

Три точки на подробнейших географических картах связаны судьбой одного человека. Речь об Иване Федосеевиче Лубянецком — Герое Советского Союза, командире танкового батальона.

Первая — село Вознесенское. В пору рождения младенца, шел 1914 год, оно числилось по Ставропольской губернии. Известно, что казачья семья осталась без кормильца. Отец то ли погиб в гражданскую войну, то ли жизнь ему укоротила болезнь. Для Вани школьное детство оборвалось со второго класса. Мужичок-с-ноготок впрягся в домашний крестьянский воз. Но в осиротелую семью все же заглянуло счастье. Вдова Агафья Семеновна глянулась, полюбилась, по воспоминаниям близких, «честному душевному человеку» — Артему Платоновичу Лупоносу.

Отчима, красного партизана, в начале коллективизации направляют председателем колхоза в станицу Новоцерибиновскую — из степной глубинки в Приазовье Краснодарского края. Станица станет милой малой родиной казачонку. Отчим сказал: «Ваня, нужно учиться. Без грамоты теперь никуда, лишь волам хвосты крутить». Сын согласился, но показал свой характер: «К малышне переростком в третий класс не пойду». Шагнул через две ступеньки в пятый класс. Оказался прилежным и способным учеником. С хорошими оценками и похвальной грамотой окончил тогдашнюю семилетку.

По подсказке Артема Платоновича, в 1934 году Иван Лубянецкий поступил в Ейский сельскохозяйственный техникум. Учить сына было не накладно. При отличной успеваемости он получал стипендию. К городку на Азове путь близок. В выходной студент дома, где для него на предстоящую неделю всегда была готова торбочка с продуктами.

Диплом получил в двадцать лет. Лубянецкому сразу же вручили повестку в армию. Вернувшись из военкомата, доложил родным: «По комсомольской путевке меня направляют на учебу в Ульяновское бронетанковое училище». «Что ж, —

только и развел руками Артем Платонович, — не дождалась наша машинно-тракторная станция своего механика. Кому-то Отечество тоже надо защищать». Мать незаметно вытерла слезу, вздохнула: «Казачья доля».

Сельхозтехникумовские знания оказались хорошим подспорьем курсанту в учебе. Тракторное дело родня танковому. Быстро изучил и боевую машину. Сельскому парню физические нагрузки были тоже по плечу. В ряду первых, скажем, пришел к финишу лыжного пробега Ульяновск — Куйбышев.

На бравых курсантов в ладно скроенной и красивой военной форме, конечно, засматривались девчата. В один из счастливых весенних вечеров выпускник училища, без пяти минут офицер, встретил «хорошую девушку Лиду». Она и стала его женой.

Семейная жизнь молодого лейтенанта складывалась из встреч и разлук. Вскоре поезд увозил его на Дальний Восток, где «на границе тучи ходят хмуро». У озера Хасан, «в атаке огневой», принимал крещение в боях с японскими самураями танковый экипаж Лубянецкого.

Рубежный день — 22 июня 1941 года, когда в одночасье на земле рухнул мир, — Иван Федосеевич служил в Риге. Жену с сынишкой он успел проводить к родным на Кубань. Сам же в непрерывных танковых сражениях придерживал фашистов, остервенело рвавшихся к Ленинграду. В Новощербиновскую посылал короткие письма. Восьмого июля 1941-го: «Дорогая Лида! Здорова ли ты, здоров ли сын? Мысли о вас захватывают меня каждую минуту и, особенно, в минуты опасности. Как дорога мне ваша жизнь, как дорога мне ты...»

Осенью Лубянецкого отзывают с фронта в Москву.

«Дорогая Лида!

Наконец сбылась моя мечта: я принят в академию... Учиться нелегко, но военные занятия сейчас необходимы, как воздух. Сознание этого придает мне силы и энергию. Я знаю, что полученные знания мне пригодятся в будущих боях...» Когда немцы в бинокли разглядывали башни Московского Кремля, академию перевели временно в Ташкент. Сюда в гости к нему нагрянет Лида. Не ведали, что это будет их последняя встреча. Хотя офицер, в бою видевший, на себе испытанный, как силен и жесток враг, конечно, понимал, что выйти из этой кровавой сечи живым доведется не каждому. Потому он спешил выговориться в письмах к любимой, выложить «несказанное, нежное».

«Здравствуй, Лидуся!

Как хочется посидеть с тобой в одной комнате близко-близко друг к другу, а чтобы сын наш играл здесь же.

Весна! Все оживает, все с удесятеренной силой рвется к жизни. Весна! Одно это слово кричит о красоте, о радости, о жизни. Весна четвертая, когда мы стали жить с тобой вместе, и как счастлив был бы я, если бы эта весна стала первой бы нашей весной. Не в смысле том, чтоб снова жизнь начать, а чтобы эту весну нам втроем провести так, как у нас первая наша весна прошла.

Жизнь хороша! И все, что прожито, напоминает мне тоже весну. Весна и самая красивая. Я счастлив, что в жизни моей был вечер встречи с тобой, и он, этот замечательный вечер, решил судьбу дальнейшей моей жизни. Я хорошо помню, когда в этот вечер после расставания с тобой что-то новое появилось в душе моей — зародилась любовь в самых лучших ее красках. Мысленно я сказал себе, еще не убедившись во всем происшедшем: «Значит, эта девушка — моя звезда». И я не ошибся. И все, что лучшее на свете и в силах наших — для тебя, мой друг любимый. Быть может, за эти годы я и не дал того, что ты хотела, что так лелеяла еще девчонкой, сидя за пушкинским романом. Здесь ряд причин, но я любил тебя всегда. А сейчас за поцелуй, за взгляд готов я отдать жизни годы.

Я люблю тебя.

И за все, за все тебе я благодарен. За годы, прожитые вместе, за то, что долго ожидала и рано утром провожала, за то, что сына ты родила и вырастила, за то, что тайны сохраняла, за твой приезд, за то, что ты умеешь быть другом жизни и все хорошее ценить. В сердце моем трещин нет, и в голову мою не проникнут сомнительные мысли. Я люблю тебя. И вообще, курносая, чтобы ты никогда не думала о плохом, чтобы ты была веселенькой и умненькой девочкой, рыжая, белокурая моя. Если ты будешь много беспокоиться, я приеду и тебя буду ругать. Ясно? Моя, моя милая, родная Лидочка, подними головку, взгляни и улыбнись.

Я живу хорошо, чувствую себя тоже прекрасно. Когда выеду из Москвы, не знаю. Я постараюсь дать тебе телеграмму, и ты будешь знать новый адрес.

Целую тебя крепко, крепко, целую Шурика, береги его, а то он сейчас как огонь, не балуй его сильно. А в общем, ты знаешь, что делать. И делай так, как ты хочешь, но хорошо. Здоровья ему, маленькому, и счастья!

Целую папу, маму, Катю, Валю. До встречи, родные!

Ваш Ваня.

23 мая 1942 года».

В июне 1942 года выпускник ускоренного академического курса уже в действующей армии на Воронежском фронте. В недавно сформированной 115-й танковой бригаде старший лейтенант Иван Лубянецкий был назначен командиром 322-го танкового батальона.

Враг же вновь, как летом сорок первого, нахраписто пошел в наступление. Подминал траками танковых гусениц уже донские и родимые кубанские степи. С невытравимой из души болью узнал, что его родимая станица во вражеской неволе. Понимал: отец и мать, жена и сын вряд ли успели уйти в наш тыл. И если фашисты дознаются, что сын, муж — советский офицер? Не оставят в покое. Терзал душу недобрыми мыслями, писал сестре Лиды:

«Здравствуй, Тася!

Я получил твоё открытое письмо. От всей души благодарю тебя, Тасенька. Ты хорошо понимаешь мое положение. В добавление ко всему я получил свои письма к Лиде обратно. Лучше бы их не присылали, для меня было бы намного легче.

Тася, твою открытку я читал несколько раз, мне тяжело, но все же улыбнулся, читая слова, где ты успокаиваешь меня. У вас от природы, наверное, добрые сердца. Если Лидка осталась на месте, спокойно мне жить нельзя. Ведь в этом я виновен больше всех. Я недосмотрел, не уберег этого милого нежного ребенка...

Я не хочу обременять тебя тяжелыми думами. Будем надеяться, Тася, что наши любимые Лидуся и Шура, отец и мама живы, здоровы. И наступит день встречи, счастливый, радостный день. Ведь Лидонька так удачлива, она счастливой должна быть. Только бы слово от нее, снова жизни силы вернулись бы ко мне.

Я не хочу тебе много говорить, хочу только сказать, что злобы у меня против фашистов на всю мою жизнь хватит. Рассчитаемся за все.

Тася, я тебе посылал деньги, смотри не вздумай прислать обратно.

Пиши мне, Тасюша, ведь из родных ни от кого больше сейчас я писем не получаю.

Целую тебя крепко, целую Славика. Передавай привет Грише.

Ваня.

20 сентября 1942 года»

Время расплаты с врагом вот-вот будет означено военными приказами.

Придавал сил Сталинград, где в адовом пекле корчились в предсмертных судорогах отборные гитлеровские войска. Не дать им вырваться из котла или до лучшей поры надежно укрепиться в самом городе — эти задачи решались на Среднем Дону в ходе боевой операции «Малый Сатурн». Напомним: 115-й танковой бригаде в связке со стрелковыми дивизиями нашей 6-й армии предстояло разгромить части 8-й итальянской армии, которые держали оборону по крутому правому речному берегу от нынешней автотрассы «Дон» напротив районного центра Верхний Мамон до села Новая Калитва.

Шестнадцатого декабря начался штурм высот. Танкисты, уже переправившиеся через Дон на исходные позиции, с Осетровского плацдарма ударили во фланг и тыл противника.

Семь суток было отмеряно свыше воевать комбату Лубянецкому. Его батальон во взаимодействии со стрелковыми частями 172-й стрелковой дивизии освобождал воронежские села и хутора Дубовиково, Оробинск, Цапково, Ивановка, Первомайское. Его батальон участвовал в полном разгроме итальянских дивизий «Коссерия», «Равенна», немецких пехотных подразделений. Его батальон «уничтожил 35 танков, около 90 орудий разного калибра, около 200 автомашин, подавил 220 пулеметных огневых точек, истребил до 1000 и захватил в плен до 800 солдат и офицеров врага. Лично Лубянецкий огнем своего танка уничтожил 8 танков, 11 орудий и 10 пулеметных дзотов противника».

Язык документа краток, изложены факты, и только факты. Их дополняют свидетельства участников боев. Тем более — если видишь поле сражения глазами противника. Воспоминания «Дорога на Сталинград» оставил потомкам немецкий пехотинец Бенно Цизер, какому выпало остаться живым в этой битве в донских степях: «Мороз был у нас не только снаружи, но и внутри. Унылое свинцовое небо в сплошной облачности было холодным, однообразным, совершенно безжалостным. Куда ни глянешь, повсюду один только снег — бесконечное снежное пространство».

В доме, в котором «не было и следов бывших владельцев: либо они сбежали, либо были убиты», подселили к бывалым фронтовикам недавно прибывшее пополнение из необстрелянных рекрутов. Новобранцев в вечерний час вразумлял «худой, с глазами навывкате фельдфебель, обросший бородой»:

«...Летом мы громили русских в пух и прах, почти играючи. Потом пришли холода и снег, где они в своей стихии. Теперь уже они атакуют, а мы барахтаемся тут в сугробах целый день и стонем от жестокого холода. Мы маемся так уже месяцами. Мы несем потери за потерями. Слышите этот шум? Ночные атаки — в этом русские спецы. Но говорю вам, это как бой с тенью, прежде чем ты это осознаешь, нож уже будет у тебя между ребер. А потом, их танки...

Вы когда-нибудь видели танк с советской звездой в движении? Если нет, то вам будет на что посмотреть! А когда услышите лязг их гусениц и броситесь в снег, вспомните меня. И вспомните также этого сопляка тут, который говорит, что на фронте не так уж плохо. Вы не сможете отделаться от мысли, что этот монстр движется прямо на вас. Он ползет вперед очень медленно, проходя всего какой-нибудь метр в секунду, но идет прямо на вас, и с этим ничего не поделаешь. Ваша винтовка бесполезна — вы можете с таким же успехом плюнуть на свою ладонь. Кроме того, и в голову не приходит стрелять. Вы просто замираете, как мышь, хотя чувствуете себя так, будто кричите от ужаса. Боитесь и пальцем пошевелить, чтобы не разозлить зверя. Вы себе говорите, может быть, вам повезет, может быть, он вас не заметит, может быть, его внимание отвлечено на что-нибудь еще. Но затем возникает

новая мысль, что вдруг удача отвернулась от вас и он ползет прямо на ваш окоп, и вы уже ни живы, ни мертвы. Вот когда вам нужны нервы, такие крепкие, как стальные тросы. Я видел, как Хансман девятой роты попал под гусеницы Т-34 и погиб. Он вырыл себе недостаточно глубокий окоп — смертельно устал, чтобы копать...»

Но противник чаще не терялся. Кто-то действительно «бежал быстрее лани», сдавался в плен. Зато самая боеспособная альпийская дивизия «Юлия» вместе с немцами без паники заняла запасную линию обороны. Она пролегла по степным высотам от Новой Калитвы до железнодорожной станции Пасеково и дальше — к украинскому селу Высочиновка Марковского района ныне Луганской области. Так освобожденное Первомайское оказалось на фронтовой черте. С полевых холмов — Солонцы и Осиянка, — означенных на военных картах, как высота 205,6, враг держал село под прицельным огнем. Жители снова вынужденно покидали свои хаты и уходили к родичам и знакомым на южные улочки, скрытые бугристым перевалом.

С ходу скovyрнуть это «змеиное гнездо» нашим войскам не удалось. Яростные атаки и контратаки продолжались недели две. Высота переходила из рук в руки. Итальянцы называли ее «кастрюля кипящая». Сидеть на ней, действительно, было слишком горячо. Но враг не желал терять выгодные позиции. Он держал под огненным контролем окружающую местность на два десятка километров.

«23 декабря 1942 года во время штурма высоты 201,8 у хутора Серобабин танк Лубянецкого был подбит и загорелся, а сам он был ранен. Покинув танк, вступил в бой с окружившими его немецкими автоматчиками, из личного оружия застрелил 10 гитлеровцев и пал смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм Ивану Федосеевичу Лубянецкому было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина».

В армейской газете было напечатано это письмо.

«В жестоких боях с фашистскими захватчиками пал смертью героя наш боевой друг, товарищ и командир, Лубянецкий Иван Федосеевич.

Вечная память и слава Герою, отдавшему свою молодую жизнь за победу над врагом. Мы знали его как стойкого, волевого, храброго и мужественного командира-танкиста. Его беззаветная преданность Родине и личная храбрость всегда решали исход тяжелых боев в нашу пользу. Умелый, отважный, вселявший в каждого бойца веру в победу, личным примером воодушевлявший нас на боевые подвиги, Лубянецкий был образцом советского командира-воина.

Мы горды тем, что воевали вместе с дорогим нам Иваном Федосеевичем.

Мы клянемся, фашисты еще не раз узнают силу мощных ударов Красной Армии. Они будут уничтожены.

Мы отомстим за смерть славного командира, нашего боевого товарища.

*Командир части 06675 полковник Мельников.
Заместитель командира по политчасти подполковник Корякин
Командиры — Смучек, Белов, Романченко, Примак, Котов,
Иванов, Угаров, Карамышев, Колесов, Барабаш, Николаев,
Ставровский, Гайдуков, Тронлин, Тимофеев, Попов».*

...Танк командира отремонтировали. В бой машина шла с именем комбата на башне. Батальон возглавит лейтенант Иван Дмитриевич Мерзляк. Отважный воин. Погиб смертью храбрых при освобождении родной Украины. Тоже Герой Советского Союза.

В 1960-е годы наставник следопытов Первомайской школы Митрофан Дмитриевич Савенков с учителем-краеведом из Новой Калитвы Иваном Ивановичем Ткаченко разыскали сведения о подвиге Лубянецкого. Тогда же школьной пионерской дружине присвоили имя героя.

В Первомайское с Кубани приезжали родители Ивана Федосеевича, а также родственники павших воинов и ветераны-освободители. Те, кто штурмовал высоту 205,6, и сельские старожилы, хоронившие погибших зимой сорок третьего, утверждали, что именно здесь пал смертью храбрых комбриг. Но в наградном листе, хранившемся в архиве, указывалась иная высота — 201,8.

Сочли это ошибкой.

Как удалось нам установить сейчас, сорок лет спустя, документ точно указывает место гибели Лубянецкого. На карте военных лет высота 201,8 означена в степи чуть западнее Первомайского — вблизи исчезнувшего ныне Серобабин хутора. На ней тоже находился вражеский опорный пункт. В сборнике «Сталинградская битва. Хроника, факты, люди» (Книга вторая, Москва, 2002 год. Страницы 268-269) сообщается:

*«ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ № 358
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ на 8.00. 24.12.42 г.*

В течение 23 декабря войска Юго-Западного фронта в центре продолжали преследовать немецко-фашистские войска...

6-я армия на правом фланге закреплялась на достигнутом рубеже, на левом фланге, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжала вести наступательные бои в прежнем направлении.

127 стрелковая дивизия закреплялась на линии: северо-западная окраина населенного пункта Новая Калитва—молочно-товарная ферма — высота 176,2 (два километра юго-западнее нп Новая Калитва);

172 стрелковая дивизия выдвинулась: Первомайское—Серобабин — высота 201,8;

350 стрелковая дивизия вела бой западнее населенного пункта Косовка и в районе рощи восточнее Фесенково;

267 стрелковая дивизия занимала оборону на рубеже Голая—Новомарковка».

Неожиданно нашелся и проводник танкистов, пехотинцев. В прожитом она колхозный экономист. Лидия Григорьевна Посвежинная вспомнила, что ей мама не раз рассказывала, как «ее свекор, мой дедушка Прокофий Дмитриевич Малиев, скрытно, чтобы не попасть под вражеский обстрел, полевыми дорогами вывел наших к Серобабину хутору. Когда возвращался домой, услышал — там, позади, за Высоким лесом, гремел бой. А наше село обстреливали с Солонцов. У нас во дворе разорвалась мина, и дедушку убило осколком».

Поскольку в документах не говорится о захоронениях на высоте 201,8 у хутора Серобабин, ныне он не существует, то погибших, в том числе и тела комбата-танкиста Героя Советского Союза Лубянецкого Ивана Федосеевича, его боевых товарищей, возможно, увезли с поля боя и похоронили на южной окраине Первомайского в силосных ямах. Хотя есть и иные сведения: с павшими воинами прощались на поле боя.

Из окрестных сел весной 1943 года останки перенесли в общую братскую могилу в Новую Калитву, бывшую тогда районным центром. Находится она в парке на берегу Дона. Позже здесь установили памятник.

Уже в 1985 году на окраине Новой Калитвы был сооружен мемориал «Миронова гора», где установили символические надгробья с именами воинов, захороненных в центральной сельской братской могиле.

На скрижали занесена фамилия — **Лубянецкий И.Ф.**

Девятого мая 1979 года в сельском парке села Первомайское принародно открыли бюст Лубянецкого. На торжества приехал сын Александр Иванович. Он поблагодарил школьников и учителей, всех сельских жителей за то, что хранят память об отце.

Бюст Герою установлен у школы в станице Новощербиновской. Его именем названа улица, на которой сохранился домик, где жил Иван Федосеевич. Мемориальная доска открыта в Ейском техникуме-колледже, где он учился.

* * *

...В кармане кителя погибшего командира хранилось неотправленное письмо жене:

«Идут жаркие бои. Почти не выходим из машин. Но настроение у нас хорошее. Бьем фашистскую сволочь беспощадно... И если я не вернусь, Лида, пусть сын знает, что отец его погиб не зазря».

ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА

Нашего земляка помнят, им гордятся в Сибири, точнее — в Красноярском крае.

Арсеньев Иван Николаевич — воин самой кровопролитной в истории человечества Второй мировой войны, Герой Советского Союза.

Его должны бы помнить, им должны бы гордиться и мы. Прежде всего там, где прошли его раннее детство, молодость — в нынешнем Подгоренском районе, в городке на Дону — Павловске, в Воронежском государственном техническом университете...

* * *

Слобода Россошь в 1923 году обрела статус города. К семидесятилетию этой памятной даты у центральной братской могилы воинов, павших в сражениях Великой Отечественной войны, были установлены бюсты землякам — Героям Советского Союза. В том 1993 году само событие стало значимым уже потому, что в стране вершилась «новая капиталистическая революция», в угоду ее властелинам переписывалась история Отечества. И прежде всего — зловонными потоками грязи чернился подвиг советского народа, спасшего мир от фашистской чумы.

Черные «копатели» — кто пером, кто на клавиатуре компьютера, на телеэкране, в кино — отработывают иудины сребреники и сейчас, перекраивают историю войны, но разговор не о них.

Еще в час открытия аллеи Героев у жителей Россоши появились вопросы «местного значения». В почетном ряду были «пропущены» — уроженец села Стеценково Дмитрий Каленик и работавший первым секретарем райкома партии в шестидесятые годы Михаил Крымов. Объяснить это можно было тем, что в ту пору в «демократической» печати при уточнении обстоятельств боя истово отменялся факт героизма 28 воинов, которые ценою своей жизни вместе с братьями из дивизии Панфилова, с другими частями Красной Армии «не отдали Москву» врагу. У Крымова, как и у любого руководителя, тоже имелись свои недоброжелатели.

Надеемся, справедливость в конце концов будет восстановлена.

Памятники встали в ряд. Но сразу возникла «загадка Арсеньева». Старший сержант уже окончил свой земной путь в далекой Сибири. Она ему после войны стала милой родиной. Домой, в донские края, Иван Николаевич вроде бы не возвратился. В одних книгах утверждалось, что Иван Николаевич родился в слободе Россось, в других — в слободе Белогорье одного и того же Острогожского уезда. Биографию Арсеньева пытались прояснить знатоки местной истории. Но след его «затерялся» в засекреченных оборонных предприятиях, где он трудился, в закрытых военных городках, где жил.

Истину могли указать только документы-первоисточники.

Одни из них хранятся в архиве Министерства обороны Российской Федерации. Это — наградные листы Героя.

Вчитаемся вместе в «краткое, конкретное изложение личных боевых подвигов или заслуг».

Старший сержант находился на фронте с июля 1941 года по май 1945-го непрерывно. Всю войну прошел в этом звании и в должности командира отделения связи. Участник многочисленных оборонительных и наступательных боев с немецкими захватчиками. Своими неоднократными подвигами прославлял советское оружие.

В кровопролитные бои вступил в Смоленском сражении у Ельни — Ярцево, а закончил в Германии вблизи реки Эльбы.

«В наступательных сражениях за город Калинин в декабре 1941 года, будучи отрезанным на передовом наблюдательном пункте, с двумя телефонистами и одним разведчиком, организовал круговую оборону. Воины в течение десяти часов огнем из личного оружия и гранатами отражали атаки роты пехоты противника. Лично Арсеньев уничтожил больше двадцати вражеских солдат».

Первую награду — медаль «За отвагу» — воину вручил в марте 1943 года командир 18 гаубичной артиллерийской бригады гвардии полковник Пылин. Пушкири расчищали снарядным огнем путь наступавшей пехоте. Находившийся на переднем крае офицер-корректировщик сообщал своим батареям точное местонахождение вражеских огневых точек. Четырех-пятикилометровую проводную телефонную связь обеспечивало отделение Арсеньева. В боях за деревни Дубище и Островское ранило всех его бойцов. Сержант сам трое суток, «не имея отдыха ни днем, ни ночью», под шквальным огнем противника устранял порывы на линии. При его участии дивизион подавил две вражеские артиллерийские батареи, уничтожил 15 пулеметных гнезд, три противотанковых орудия. А еще отразил три вражеские контратаки пехоты с танками, истребил до 150 немецких солдат и офицеров. Освобожденные деревни удержали в своих руках.

В августе 1943-го близ города Орел в полосе действия 16-й армии тоже «показал пример мужества и отваги». Вместе с начальником разведки дивизиона в боевых порядках пехоты быстро указывал своим артиллеристам вражеские цели. Чтобы связь не прерывалась, пришлось устранить 35 обрывов на посеченной осколками линии. Зато разрушили снарядами 15 дзотов, отдельно — 10 пулеметов, 2 орудия и самоходную пушку. Пехотинцы смогли освободить шесть населенных пунктов. В этих боях Арсеньев «заработал» орден Красной Звезды и... конгузию. Скручивал, изолировал провода, перебитые взрывом мины. А обстрел не прекращался. Тут и грохнул вражий гостинец совсем рядом. Землей присыпало, сознание на какой-то миг потерял. Очнулся, шевельнулся — цел, невредим. Подняться не может. В голове звон, все вокруг кружится. Товарищи подхватили под руки. Отлежался в полевом лазарете и вернулся в строй.

«В ожесточенных боях за город Калинковичи в Белоруссии зимой 1944 года только за один день 9 января, поддерживая связь со своего передвижного наблюдательного пункта с наблюдательным пунктом командира дивизиона, под массированным пулеметным и артиллерийским огнем противника, устранил 29 порывов на линии связи. Благодаря бесперебойно работающей связи, огнем дивизиона были уничтожены артиллерийская батарея, четыре пулемета и более двухсот солдат и офицеров. Разрушены два наблюдательных пункта, три ДЗОТа и подавлен огонь двух минометных батарей противника. Поддерживаемый огнем наших пушек, 140-й стрелковый полк 9-го стрелкового корпуса с малыми потерями овладел деревнями Александровка, Малые Автюевичи, Буда, крупными опорными пунктами, прикрывавшими подступы к городу Калинковичи.

В июле 1944 года 3-й батальон 605-го стрелкового полка под прикрытием огня артдивизиона форсировал реку Западный Буг. Старший сержант Арсеньев, преисполненный ненависти к врагам своей Родины, ни на шаг не отступал от пехоты. Под губительным пулеметным и артиллерийским огнем противника с тремя катушками за плечами и автоматом в руках вплавь преодолел реку. Противник крупными силами пехоты и танков несколько раз контратаковал наши стрелковые подразделения. Товарищ Арсеньев одновременно передавал команды по корректировке точной стрельбы наших артиллеристов и непрерывно вел огонь из автомата по атакующей пехоте противника. Лично убил 38 немецких солдат и офицеров. Контратаки были успешно отражены с большими для врага потерями».

Сержант вновь был награжден второй медалью «За отвагу».

«В боях за удержание плацдарма на западном берегу реки Висла южнее города Варшава в августе 1944 года Арсеньев показал образцы мужества и отваги. Противник в течение с 5 по 14 августа ежедневно по десять и более раз крупными силами пехоты и танков, при поддержке массированным огнем артиллерии и непрерывной бомбардировкой с воздуха, днем и ночью пытался сбросить наши части в Вислу. Арсеньев, презирая смерть, на всем протяжении боев обеспечил бесперебойную связь с нашим дивизионом, устранил при этом более 120 порывов на линии связи. Противник, неся огромные потери от огня нашей артиллерии, прекратил атаки и перешел к обороне».

Преследуя врага от Вислы до Одера, особенно большую выдержку, личную храбрость и инициативу старший сержант Арсеньев проявил при взятии пояса укреплений у города Альтдамм. Шестнадцатого марта 1945 года заменил тяжелораненого начальника связи дивизиона. Противник переходил в контратаки. В критические моменты в ходе трехдневного наступления бойцы Арсеньева и сам сержант сумели быстро ликвидировать обрывы на линиях. Без единой задержки артиллеристы получали приказы и посылали снаряды туда, где требовалась помощь пехоте. 175-я стрелковая дивизия смогла на двенадцать километров углубиться в оборону противника и подойти к важному узлу сопротивления — городу Врицен. Распечатали, по сути, для войск 1-го Белорусского фронта дорогу на Берлин. Иван Николаевич был удостоен ордена Отечественной войны II степени.

Из наградного листа: *«В мае 1945 года в районе города Ратенов, что западнее Берлина, Арсеньев первым со средствами связи и группой автоматчиков на бревнах под обстрелом противника форсировал реку Хафель, приток Эльбы. Благодаря быстро проложенной связи дивизион своевременно поддержал боевые действия нашей пехоты и своим огнем уничтожил три станковых пулемета, более 200 солдат и офицеров и подавил вражеские огневые точки — зенитную*

батарею и два орудия прямой наводки. Арсеньев поддерживал бесперебойную работу связи под огнем противника, устранил на линии более 50 порывов.

За неоднократные подвиги на фронтах Отечественной войны, в результате которых наносились большие потери противнику в живой силе и технике, что приближало час нашей окончательной победы, старший сержант Арсеньев достоин присвоения звания Героя Советского Союза.

*Командир 432 гаубичного артиллерийского полка РГК
Полковник Дарчук.*

9 мая 1945 года

*Командир 18 гаубичной артиллерийской бригады прорыва РГК
гвардии генерал-майор артиллерии Пылин.*

9 мая 1945 года

*Командир 6 артиллерийской Мозырской ордена Ленина
Краснознаменной дивизии прорыва РГК генерал-майор артиллерии Зернов.*

*Командующий артиллерии 47 армии
гвардии генерал-лейтенант артиллерии Годин.*

*Командующий войсками 47 армии Герой Советского Союза,
гвардии генерал-лейтенант Перхорович.*

Член Военного совета армии генерал-майор Королев.

*Командующий артиллерии 1 Белорусского фронта
генерал-полковник артиллерии В. Казаков.*

14 мая 1945 года.

**Присвоено звание Герой Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда.
Указ от 31.05.45 года.**

Вот как воевал наш земляк.

В том, что Арсеньев — земляк, утверждают начальные записи в «Наградном листе».

«С какого времени в Красной Армии — с сентября 1938 года».

«Каким РВК призван — Россошанским Воронежской области».

Вот фотография, скорее всего, из победного мая. Сидят рядышком на гнутых «венских» стульях два друга. Пилотки надвинуты на лоб. На полевых гимнастерках — ордена и медали. Несвычно сложены руки на груди, закинута нога за ногу. Сапоги — кирзачи. Слева — наш Арсеньев. Худощав, скуласт, белобрыс. Солдат как солдат. Еще не верится, что война позади. Еще не знает, что он Герой. Как же иначе — Роди-ну освободил, две державы покорил. Мир спас от фашистской нечисти!

...Рад боец. Всю войну пройти «от звонка до звонка», пройти сквозь огонь и дым, сквозь смертельные огни и воды — и выйти невредимым.

В счастливой рубашонке родился крестьянский сын?

Не совсем.

Его «автобиографию» помог нам разыскать тоже земляк, уроженец села Первомайское-Дерезоватое, Петр Иванович Ремезов в архивах засекреченного города с оборонными предприятиями Красноярск-45, ныне Зеленогорск.

«Я, Арсеньев Иван Николаевич, родился 25 декабря 1918 года в деревне Белогорье, Белогорьевского района Воронежской области».

Здесь нужно уточнить. Белогорье имело статус «слободы» и входило в ту пору в Острогжский уезд Воронежской губернии.

«Родители занимались сельским хозяйством.

Отец ушел на службу в Красную Армию. Погиб на фронте в 1920 году. А в 1925 году умерла мать».

Иван Николаевич писал служебный документ, в подробности своего сиротского детства не вдавался. Но его рассказы записал журналист Дмитрий Кадочников: «Два года спустя после кончины мамы Ваня ушел из слободы. Кто ведает, как сложилась бы дальнейшая судьба девятилетнего мальчишки, если бы его, безпризорника, не сняли с поезда на ближайшей железнодорожной станции Россошь и не отправили почти домой. Напротив Белогорья через луговую пойму за Доном-рекою стоит старинный воронежский город Павловск. Он славен морской историей — на здешней судоверфи сам адмирал Федор Ушаков принимал первые боевые корабли для Черноморского флота. А еще город запомнился Ванюше богатыми арбузными базарами».

«Я воспитывался, — пишет далее Иван Николаевич, — в Павловском детском доме, где окончил восемь классов.

По окончании в 1935 году поступил работать счетоводом в совхозе «Пробуждение». Это рядом с железнодорожной станцией Подгорное. Отсюда меня призвали в Красную Армию в сентябре 1938 года, в рядах которой служил по ноябрь 1945-го.

Участник Отечественной войны с июля 1941-го по 9 мая 1945 года в качестве командира отделения связи.

Коммунист с апреля 1943 года.

Награжден: орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями «За отвагу» — дважды, «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». В мае 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза».

С фронта воин вернулся на родину, поезд довез его на станцию Подгорное. Пришел встать на воинский учет, а его пригласили поработать начальником административно-хозяйственной части в районном военкомате.

Двадцать восемь лет показались ему еще несолидным возрастом. Семейей пока не обзавелся.

«В августе 1946 года поступил учиться в Воронежский радиотехникум. Окончил его в 1950-м. Был направлен на работу в Уральскую базу технического снабжения Главгосстроя СССР, где проработал до апреля 1952 года. После переведен в город Томск на оборонное предприятие в должности инженера-вакуумщика. С 25 августа 1955 года снова перевели на другое оборонное предприятие, где и работаю по настоящее время».

На листе размашистая подпись — Арсеньев.

Сегодня уже не тайна. Иван Николаевич был призван ковать ядерный щит Отечества.

«Во глубине сибирских руд» в Красноярском крае начиналось в рамках масштабного проекта по созданию ядерного оружия и ядерной энергетики сооружение электрохимического завода по обогащению урана. В 1962 году он вошел в ряд действующих предприятий атомной промышленности Советского Союза.

За успехи в освоении новой техники и передовой технологии коллектив завода был награжден орденом Трудового Красного Знамени. К этой награде лично причастен и инженер Арсеньев. В предпенсионные годы Иван Николаевич работал инспектором Центрального Комитета профсоюзов по охране труда и технике безопасности.

Скончался Арсеньев 13 февраля 1984 года. Прах его покоится на Аллее почетных граждан Зеленогорска. Имя воина присвоено детскому клубу боксеров, ежегодно в память героя проводятся турниры.

В городском музее есть портрет Героя. В витрине выложены награды, документы, описание его боевого пути.

ПО ПОЛЮ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ

В Россоши и Воронеже, в Кантемировке и белгородской Прохоровке, в Каменке и луганском Старобельске на пьедесталах стоят танки с вознесенными к небу пушечными стволами.

Танки стоят не только в нашей округе — от Волги до Эльбы. Там, где по полю Великой Отечественной — Священной войны — танки грохотали.

Там, где слава наша шла.

...В Россоши с 16 января 1943 года, когда в день освобождения от немецко-итальянских фашистских захватчиков настал праздник на нашей улице, мы славим всех воинов. Но — особые почести отдаем танкистам. В первую очередь называем Героев Советского Союза Ивана Епифановича Алексеева, Ивана Федосеевича Лубянецкого. А вот третий богатырь — Федор Семенович Кобец по странно непонятному стечению обстоятельств непростительно оказался в забвении.

О нем и его боевых товарищах — наш рассказ.

Его родина — днепровское украинское село Мошорино, ныне Знаменского района Кировоградской области. Птичья фамилия в крестьянской семье прижилась, скорее всего, из прозвища. Кобец, кобчик — птах из рода орликов. Свое фамильное имя сполна оправдал лейтенант, командир роты танкового полка прорыва — орлом Кобец налетал на врага!..

Но до этого часа нужно было встать «на крыло». Танкистами не рождаются.

За спиной — сельские трудовые университеты, какие проходит с малых лет мальчишка на домашнем подворье. С его участием огород, корова, поросенок и птичья стайка кормят семью. Школа-семилетка давала по тому времени прекрасное образование. До армии успел освоить профессию слесаря и поработать у техники. В 1935 году призван на службу, еще не ведая, что быть ему кадровым военным. В 1939-м окончил курсы младших лейтенантов.

С 22 июня 1941 года он — офицер-танкист на фронте. Отражал вражеские атаки на Юго-Западном направлении. В мирное время тяжело было в ученье. Во много крат горше пришлось в бою. В факельном огне сгорали вместе с танками верные товарищи. Покоривший Европу противник умел сражаться куда расчетливее и хитрее. Вел психические атаки, сеял панику — пугал внезапным окружением, что означало — уничтожением.

В архивных хранилищах документы еще не раскрывают, где и как воевал танкист.

Точно знаем: в апреле 1942 года Федора Семеновича командировали в тыл на железнодорожную станцию Качалино. Здесь формировалась 173-я танковая бригада под началом опытного генерал-лейтенанта танковых войск Мишулина. Василий Александрович со своей 57-й танковой дивизией отличился еще в июле сорок первого. Природу современного боя он осваивал в сражениях с японцами на Халхин-Голе. Тут же сразу понял: немцы воюют строго по приказу. Ни шага в сторону. Хорошо организовал непрерывную разведку и знал наперед действия противника. Удавалось не только уходить из окружения. Удавалось схожим «салом вмазать врагу по сусалам». Вот как один из таких боев описали, что называется, с натуры, журналисты главной военной газеты «Красная Звезда»:

«Тщательно замаскировав свои танки на лесной опушке, Мишулин терпеливо поджидал противника. Опираясь на сведения, добытые разведкой, он был убежден, что немцы непременно должны появиться здесь. И не ошибся. А враг, рассчитывавший на внезапность своего маневра, жестоко обманулся. Внезапным оказался разящий огонь, обрушившийся на него самого.

Мишулин не дал возможности немецким танкам развернуться из походной колонны в боевой порядок. Огневой удар из засады был нанесен сперва по голов-

ным машинам и хвосту колонны немцев. На дороге тотчас возник затор. А свернуть с нее не позволяло болото. На это и рассчитывал Мишулин. Скованную на месте фашистскую колонну удалось уничтожить полностью».

В Смоленском сражении его 57-я танковая дивизия на восемь (!) дней задержала на подступах к Днепру рвавшихся к Москве фашистов. «В первый день боев были взяты в плен пять солдат и ефрейтор, подбито девять танков противника... Все атаки противника отражались с большими потерями для него, несмотря на огромное количественное превосходство гитлеровцев в живой силе и технике», — вспоминал позже Мишулин.

Двадцать четвертого июля, шел 33-й день войны, Василий Александрович стал Героем Советского Союза. Одновременно Мишулин из полковника сразу шагнул в генерал-лейтенанты через ступеньку, минуя звание «генерал-майора». В армейской практике так обычно не бывает. Текст телеграммы в Ставку первоначально выглядел так: «Прошу присвоить командиру 57-й танковой дивизии звание генерала. Генерал-лейтенант Еременко». А телеграфистка при передаче этого документа опустила слово «генерала» и не там, где надо, поставила точку. В Ставку телеграмма поступила в таком виде: «Прошу присвоить командиру 57-й танковой дивизии звание генерал-лейтенант. Еременко».

Позже о допущенной ошибке по-честному доложили Сталину. Верховный ничего не сказал в ответ, только улыбнулся. Значит, так тому и быть. Задний ход в подобных случаях давать не положено»...

Вроде бы глубокий тыл в донских степях уже в середине лета 1942 года стал местом ожесточенных сражений. Со свежими силами 173-я отдельная танковая бригада принимала боевое крещение у населенных пунктов Верхняя Бузиновка, Венцы, Оськинский. Танкисты придерживали остервенело рвущихся к Волге фашистов, давали собраться с силами Сталинграду.

Обескровленное подразделение вывели на отдых, пополнение. И передислоцировали в состав Воронежского фронта, где воинам предстояло показать немцам, итальянцам и венграм второй «Сталинград на Дону». Бригада Мишулина вошла в состав 3-й танковой армии будущего маршала Павла Семеновича Рыбалко. Узнав о рождении первых советских танковых армий, фашисты самонадеянно заявили: «Русские создали инструмент, на котором никогда не научатся играть».

Действительно, эта наука давалась нелегко.

Эшелоны с танками выгружали вдали от линии фронта в воронежской глубинке на станциях Таловая, Бутурлиновка, Калач, но — в декабрьские сугробы. Вдобавок, территорию основательно контролировала вражеская авиация с аэродромов Россоси, Гартмашевки, Чертково, Миллерово. Язык документа бывает красноречивее воспоминаний.

В основном ночной марш танковых соединений в район сосредоточения происходил в тяжелых условиях: «со станций выгрузки Бутурлиновка — Калач танки совершили марш около двухсот километров до Кантемировка своим ходом отдельными подразделениями почти без технической помощи на марше, т.к. основные ремонтные средства армии еще находились в пути по железной дороге. Танкам пришлось совершать марш по пересеченной местности по тяжелым, заснеженным дорогам или почти по бездорожью в сильный мороз. При вынужденной остановке на марше даже по незначительной причине экипажу приходилось во избежание размораживания мотора спускать воду и масло, затем исправлять повреждение, вновь греть машину, что приводило к простоям на марше на значительное время и увеличивало число отставших танков в пути». Как бы там ни было, хоть в дороге без потерь не обошлось, под Кантемировкой скрытно сумели сосредоточить к «часу икс» — 14 января 1943 года — 306 танков, из них 160 «тридцатьчетверок».

Именно танкисты решали судьбу предстоящей Острогожско-Россосанской

операции. Какое оперативное значение ей придавали в Ставке Главнокомандования? Очень и очень важное. Потому сюда приезжали по заданию Сталина его первые помощники — и Георгий Константинович Жуков, и Александр Михайлович Василевский. Будущие маршалы изучали обстановку из траншей на переднем крае, встречались с бойцами и командирами, обсуждали и уточняли планы грядущего сражения.

И грянул бой!

Танкисты 173-й бригады взломали вражескую линию обороны у степного хуторка Новая Кочевань, ныне исчезнувшего с карты Кантемировского района. Случилось так, что часть наших танков оказалась в снежном плену — механики-водители не могли и предположить, что белая равнина таила в себе крутые непроходимые овражки. На острие главного удара находилась и рота Федора Кобца. В пушечном поединке сумели уничтожить противотанковые орудия. Выполнив свою задачу, уступили дорогу другим. В прорыв лавиной пошла пехота 180-й стрелковой дивизии и 37-й отдельной стрелковой бригады. Станция Пасеково двумя неделями ранее переходила из рук в руки. А тут даже малоприметный хуторок Васильевка на пути к железнодорожной станции Митрофановка оказался крепостью. Ее взял, смертью смерть поправ, взвод «тридцатьчетверок» волжанина из Саратова Николая Сергеевича Скобеева. «При сшибке» с вражеской техникой загорелись танки командира и его боевого товарища лейтенанта Анатолия Георгиевича Рысева. Оба экипажа пошли на таран, срубив «головы» трем тяжелым немецким танкам и орудийной батарее, автомобильной роте. Офицеры и бойцы были представлены к званию Героя Советского Союза. Посмертно их наградили орденами Отечественной войны I степени.

Овладев Митрофановкой, бригада вместе со стрелками должна была не дать противнику отступить на запад. Требовалось отсечь от проезжих дорог и загнать в «малый котел» итальянскую дивизию «Юлия», которая держала фронт от донского хутора Новая Мельница к степному Пасеково. «На перехвате в одном из сел под Россосью, — вспоминал комбриг Мишулин, — внезапной атакой танковых батальонов была разгромлена колонна противника, взято в плен до пяти тысяч фашистских солдат. Во второй половине зимнего дня обнаружили отходящую колонну противника силою до тысячи солдат и офицеров. Двум танкам из своего резерва под командованием командира машины «КВ» Попова (Ивана Семеновича), я приказал отрезать путь отступления этой вражеской колонне. Танки стремительно двинулись вперед. Как только они встали на дороге, фашисты побросали оружие и подняли руки вверх. Видя, что они хотят сдаться, Попов открыл верхний люк, чтобы указать направление движения на сборный пункт пленных. Но когда он поднялся из танка до пояса, раздался выстрел и командир был убит. Возмущенные вражеской подлостью, наши танкисты с возгласом: «За Попова!» начали «утюжить» прохвостов и только мое вмешательство по рации приостановило самосуд».

Рота Федора Кобца удачно переправилась через речку Черная Калитва. Огибая Россось с восточной стороны, а затем с севера, освобождая район птицефабрики, танкисты остановили и огнем принудили отступавших с Дона итальянцев свернуть с накатанного пути в глубокие степные снега — в степное бездорожье.

Действовали смело и решительно. У хутора Иванченково экипаж ротного «уничтожил лично 650 солдат и офицеров, 4 пушки, 48 автомашин, 15 повозок и обеспечил взятие 400 фашистов в плен».

Отчаянные попытки вырваться из «донского котла», предпринятые фашистами у села Новопостояловка, тоже выпало пресечь танкистам Федора Семеновича. Вот краткое и конкретное изложение подвига и заслуг офицера в наградном листе: «Тов. Кобец Ф.С., участвующий в боях за Родину на Воронежском фронте, как командир танковой роты показал себя храбрым воином. В бою под населенным

пунктом Новопостояловка на своем танке врезался в боевые порядки врага и давил его огнем и гусеницами. Танк был подбит и окружен. В окружении находился 28 часов. Противник машину поджигал соломой. Солома прогорала, но танк стоял. Противник ломом сорвал лючок сигнализации и в отверстие бросил пять гранат. Кобец получил тяжелое ранение, но танк не сдал. Подошедшими войсками танк и экипаж были спасены.

Достоин высшей правительственной награды — звания «Герой Советского Союза».

Отважному танкисту были вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Из госпиталя, «подремонтировавшись», Федор Семенович снова ушел в бой. До Победы. После войны продолжал служить в армии. Жил в Москве. Завершил свой земной путь в 1986 году и похоронен на Ваганьковском кладбище.

Так сложилось, что в местах бывлых сражений, повторяем, мало кто знал о подвиге танкиста, чья броня, как в песне, оказалась крепка. И только сейчас стараниями краеведов, прежде всего жителя Россоши Владимира Ивановича Воробьева, герой возвращается в нашу память, а значит, и в боевой строй.

В осажденном танке рядом с командиром находились его боевые товарищи.

Старший сержант, радист Алексей Васильевич Герасимов, 1922 года рождения, призванный из Тумановского района Смоленской области. Из наградного листа: «...Беспрерывно поддерживал радиосвязь, находясь в окружении. Его позывные оборвались через восемнадцать часов, только когда вышла из строя рация. Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды».

Младший сержант, механик-водитель, комсомолец Николай Антонович Савченко, 1923 года рождения, уроженец села Садово Херсонского района Николаевской области. Из наградного листа: «...был механиком-водителем Т-70 — командира 2-й роты старшего лейтенанта Николая Федоровича Шух. Уничтожили до 250 фашистов, 15 пулеметов, 6 «гнезд» с противотанковыми ружьями. Из своего сгоревшего танка перешел в экипаж КВ командира 1-й роты заряжающим...» Когда под натиском советской пехоты враг отступил от окруженного танка, механик-водитель и радист вынесли с поля боя раненого командира. «Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды».

По полю танки грохотали,
Танкисты шли в последний бой...





Артур Георгиевич Ктеянец родился в 1983 году в городе Баку. Окончил Воронежский экономико-правовой институт, Россошанское медицинское училище. Работает артистом в Россошанском драматическом театре. Публиковал стихотворения и прозу в журнале «Подъём». Живет в Россоши.

Артур Ктеянец

ТОНКИЙ ХОЛСТ

ВЕРЕ

Спит одиночество при свете,
А по ночам беспечных судит.
На этой маленькой планете,
Повсюду люди, люди, люди...
А с ними, как с опасной бритвой,
Нужна, как минимум, сноровка.
А помнишь, по твоей молитве
Воскресла божия коровка?
Родная, чудо — это норма,
Когда Отечество и небо
Одно и то же. Бойся Формы,
Важна Идея больше хлеба,
Для тех, кто долго жил без кожи
И, наконец, нашел ту Книгу,
В которой путь начертан. Боже,
Я дорожу в ней каждым мигом,
И снова чувствую, что ожил.

Ты помнишь, ты, конечно, помнишь,
Той связки порванной крючок,
Как ты тогда пришла на помощь,
Три пальчика собрав в пучок.
И боль знамена опустила,
Пропал отек, сдавивший вену,
Как только ты перекрестила
Мое распухшее колено.

* * *

Из меня ведь когда-нибудь вышибут дурь,
И запястье стянут тугим ремнем.
Очевидцы цунами и страшных бурь
Начинают на Вы говорить с огнем.

Без контекста язычества, где огонь
Есть омега и альфа, где ряд причин
Скроют линию жизни, закрыв ладонь,
Забывая, что это лишь след морщин.

Я из тех, кто не будет на брачном пиру.
Я мешал себе. Строил не храм, а склеп,
Как дыхание мешает срастись ребру.
Как бордюры мешают тому, кто слеп.

Одиночество — компас, веди, веди.
Сквозь большие пески, где шипит змея.
Их там семь миллиардов, а я один.
Это, знаешь ли, алгебра бытия.

АНАПА

Я хочу жить в Анапе, где в августе море цветет,
И ценить «не сезон» за отсутствие тел на пляже.
С продавцами паленых вин обсуждать продажи
И с ужасом думать, что где-то сейчас метет.

Там еще будет греческий Храм, одинокий и пуст,
Потому что забыли все мы про день субботный.
Проще в баре, с утра, пару тысяч разбив по сотни,
Приумножить холодным пивом орехов хруст.

Будет время ползти по песку, вместе с ним и жизнь
Станет, как бы за рамки того, что она конечна,
Как конечно общение пульса с мышцей сердечной,
И терпение того, кто для мести купил ножи.

В центре города будет бар, где за 300 рэ
Старый бармен нальет мне сомнительный виски с колой.
Обгоревшие плечи под белой футболкой поло,
Будут ныть, как мизинец, впервые познав баре.

Ничего не проходит — вот истина этих мест.
Забывается? — Да. Но ведь память имеет право
В подсознание лить из забытых грехов отраву,
Беспричинной в кавычках тоски образу перст.

Седина все уверенней будет дружить с висками,
Однотонную молодость вымазав белой краской.

Станут пресными пляжи, и воздух покажется вязким.
Буду несколько раз в году улетать в Тоскану.

Потому что не дело это, мечтать о море,
Если видел сто раз, как с волною причал сражался.
Потому что привык. Потому что уже зажрался.
Так случается с каждым, и это совсем не горе.

АЛЛЕ

А БегбЕдер сказал, что три года живет любовь.
Он не знает о нас, как не знает про день сова.
Территория чувств разрушает закон любой.
Девять лет миновало, а наша любовь жива.

Этот воздух быстрее водки сбивает с ног.
Я на тонких холстах научился писать грозу.
Это тоже поэзия — строить из красок слог.
Девять зим пролетело, а мы ни в одном глазу.

Суетливый декабрь, всего лишь один из тех,
Кто спешит к рождеству в сновидениях увидеть знак.
Растоплю ледяных скульптур первородный грех.
Девять весен растаяли, я и не понял как.

ДЕТСТВО

В детстве все было ясно. Варенье — пир.
Садик — тюрьма. Убивать насекомых — грех.
Там где кончается коврик — кончается мир.
Мама — вселенная. Папа — сильнее всех.

МАМЕ

Расстояние от дома до школы —
тропа сквозь лес.
Вечер вязнет в сосновых смолах,
загнав занозы.
Тяжело ведь смириться с тем,
что твой сын балбес,
И собраться, чтоб грозный отец
не увидел слезы.

Кипяток на куриный кубик
и твердый хлеб.
Две солдатские койки,
казенные стол и стулья.

Вычитай из уныния в кубе
«Общажный» хлев,
И получишь помойку
В квадрате людского улья.

Пыль скользит по перилам,
А ежик спешит в туман.
Скоро травы поток увидят
В речном канале.
Помнишь, ты говорила,
Что я напишу роман?
Написал. Он в апреле выйдет
В большом журнале.

В каждой прозе, родная,
Важнее всего конец.
Он способен исправить сюжет,
Умывая руки.
Есть усталость иная,
Где веки залил свинец.
Я счастливый отец,
У тебя золотые внуки.



Галина Иосифовна Петриева родилась в селе Марки Евдаковского района Воронежской области. Окончила Россошанское педагогическое училище, Московский государственный заочный педагогический институт. Работала заведующей детским садом войсковой части, бухгалтером Центрального аппарата Главного военного советника в республике Афганистан, сотрудником Хозяйственного управления Государственного комитета СССР по печати. Автор шести сборников стихотворений, рассказов, сказок, а также двух детских книг. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Галина Петриева

СВЕТЛЫЕ КРИНИЧКИ

Миниатюры

БЛАГОДАРНОСТЬ СТАРОЙ ГРУШИ

Зима выдалась холодная и малоснежная, нашему саду крепко досталось от морозов. Весной деревья долго болели, а старая груша и вовсе не проснулась. Стояла с почерневшими ветками и жалобно скрипела. А однажды сад подвергся атаке ураганного ветра. Больше всех опять пострадала старая груша: ветер сломал огромную ветку.

Жалко нам было старую грушу. Хоть и невесело смотрелась она в оживающем саду, но спиливать ее мы не спешили. Более того, муж стал грушу реанимировать. Часто поливал, подкармливал удобрениями, разговаривал с нею. И случилось чудо: груша стала оживать. На ней появились сначала почки, потом проклюнулись листочки. Сад уже отцвел, пестовал завязи, а груша только-только раскрывала листики. Мы радовались, что растение подало признаки жизни. Дерево стояло повеселевшее, позеленевшее, садовый ландшафт не портило, и на том спасибо. Но тут случилось самое настоящее чудо: спасибо нам сказала сама груша, да еще таким образом, что кроме как благодарностью ее действия не назовешь. Старушка собралась с силами, на тоненькой веточке распустила цветы и сотворила завязь. Ни цветения, ни завязавшихся плодов мы, конечно, не видели. Плоды потихонечку росли, а мы ходили мимо, не замечая

тайнства. Но вот под тяжестью плодов тоненькая веточка низко опустилась и стала гладить мужа по плечу, когда он проходил мимо. Удивительно, но и в этом случае мы не заметили плодов. Видно, дерево маскировало их до поры до времени.

Так случилось, что какое-то время мы не ездили на дачу. А когда явились, то удивлению нашему не было конца: прямо над дорожкой, по которой муж ходил в сарай за дровами, почти до земли свешивалась тоненькая веточка, а на ней висело четырнадцать сочных, аппетитных, больших груш. На всем дереве, кроме этих груш, не было ни одного плода. Мы сказали старой груше, что поняли ее благодарный порыв отблагодарить хозяина за своевременную помощь. Плоды торжественно сняли, угостили детей и внуков. А груша и до сих пор украшает наш сад и радуется вкусными плодами.

ЖОРА

Прошлой весной нам с мужем довелось побывать на своей малой родине в Придолье. Маленький хуторок Козки уютно расположился в пойме речушки Сармы между двух основательных холмов. Сарма катит свои чистые родниковые воды к Дону-батюшке. На единственной хуторской улице в один ряд, как солдаты в строю, выстроились незамысловатые хаты. Лет тридцать назад этот строй был плотным, хаты, как солдаты, стояли «плечом к плечу», к соседу обязательно глухой стеной: считалось неприличным подсматривать, что делается во дворе соседа. Эта же стена выполняла функции забора: где же в степи набраться такого количества досок, чтобы соорудить забор вокруг всего подворья. А подворье вместе с огородом и садом занимало сорок соток. Вот и приспособились мудрые хозяева отгораживать свою личную жизнь глухими стенами хат, сараев, летних кухонек. Не все стороны личной жизни выставлялись напоказ.

Теперь солдатский строй поредел. Доживает свой век хуторок. Молодежь ушла из родных мест в поисках Синей птицы, птицы счастья. Старики потихоньку перебираются на погост. Пустые хаты быстро старятся и превращаются в развалины. Брошенные подворья зарастают бурьяном, наводят на оставшихся хуторян тоску, убивают надежду на возрождение хуторов и весей, на полнокровную, наполненную смыслом жизнь в них.

Перед дворами на высокий холм ревно сбегает выгон. Хоть и мужского рода слово выгон, но функция у него материнская — с ранней весны до поздней осени выкармливал он хуторскую живность. Места хватало всем. Паслись на привязи молодые бычки и телочки, козы с козлятами, гуляли со своими выводками гуси, индюки и утки. Даже куры и те выходили «в свет». Нарядные, разных ярких пород, неспешно расхаживали по выгону, делились своими куриными новостями, громко кудахтали, оповещая подруг, что удалось добыть себе червячка-козявку. Красавец-петух любовался своим гаремом, изредка громко кукарекал, заявляя о неприкосновенности его территориальной границы, а заодно напоминая своим курочкам, кто в семье хозяин.

Так было раньше. Теперь же и выгон полупустой. Некому разводить овец и коз, молодых телят. Возможно, поэтому наше внимание привлек красавец-кобель, бегающий по кругу на меловом холме в конце выгона. Каштанового окраса темно-бурой масти, с белой звездочкой на лбу, одна нога в белом носочке. На фоне майского голубого неба животное смотрелось великолепно. Восхищали грация и изящество коня. На вопрос, почему кобель бежит по кругу, мне ответили, что он на привязи. Длинная веревка давала ему возможность бегать по кругу. Господи, да что я говорю? Не бегать — летать! Роскошная грива развевалась, как легкий шелковый шарф на шее модницы, тонкие точеные ноги выбивали на твердой крейдяной почве дробь, характерную для скачущей лошади. Глаз не отвести от такой красо-

ты! Красота... Но почему же такая щемящая тоска вдруг пробралась в душу. Господи, да что же тут непонятного? Коню нужна свобода. Разве для него, молодого, красивого, вольнолюбивого, эта веревка?

Мы узнали, что коня зовут Жорой. Умный, покладистый, он с любовью относится к своему хозяину, ходит за ним, как верный пес. Телегу с горы свезет так медленно и бережно, как будто и нет крутого спуска. Умеет сам открывать калитку со щеколдой. Сладкоежка: и пряничек съест, и от конфет не откажется. Команды хозяина выполняет четко, с первого раза. Верный друг, только что говорить не умеет.

С недавних пор, после всех работ, которых в хозяйстве немало, отпускает хозяин Жору на выгон без привязи. Сначала Жора пройдет по привычному кругу, потом наберет скорость и мчится вдоль улицы сначала в один конец хутора, потом в другой: смотрите, люди, любуйтесь моей статью, красотой, цените мое терпение и трудолюбие! Не теряйте надежду на лучшую жизнь! Не всегда же будет веревка на шее и кол для привязи!

Пролетит Жора по хуторку, поднимет настроение хуторянам, погасит негатив, который ежедневно накрывает хуторок, как тень от крыльев коршуна, высматривающего добычу. И, как знать, может, не простая рабочая лошадка, а волшебный конь Ильи-Муромца ищет своего хозяина? И как знать, может, пробьются из-под его копыт родники светлой, жизнотворящей энергии, которая спасет от угасания и наш родной хуторок Козки, и другие, уходящие в небытие хутора и веси? Дай-то Бог!

ЛОПУХ И БЕГОНИЯ

Я с детства с большой симпатией отношусь к лопуху. В нашей придонской степи лопухи роскошные: листья огромные, соцветия яркие, репьяшки липучие. Под лопухом я строила дом для самодельной глиняной куколки. Стол и кровать мастерила из каких-нибудь деревянных брусочков, глечик на столе — из глины, коей в наших краях целые залежи — глина. Земляной пол под листьями лопуха я подметала крошечным венчиком из полыни, а потом посыпала чабрецом.

Мальчишки часто использовали репьяшки в своих хулиганских выходках. Они «обстреливали» ими девчонок, и горе той девчужке, в косы которой вцепится репьях: не выдворишь его из косы без слез.

У криниц лопухи росли по велению самой Матушки-природы. А как иначе? Ведь из листьев лопуха мастерились замечательные кулечки-чашечки, из которых пили воду и стар, и мал. Вода в такой чашечке казалась серебряной и была необыкновенно вкусной.

А наши бабушки делали из листьев лопуха компрессы на больные места, заваривали и пили целебный чай из всех частей воистину волшебного растения, и исцелял тот чай от многих и многих болезней.

Когда у нас появилась дача, появились и лопухи, точно из детства вынырнули. Я кланялась лопушку, а муж поливал растение наряду с другими жителями нашего сада-огорода. Лопухи росли как на дрожжах. Несведущие гости часто спрашивали, что это за диковинное растение растет у нас под плетнем?

А рядом с лопухом на столике стоял горшок с красавицей бегонией. Лопух не сводил глаз с прекрасной незнакомки. Даже при полном безветрии он умудрялся обмахивать экзотический цветок своим большим листом, как веером. Бегония его в упор не замечала: не царское это дело водить дружбу с каким-то там деревенским лопухом.

Известно, что бегония — царица тени. Прямые солнечные лучи для нее губительны. Погода выдалась на редкость пасмурная, дождливая, и мы поставили бе-

гонию на столик рядом с лопухом, решив, что так ей будет комфортнее. Поставили и уехали домой в Москву. А тем временем распогодилось, выглянуло солнышко, стало припекать, подсушило земельку, солнечные лучи добрались и до бегонии. Сникла красавица, опустили ушки ее породистые листья, обвисли ветки с пышными цветами. Вянет бегония. Некому переставить цветок в тень.

И тут случилось невероятное: лопух развернул свои большие листья и прикрыл ими бегонию. В тени бегония ожила и в знак благодарности положила веточку с цветами на лист лопуха.

Когда мы вернулись на дачу, я первым делом побежала к бегонии, страхась увидеть погибшее растение, а увидела такую идиллию: на листке лопуха лежит ветка с цветами бегонии, прикрытая другим листом, а лопух бережно качает цветы, точно убаюкивает их.

Мы с мужем полили оба растения, подивились рыцарскому отношению лопуха к царской особе и доверчивости и нежности бегонии, еще совсем недавно в упор не замечавшей своего спасителя.

Так и красовалась все лето царица тени в ладонях неприхотливого лопуха. За его добрую душу наградила матушка-природа лопух целебными свойствами: от многих и многих болезней исцеляет людей это растение. Как же тут не кланяться ему?

КАК СКВОРЕЦ ЦЫПЛЯТ ВЫХАЖИВАЛ

Чем старше становишься, тем острее желание побывать на своей малой родине, встретиться с земляками, «сходить в детство». Судьба пока дарит нам с мужем такую возможность. И хоть нет уже в хуторке родительского дома, все меньше встречаешь знакомых лиц, но мы все равно ездим на родину. Встречают и приветчают нас добрые друзья. Люди наблюдательные, глубоко понимающие и чувствующие природу, прекрасные рассказчики. Я всегда с нетерпением жду встречи с ними и, конечно же, необыкновенных историй от самой матушки-природы. Этой весной друзья подарили мне немало невыдуманных историй, а одна из них особая — о том, как скворец цыплят выхаживал.

Вывела наседка цыплят. Большинство желтеньких, а несколько черных, как галчата. В это же самое время и у скворца птенцы появились, естественно, все черненькие. Наседка кормит своих цыплят, учит их навоз разгребать, червячков добывать. Скворец скворчатам еду в гнездышко носит. Прожорливые птенцы. Умаялся родитель кормить такую ораву. Сел на веточку яблони передохнуть. Глядь, а под яблоней несколько птенцов черных гребутся. «Выпали, — с ужасом подумал скворушка. — Голодные, наверное, остались, раз в навозе корм себе ищут. Того и гляди, кошка или ворона сцапают несмышленишей». Подумал так скворец и кинулся на помощь. Нашел червячка и положил его в раскрытый клювик черному цыпленку. Нашел еще букашку и — тоже в клювик другому черному цыпленку. Пока кормил цыплят, свои скворчата в скворечнике раскричались, есть просят. Кинулся скворушка к ним с козявкой. Мечется между цыплятами и скворчатами, о себе подумать некогда.

Так и повелось с тех пор: скворчат покормит, цыплятам червячков таскает. Наседка не противится: пусть себе кормит, раз такой добрый выискался, все ж самой легче. А цыплята уже по двору бегают, на огород пробираются. Скворец за ними. Цыплята на кучу хвороста взгромоздились, скворец и тут их нашел, покормил. Черные цыплята кушают корм, принесенный скворушкой, а желтенькие им завидуют, обижаятся, отнять пытаются. И скворчата, и цыплята росли как на дрожжах. Наконец-то и те, и другие стали самостоятельно добывать себе пищу. О родителе совершенно забыли. А скворушка сидел на высокой ветке яб-

лони, любовался подростками цыплятами, радовался первым самостоятельным полетам скворчат, гордился собой и благодарил матушку-природу за отпущенные ему терпение и трудолюбие, которые помогли выкормить и своих, и чужих птенцов.

СЛАДКИЕ ЯБЛОКИ

Мужу

В садах на хуторе начали поспевать яблоки, и вся наша мальчишечья рать кинулась сооружать шалаши. На Дону такие шалаши называют куренями.

С виду курень — сооружение нехитрое, но, чтобы он выполнял свое предназначение, надобно потрудиться: нарубить лозы, надрать лыка, натаскать камыша из болота, запастись кольями. Потом весь этот набор произвести в дело, да так, чтобы и стенки не завалились, и крыша не протекала. Для мальчишек плетение куреня было событием радостным, сродни празднику, украшением послевоенного детства. Да и то, подумать только — пацан сооружал первое в своей жизни жилище, в котором он чувствовал себя хозяином, собственником, свободным человеком. Он мог соорудить в курене нары, смастерить подобие стола, поставить пенек вместо табуретки... Да мало ли чего можно нафантазировать в собственном жилище!

Пара дней — и курень готов функционировать. А функции у него многоплановые: он — и летнее жилье, и кладовая для самых-самых вкусных яблок, и укрытие для засады на тот случай, если разведка донесет о готовящемся набеге на сады пацанов с другого конца хутора. А еще курень — это своеобразный «мужской клуб», в котором мы собирались вечерами и до утра рассказывали разные страшные и смешные истории, обменивались хуторскими новостями, мечтали. А в пору первой влюбленности курень был местом первого свидания, первого поцелуя. Что-то, а мальчишеские тайны он умел хранить. И уж будьте уверены, таких вкусных яблок, припасенных для любимой и спрятанных под стрехой куреня, вы не купите ни на одном рынке мира, ни в одном супермаркете ни за какие деньги.

Но, позволю себе снова вернуться в детство — голодное, холодное, но так вкусно пахнущее антоновскими яблоками. В детство, в котором взрывоопасная энергия 10-13-летних мальчишек могла сотворить что угодно. Как маятник, раскачивались наши желания и поступки от знака плюс до знака минус. Под впечатлением от прочитанных книг о Ваське Трубачеве и Тимуре, могли мы втихаря прокопать заросшую тропинку к кринице, из которой одинокая старушка брала воду для полива огорода. А потом, забыв и о Ваське, и о Тимуре, залезть в сад все к той же старушке и дозреть там шкоды: стрясти на землю яблоки, которым бы еще дозреть и дозреть на дереве, обломать ветки яблони, вытоптать траву.

Эх, пацаны, пацаны! Сколько добрых, полезных дел могла бы сотворить молодая, неумная энергия, направь ее в нужное русло чья-нибудь мудрая воля и твердая рука. Но беда куренного детства в том-то и заключалась, что некому было заниматься нашей энергией. Отцы многих не вернулись с войны, а на души матерей лег груз похоронок да думки о том, как детей поставить на ноги. Им ли было дело до нашей неуправляемой энергии?

Вчера мы собирались в чьем-нибудь курене и под шум дождя рассказывали всякие байки да угадывали, с какой яблони только что упало яблоко. А сегодня у нас уже строго засекреченная операция «Н.С.Я.», что значит — нарвать сладких яблок. Для начала вычисляли, в чьем саду самые сладкие яблоки, т.е. намечали объект «штурма». Потом разрабатывался план самой «операции». Все по законам военной науки: одни отвечали за отвлекающие маневры, другие обеспечива-

ли прикрытие при отступлении, третьи штурмовали «объект», то бишь, яблоню со сладкими яблоками, конечно же, в чужом саду. А потом в чьем-нибудь курене, самолюбуюсь от совершенного «героического» поступка, с нарочитым аппетитом поедали яблоки из чужого сада. И чем меньше их оставалось, чем бледнее становились звезды на небе, а полоска рассвета разгоралась все ярче, тем больше сводило желудок от чужих яблок, и появлялась оскомина, которой, в принципе, быть не должно: яблоки-то ели сладкие! Но живучая хуторская совесть набивала ее.

Засыпая под утро уже в своем курене, я чутко прислушивался к общему звуковому фону хутора: не начнет ли кто громко причитать о том, что окаянные хлопцы оббили все сладкие яблоки, что некогда производить их в дело, что такие хорошие яблоки придется скормить козам и что взвар зимой не будет уже таким вкусным из-за отсутствия в нем этих самых яблок.

Но хутор разговаривал своим обычным утренним языком: изредка мычали коровы, лениво покрякивал пастух, виновато кукарекал проспавший рассвет петух, по-стариковски скрипел журавель над колодцем. Слава Богу, никаких криков на хуторе слышно не было. И все же что-то не давало досыпать самый сладкий утренний сон. Во дворе кто-то разговаривал с матерью. Сердце екнуло: «Тетка Арина пришла жаловаться матери. Операция «Н.С.Я.» проводилась вчера в ее саду!» Спать перехотелось. Когда разговор стих, я тихонько выбрался из куреня. Мать держала полный фартук очень знакомых яблок и примерялась, куда бы их выложить, чтобы куры за день не склевали. Увидев меня, мать тихо сказала: «Вот, тетка Арина принесла. Сказала — возьми, Ивановна, у тебя таких нет». Мать пристально посмотрела на меня и со вздохом высыпала яблоки в корыто, накрыв его доской. Ругать меня у нее не было ни сил, ни времени. За двором ее ждала подвода: колхозницы ехали в поле на работу. С тех пор я ненавижу вкус сладких яблок, а набег на чужие сады в нашем хуторе сами собой сошли на нет.





*Стихи
россошанских
поэтов*

Рис. Алисы Фаст

ДОМИК БЕЛОКАМЕННЫЙ

Любовь Артюхович

* * *

А над беседкою садовой
Плетутся гроздья винограда.
Над той, давно уже не новой,
Что стала украшеньем сада...

Вокруг уют и много света,
А мы печально одиноки.
И наши дни, и наши лета —
В воспоминаниях глубоких...

* * *

Над рекою стоят молчаливо,
В одинаковых будто платьях,
И ветла, и ракита, и ива,
Одинаково можно назвать их.
«Наша марка» и «наша «Слава»
Прокатились по склону юзом.
А когда-то была Держава,
И звалась Советским Союзом.

* * *

*Воронежской художнице
Юлии Князевой*

Победный дух отцов в нас не угас.
Он среди этих старых фотографий...
Он в молодых потомках и сейчас
Живет. И не бывать ему на плахе.

Военный натюрморт минувших лет...
(как память о войне), перед глазами —
Бутылка водки, пачка сигарет
И офицерский китель с орденами...

Наталья Чернякова

* * *

Все сотворенное уже сотворено.
Уже расписаны цветные птицы.
Уже все ноты трепетных ручьев
Предсказаны. И лесу соткано убранство.
Вода и ветер знают свой черед,
И каждый камень падает на место.
Пески и льды — до крошки и до капли —
Скрывают ровно то, что надо скрыть.
Животные идут тропами там,
Где жизнь земным положена сегодня.
Остался только сущий пустычок —
Внести и нам посильнейшую лепту:
Не исправлять.

* * *

Листья желтые пали ниц,
Устилают собою корни...
В голых ветках не слышно птиц
Горних.
Гулко тянется шаг вперед,
Плиткой вымощена аллея.
Что в скорбях закалил Господь —
Не жалею.

* * *

Весеннего солнца так робко светили лучи,
Так тонко по воздуху запах весенний носило!..
Вступала весна. И от этой безудержной силы,
Хлебнув половодья, по-новому били ключи!
Земля оживала, все чище над ней небеса
Сияли, и талого снега стремились потоки,
И нежно-зеленым ее дополнялась краса,
И птичьи так звонко шумели над ней голоса,
И так же как предки когда-то, дивились потомки...
И легкий румянец окрасил озябшие щеки,
И губы в счастливых улыбках сияли повсюду,
И даже у тех, кто считал, что живет одиноко,
Рукою весны вдруг снимало неверие чуду...

Ольга Дмитриева

* * *

Щедро золотом осыпает
Осень улицы городские
И меня зовет, увлекает
В торжества, совсем не людские...

Я сбегу из палаты больничной
И приму приглашение странное,
Как с подружкой своей закадычной,
Прогуляю до утра туманного.

На ковре золотом поваляюсь,
Покрывалом неба укроюсь,
Вспомню твой поцелуй, улыбаясь,
И в мечты о тебе зареюсь.

И из сердца тебя не выну!
Как стараюсь — не получается...
Я в холодной разлуке простыну —
Все болезнь моя не кончается...

Так и бродим мы перед развилками.
Вот рассвет сквозь туман пробивается.
И кленовой ладошкой с прожилками
Машет осень мне, словно прощается...

* * *

Святое и грешное
В душу посеяно,
Счастье безбрежное
В жизни потеряно...

Ум с моим сердцем —
Все разбираются.
Зерна от плевел —
Не отделяются.

Ты отпусти меня,
Мука великая,
Стану я мудрая
И многоликая.

Только не стану я
Книгой прочитанной,
Тайной раскрытой,
Страницею вырванной.

Я — та звезда,
Что не посчитали,
И та загадка,
Что не отгадали.

Я так и останусь,
Монета забытая,
В кошельке твоей памяти
Пылью покрытая...

Валентина Фисай

АВГУСТ 1991-го

Август. Лето. Солнце. Дача.
Яблок спелых позолота.
Выходной, и как иначе —
Целый день в трудах, заботах.

Дольки яблок, листья мяты,
Чуть привялились на солнце...
Как матросы полосаты,
Над столом кружились осы.

Дольки слив и дольки яблок,
Запах мяты и варенья...
На крючок повешен фартук.
Август. Дача. Воскресенье.

Осы целый день кружили...
Я же не подозревала,
Что страны, в какой мы жили,
Больше не существовало...

ПРОХОЖИЙ

Прохожий, не спеши, остановись!
Проходишь через жизнь мою,
а может...
а вдруг, судьба нас надвое помножит
и поровну разделит нашу жизнь.
Совсем не уходи — мелькни опять!
Мы примелькались,
но без глупой лести,
Я буду волноваться и скучать,
чтоб завтра встретиться
на этом самом месте.
Не уходи, прохожий, оглянись...
Я знаю, наши души так похожи...

Крылом плаща,
или прохладой кожи,
Своей судьбой моей судьбы коснись.
И в буднях дней
пускай мы не знакомы,
Почувствуй,
как присутствует незримо,
Куда-то нас влечет неодолимо,
Туман и дождь —
осенняя истома...
Но ты опять,
опять проходишь мимо.

Александр Матюченко

НЕ СПЕШИ ТЫ, ОСЕНЬ

Осень торопливо, попрощавшись с летом,
Красит город быстро в яркие тона,
Потому что знает, что за нею следом
На пурге примчится снежная зима,

Не спеши ты, осень, осень, успокойся,
Дай налюбоваться прелестью твоей.
Отдохни немножко, ничего не бойся,
Зиму встретим вместе, не гони коней.

Осень, после встречи ты уйдешь куда-то
Ночью по пороше, не оставив след,
А я здесь останусь, мне идти не надо,
Встречу рано утром зимний я рассвет.

Мне теперь с зимою как-то ладить надо,
Мне тебя, конечно, осень, не догнать,
Дай налюбоваться поздним листопадом,
Я тебя зимою буду вспоминать.

Юрий Иващенко

* * *

Бледный свет за красной шторой,
Тени тонкий силуэт.
Знаю я — одна ты дома,
Постучаться бы, но нет.

Ты стройна, легка, красива,
Молодая — как апрель.
Отвожу свой взгляд стыдливо:
Не открыть мне эту дверь.

У тебя своя дорога,
У меня, увы, своя.
Почему же мимо окон
По ночам гуляю я.

* * *

Ты и радость моя, ты и боль,
Ты и ревность, и страсть, и любовь.
Ты средь мрака ночи
Огонечек свечи,
Отзовись, я прошу, не молчи!

Ты надежда моя и судьба,
Ты и счастье мое, и беда.
В нежном свете луны
У прибрежной волны
Открой мне тайны свои.

Ты и песни мои, и стихи,
Сомненья, блаженство, грехи —
Как весенний ручей,
Прелесть летних ночей
Красота твоих карих очей.

Виноват пред тобой, виноват,
Отмолю я прощенье стократ.
Теплотою души
Ты со мной поделись,
Отзовись, я прошу, отзовись!

Валентина Головина

* * *

Казалось, навсегда: обломанные крылья,
И больше никогда не взмыть под облака,
И выжжена душа, и чувства мертвой пылью
Развеет на ветру отчаянья рука.
Но болью полыхнет строка стихов несмелых,
Увяжутся слова в простые кружева,
И мне до слез близка печаль березы белой,
Которую вот-вот порубят на дрова.
Марионеткой став в чужих руках безвольной,
Я нити разорву и раны залечу,
Туда, где лес и луг, и ласковое поле —
Бескрылою, но все же долечу!

* * *

Холодны августовские ночи,
Скоро лето покинет наш сад.
Стали дни торопливей, короче,
На пороге уже листопад.
Запылают пожарами клены,
Заалеют рябиной кусты,
Только сосны в косынках зеленых
Не обронят иголки-листы.
А когда тихо снимут деревья
Свой осенний цветистый наряд,
Первый снег запорошит деревню,
Легким пухом окутает сад.
В серой мгле спозаранку взлетая,
Спящий лес пробудив на заре,
Снова голуби сизою стаей
Запорхают на нашем дворе.

Наталья Карташова

* * *

Еще не зима, еще не метели,
Но листья с деревьев уже облетели.
И утренним холодом скованы лужи,
И зябнут ладони в преддверии стужи.

Мне грусть расставанья до боли знакома.
Теперь ты все чаще паркуешься дома,
Уже ты сestroю меня называешь,
Наверно, душою ко мне остываешь.

Еще не зима, еще не метели,
Но с севера птицы в мой дом прилетели.
Какая погода ждет их зимою?
И я, как те птицы, живу в непокое...

Марина Венделовская

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Что время не прямолинейно,
И относительны размеры,
Я постигаю без Эйнштейна.
Известно людям испокон:
Из дней тоскливо-безразмерных,
Ночей бессонно-бесконечных
Увы, слагается не вечность,
А жизнь, короткая, как сон.

* * *

Даниилу Венделовскому

Ты поднимаешь в небо самолет
В предгрозовой тиши, энергий тайных полной,
Под сполохи еще неслышных молний,
Неровно в клочья рвущих горизонт.
На головокружительный вираж
Идет тебе покорная машина.
Пылают крылья на просвет рубином,
Блестит лазурным гляncем фюзеляж.
Ревет мотор. И в такт ему фанфары
В твоей груди выводят песнь свою.
И ярко-желтый винт
Со свистом рассекает
Упругую воздушную струю.
Парит душа. И песнь ее победна.
И бесконечен голубой простор...
Но — громом: «Сын, давно пора обедать!
Мой руки и немедленно за стол!»
Конструктором дешевеньким на пол
Обломки лучшего на свете самолета.
И восемь лет отважному пилоту.
Но ты летал! И этого полета
Уже теперь не отберет никто.

Зоя Битюкова

* * *

Домик белокаменный,
Где очаг настыл,
Охраняй пока меня
От лихих ветрил.

Под твою кровлею
Счастья был простор —
Брось обиды кровные
На широкий двор.

Мне и в одиночестве
Ты и дом, и друг.
Здесь вокруг воочию
След хозяйских рук.

Домик белокаменный!
Свет души иссяк,
Здесь и вся судьба моя —
Наперекосяк...

Жизни переменчивой
Резкий поворот —
Две березки тонкие
Плачут у ворот...

АЛЕКСЕЙ

Жито впору в землю сей —
Будет рожь хорошая.
Величают Алексей,
А зовут Алешею.

У Алеши русый чуб,
Кари очи светятся.
А улыбка юных губ —
Обещанье встретиться.

На виду округи всей
Ждут луга некошены.
Полюбился Алексей
И глаза Алешины.

Развеселые они,
Карие-прекарие...
Знают ноченьки одни,
Где мы бродим парюю.



Виктор Беликов

«ПЕЧАЛЬ И БЛАГОДАТЬ» ПОЭТА

(Жизнь и творчество Михаила Тимошечкина)

Годы мои уже клонят к итогам, и потому все чаще прикидываешь: а что в твоей жизни было определяющим и кто был опорой или ярким ориентиром? В поэзии для меня одним из таких ориентиров и опорой был и остается Александр Твардовский.

Поэт-фронтовик Михаил Тимошечкин, ставший россосанцем в 1960-е годы, сразу заинтересовал меня духовной и творческой близостью к Твардовскому. Я наглядно и теперь уж совсем рядом наблюдал, как классические традиции высокого реализма можно плодотворно использовать и в наши дни, не впадая в подражательность, а ответственно и бережно используя народное слово, народный взгляд и оценки. В Тимошечкине я почувствовал своего, близкого мне по духу и творческой манере поэта. Личное знакомство и общение не разочаровало, а укрепило это родство. Он стал одним из моих наставников если не в творчестве, то в гражданском становлении.

В период творческой «бузы» поэтов-шестидесятников, поисков новых или забытых форм и кумиров, новых идейных идолов, пересмотра и переоценки «звездными мальчиками» литературных традиций, ставшего модным эстрадного нигилизма, поэзия поэтов-фронтовиков во главе с Твардовским все же возвышалась мощной боевой крепостью среди пестрого и шумного разброда и шатаний. Критики в этой боевой обойме справедливо числили и Михаила Тимошечкина.

«Поэзия моя, ты из окопа», — эта строка Анатолия Головкова стала не только названием поэтического сборника фронтовиков, созданного Николаем Старшиновым, но и определением сущности творчества поэтов, шагнувших в кровавую войну со школьной скамьи и воспринявших те тяжкие испытания, гибель однополчан, свою пролитую за Отечество кровь с позиций рядового бойца из окопа. И тут восприятие и оценка во многом расходились не только со сложившимся официальным мнением, но и с точкой зрения «поэтов-лейтенантов», утвердившихся в послевоенной литературе благодаря талантам Семена Гудзенко, Давида Самойлова, Александра Межирова, Бориса Слуцкого, Булата Окуджавы и многих других. Их взгляды усилило и разжиривало советское кино, чьи деятели знали войну все же со стороны. Отчетливо стал виден перекоп, переоценка многих гражданских ценностей. Это побудило Михаила Тимошечкина еще в 1961 году написать стихотворение высокого гражданского накала «Меня играют на экране», которое явило пример мужества и смелости автора. Сверхдальновидные редакторы не только не опубликовали эту вещь, но сделали из

нее грозный ярлык, «табу», а творчество Михаила Тимошечкина стало «непроходимым». Этот заговор молчания длился долго. А ведь он только выступил против извращения той самой окопной правды, против наметившейся тенденции к пересмотру и вольной трактовке фактов.

Хорошо, что позицию Тимошечкина правильно поняли поэты-фронтовики Николай Старшинов, Юлия Друнина, Владимир Солоухин, поэты помоложе — Николай Палькин, Николай Благов. Они давали ему общаться с читателем, печатали его стихи в популярных журналах, альманахах, антологиях, в том числе и в знаменитом «Венке Славы», где опубликованы четыре стихотворения нашего земляка. Имя поэта стало известным в стране.

Обидно только, что в Союз писателей приняли его поздно, что сборников его стихотворений издано мало — всего три за шесть десятков лет творческой работы. Благо, что объемистый итоговый сборник вышел к 60-летию Великой Победы и 80-летию поэта.

Об этом сборнике и хотелось бы сказать слова благодарности и восхищения. Книга названа «Печаль и благодать». И хотя впереди стоит слово «печаль», в целом сборник оптимистичен, светел, жизнеутверждающ. Поэт ведет нас через печаль к благодати мира.

О фронтовых стихах Михаила Тимошечкина написано немало восторженных отзывов, многие из них уже стали песнями — высшая ступень признания. Верность правде, цепкая память на детали, на лица, на народное слово, гуманизм и высокое чувство солдатского долга в своей неразрывности ярко выделяют авторское «я» из множества даже самых талантливых поэтов и в то же время — не отделяют от сотен тысяч рядовых солдат великой войны.

Я подвигов в бою не совершал —
С другими рядом я в цепи шагал.
На пыльных шляхах, кроткий волонтер,
Мозоли на ногах до крови тер.
В полях осенних чернозем месил
И грязь — по пуду! — на ногах носил.
На пулеметы белым днем бежал, —
И подвигов при том не совершал.

Не каждый прикрывал амбразуру грудью, шел на таран, ложился под танк со связкой гранат, но каждый солдат той великой войны «землю вращал ногами», свершая невероятно тяжкий труд, проливая кровь, слезы и пот, чтобы общими усилиями сломить, одолеть железного врага и свершить тот общенародный подвиг, имя которому — Победа.

Мерзлая озимь лежит за траншеями,
Свищет над степью картечь.
Воины, воины с тонкими шеями,
Как же вам жизни сберечь?
...Звезды еще никому не присвоены,
Озимь покамест ничья.
Милые, добрые, грозные воины,
С вами шагаю и я.

И вместе с автором таких пронзительных стихов шагаем и мы, его потрясенные читатели. Мы переживаем гибель воинов, вчерашних мужиков-пахарей:

Мать-земля, родная с колыбели,
Мягкую постель им приготовь.
Новые — с иголки — шинели
Теплая пропитывает кровь.

Мы переживаем и за народную певицу Русланову, поющую под бомбежкой для отступающих солдат в суровый 1942 год на станции Валуйки, переживаем за мальчишек, которым бы «еще жить да жить», за расстрел незадачливого сержанта, возжелавшего подкормить своих солдат и ставшего мародером, переживаем за генералов и маршалов. Все это единое победное воинство: «Никакой награды им не надо, // Лишь бы только Родина жила».

И по-человечески понятно, почему автору так дорога правда о войне, почему он не хочет и не может предать подлинных героев, почему выступает против прямой лжи тех, кто сам пороха не нюхал и выдумывает собственную войну:

Смотрю опять: моя винтовка,
Мной пережитые бои.
Но только не моя сноровка
И все манеры не мои.
То я какой-то кислый с виду
И, изменив тем грозным дням,
Не верю, затаив обиду,
Ни командирам, ни вождам.
Но тут же, на переднем крае,
Когда огонь на полстраны,
Витиевато рассуждаю
О негуманности войны.

Просто поражаешься, что это написано еще в далекие 1960-е годы, а не сейчас, когда штрафбаты, заградотряды, особисты-палачи, гуманные трусы, пораженцы и дезертиры стали главными героями кино о войне. Как точно поэт все предвидел. За это его и возненавидели фальсификаторы-перелицовщики.

Живу с эпохой на ножах,
Но не затем, чтоб вызвать драку.
Я за нее ходил в атаку
На героических фронтах.
Учить ученых не берусь,
Но ведь пора и вскрикнуть громко:
Что оставляешь ты потомкам,
Эпохой вздыбленная Русь?
Вступаю с ней, с эпохой, в бой
Отнюдь не ради личной славы —
Рву душу памятью кровавой,
Народа горестной судьбой.

Опять удивляют даты под стихами: 1967, 1979, 1989 годы. То есть еще до той сокрушительной ломки, какую всем нам доведется пережить.

Несмотря на общесоюзную известность, профессиональным поэтом Михаил Федорович себя не считал, говорил, что он поэт-любитель. В этом тоже внутреннее сходство с Твардовским, который не любил, когда его величали поэтом. И тут никакой рисовки нет. Это крестьянский взгляд на литературу, на жизнь, на людей, потом и кровью добывающих свой хлеб насущный и потому знающих ему цену. Вот главное, а стихи, песня — в редкие дни и минуты отдыха от хлеборобских забот.

Мне, например, трудно себе представить, что Тимошечкин мог бы написать такое: «Постелите мне степь, // Занавесьте мне окна туманом, // В изголовье поставьте ночную звезду». Стихи молодого Ярослава Смелякова яркие, талантливы, но они из другого художественного мира, из другого представления о роли Слова. Хотя я беру автора не самого далекого по мировосприятию, по гражданской ответственности от героя моих заметок.

Деревенский человек, поэт крестьянских корней, как правило, стесняется книж-

ной красоты, она выбивается из его духовной гармонии. Оголенная правда, земные детали, нелюбовь к высоким словесам, восприятие той же войны как вынужденной тяжелой и кровавой работы. Можно говорить, что это идет еще от великого «Слова о полку Игореве», где битва сравнивается с молотбой или с кровавым пиром, хотя это тоже не по-крестьянски выпренье. Мне, например, ближе для понимания народного восприятия войны капитан Тушин из «Войны и мира» или шолоховские солдаты, которые сражались за Родину неброско, терпеливо и воистину героически. Свой окоп, своя винтовка, свой котелок, свои гранаты, которые Стрельцов перед вражеской атакой гладит, перекладывает с места на место, стараясь скрыть великое волнение и страх перед смертным, может быть, последним боем. Оплакивание потерянного солдатского кисета в «Василии Теркине», которым прикрывается страшное, непоправимое горе солдата от потери семьи и родимых мест, брань иссеченного осколками Звягинцева в адрес бездушных докторов, прикрывающая невыносимую физическую боль. Такое не придумаешь, такое надо было увидеть, пропустить через сердце художника. Снайперская точность деталей, подсмотренных в жизни и суровая правда бытия, которая встает из этих деталей, поражают читателя.



Михаил Тимошечкин. Военное фото

Великая война нехватна для одного человека, будь он даже гениальным художником. Тут как в притче о слепцах и слоне. Кто что ощупал, то и представил, то и обрисовал. Рядовому Виктору Астафьеву война предстала бессмысленным кровавым месивом, а солдаты — почти неуправляемым пушечным мясом («Прокляты и убиты»), солдаты Андрея Платонова, «одухотворенные люди», и шолоховские солдаты погибают в боях осмысленно, видя в этом свой крест, свою горькую судьбу, понимая, что без смертей и крови врага не одолеть. А одолеть необходимо, ибо враг топчет твою землю, убивает и насилует твоих родных, сжигает твои города и села.

Не шутки шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, бусурманский сын,
Вышел я на смертный бой,
на последний бой.

Вот это ощущение войны как правого дела, как отплаты за поругание было свойственно большинству воинов, оно было основой духовной силы. Потому и победили. И это ощущение проходит через поэзию Тимошечкина о войне. Его солдаты — не слепое пушечное мясо, без каждого бойца «народ неполный», каждый — неотъемлемая частица своего народа.

Не знаю, не желание ли спустя десятки лет увидеть войну с новых позиций — командирских, штабных, а то и с позиций Ставки Верховного Главнокомандования — побудило потом Михаила Тимошечкина заняться краеведческим поиском и летописью военных событий буквально по дням. Ему, видевшему войну из окопа, были и карты в руки. Он хотел проследить, как верховные замыслы воплощались, спускаясь до блиндажей и солдатских окопов.

Краеведческий поиск, в который журналист и учитель истории Михаил Тимошечкин погрузился в последние годы жизни, стал для него главным смыслом существования. И подобное ощущение свойственно не ему одному. Знаменитый Сергей

Сергеевич Смирнов лично разыскал более 400 защитников героической Брестской крепости, восстановил и защитил их честные имена. Самым важным своим делом считали поиск погибших и живых героев войны учитель-краевед из села Новая Капитва Иван Иванович Ткаченко, установивший имена более двух тысяч воинов, погибших в операции «Малый Сатурн», учителя Владимир Семенович Руденко, Василий Иванович Цимбалист.

Я тоже оказался причастен к установлению имен около 150 воинов, погибших за мою деревню Новопостояловку в январе 1943 года. Судьбы этих воинов, их родственников стали частью и меня самого. И я хорошо понимаю Михаила Федоровича Тимошечкина, всей душой ушедшего в эту работу.

Есть краеведение популяризаторское и поисковое. Тимошечкин — краевед-поисковик. Докопаться, установить истину, имена, сделать их достоянием общественности — это так трудно, но зато так радостно.

С чего все началось? Может, с небольшой полемики-краеведческой статьи «Битюцкий розыск» в журнале «Подъём» в начале 1960-х? Потом поиск документов, воспоминаний, установление погибших и живых участников Острогжско-Россошанской операции в январе 1943 года, значение которой было явно недооценено в нашей военной истории. Конечно, занимался этим не только Тимошечкин, но он один из первых. Постепенно вырисовывалась картина воистину судьбоносного крупного сражения за освобождение нашего края от фашистской оккупации. Цифры войсковых потерь с нашей и особенно с вражеской стороны красноречиво говорили о масштабах и значении этой битвы. Но в ней гибли конкретные солдаты («А это были все живые люди»), командиры, похороненные в безымянных братских могилах под обелисками. Надо было искать имена героев. «Никто не забыт, ничто не забыто» — эти крылатые строки Ольги Берггольц и стали девизом для поисковиков-краеведов всей страны в 60-е — 80-е годы прошлого века.

Документальная повесть Михаила Тимошечкина «Вслед за солнцем», вышедшая в Военном издательстве Министерства обороны СССР в 1968 году тиражом в 65000 экземпляров, тоже о боях за Родину. Она о Герое Советского Союза Михаиле Крымоове и его боевых друзьях. Опубликованная в серии «Герои и подвиги», она нашла широкий отклик у читателей, получила высокую оценку критики. Две следующие документальные повести Тимошечкина «Утро офицера связи» о боях за Россошь и «Из пламени подвига» о геройской гибели экипажа самолета-бомбардировщика лейтенанта Михеева, протаранившего вражеский аэродром под Марьевкой, написаны по материалам событий, связанных с Острогжско-Россошанской операцией. Обе повести публиковались только в местной печати и не известны широкому кругу читателей, как и очерки о тех боях в январе 1943 года: «Замыслы и решения», «Удар от Кантемировка», «Бросок к Жилино», «Бой за Михайловку», «Танки — вперед!», «Атака», «Со Сторожевского плацдарма», «Ставка Верховного командования на Воронежском фронте» и другие.

Поисковые статьи Тимошечкина еще ждут своего издания отдельной книгой.

Когда появилась возможность, Михаил Федорович открыл на свои скудные средства газету «Русский фронт», где продолжал отстаивать свои взгляды на Вторую мировую войну, спорил с теми, кто видел в ней лишь гибель миллионов покорных властям солдат и не замечал Великой Отечественной войны, героизма и мужества советских воинов от солдата до маршала.

Десятки лет все свободное время, все отпуска Тимошечкин проводил в Подольском архиве Министерства обороны, в других архивах, перебирал штабные документы, наградные листы военных лет. И возникали имена, имена, имена... Героя Советского Союза танкиста Кобца, летчика Соколова, минюетчика Мелентьева, награжденного за бои орденом Красной Звезды и получившего его спустя сорок с лишним лет благодаря поиску Тимошечкина и ходатайству юных краеведов Новопостоя-

ловской школы. И сколько таких волнующих эпизодов, сколько встреч с живыми героями боев было у воина-краеведа и поэта!

Искренне жаль, что богатейший поисковый материал его до сих пор мало востребован. А как нужна была бы его документальная книга во времена извращения нашей истории, клеветы на нашу армию и ее командующих.

Возвращаясь к книге его стихов, скажу лишь, что более цельного, целеустремленного автора я не знаю. Его краеведческий поиск, стихи, гражданская позиция в отстаивании «чести воинской и правды» — все неразрывно, все бьет в одну точку. Он побуждает нас гордиться своим Отечеством, своим народом, своей историей, учит видеть истинных героев не за морями, а рядом с собой.

Стихов-потрясений, стихов-открытий, стихов-надежд в сборнике «Печаль и благодать» большинство. О родной природе и любви, о родном селе и земляках, о горестной их судьбе, о лжевождях и фарисеях — обо всем поэт говорит ярко, образно и волнующе. После прочтения сборника остается в душе щемящая радость-боль. Гражданской смелости, мужества, воинской прямоты Михаилу Тимошечкину не занимать. «Все сторит, а правда останется». Великие народные слова!

Поэзия Михаила Тимошечкина — ориентир и опора, в которых я не ошибся. Его имя для меня в одном ряду с Твардовским, Рубцовым, Тряпкиным...

В нашей жизни печаль и благодать идут рядом. Не впасть в печаль на трудном пути, верить в благодать грядущего — разве этого мало?





Евгений Карпов

НАШ ХРАМ

ЖИВЕТ В КИЕВЕ ПИСАТЕЛЬ-ЗЕМЛЯК

Однажды на страницах московского журнала «Наш современник» встретилось имя: Евгений Васильевич Карпов. Публиковалась повесть. Сообщались краткие сведения об авторе: родом из Россоши Воронежской области. Поговорил со старожилыми и библиотекарями, но о Карпове, к сожалению, никто не знал. Да это и не удивительно...

* * *

Русскому писателю Евгению Васильевичу Карпову 95 лет. Так сложилось, что в воронежском литературном поле его имя только прописывается. Причины тому — житейские.

Карпов родом из Россоши, если точнее — из Эсауловки, некогда пристанционного хутора. Родился 6 октября 1919 года. Отца потерял в младенчестве. Машиниста бронепоезда Василия Максимовича Карпова расстреляли белоказаки. Мальчишка с сестренкой росли не сиротами. В их доме хозяином стал давний друг отца, тоже железнодорожник Дементий Иванович Иванов. В семье вскоре прибавилось еще два сына. И тут вновь остались без кормильца. Похоронив и второго мужа, мать продала дом, который сохранился и поныне у речки на улице Максима Горького. В 1934 году семья Карповых-Ивановых навсегда покинула родимую Россошь.

Евгений учился, работал. Молодым воевал на фронтах Великой Отечественной. Участник Сталинградской битвы. В 1943 году попал в плен, находился в концлагерях. После войны любовь к слову привела его в Литературный институт имени Горького. Занимался в семинаре известного писателя Константина Паустовского. С дипломом литератора уехал на строительство Сталинградской гидроэлектростанции, где работал арматурщиком, диспетчером, журналистом.

Написал рассказы и повести, из которых выделяется напечатанная в 1961 году в журнале «Роман-газета» полумиллионным тиражом книга «Сдвинутые берега». Она была переведена на польский и чешский языки.

С 1960 года Карпов является членом Союза писателей СССР. Он возглавлял Ставропольскую краевую писательскую организацию. Евгений Васильевич жил на Северном Кавказе, в Подмоскovie, а сейчас он в Киеве.

Пережитое запечатлелось и продолжает (дай Бог здоровья и сил писателю) «переплавляться» в книги. Недавно Карпов завершил работу над итоговыми в своем творчестве повестями — «Гога и Магога», «Все было, как было», «Умом вас, люди, не понять».

— И что бы я ни писал в своих книгах, — признается Евгений Василье-



Евгений Карпов в молодости

вич, — там обязательно духовно в той или иной мере присутствуют мои Россошь и Эсауловка с речкой Черной Калитвой, вечно памятные мне земляки, паровозные гудки над лугом и церковный колокольный перезвон из ближней к нам слободы Морозовки.

В киевском кабинете писателя на видном месте, как оконце в страну невозвратимого детства, — родная сторонка в небольшой картине кисти художника из Россоши Цимбалиста. Покойный Владимир Георгиевич был соседом Карповых.

В Эсауловке (так по-прежнему называется восточная окраина города) старожилы тоже не позабыли хлопчика Женьку.

— Помню, как сейчас, утро, солнце поднимается над речкой, на железнодорожном переезде у моста трубят в горн пионер Евгений Карпов, барабанит его друг Осипов, — рассказала учительница, сейчас она на пенсии, Надежда Ивановна Сердюкова (Бурьян). — Женя первым из Россоши побывал тогда в Крыму — в пионерлагере «Артек», только организованной Всесоюзной детской здравнице. А туда ведь направляли лучших...

Сейчас в Россошанской районной библиотеке создается книжная полка писателя-земляка. Есть посвященная его творчеству выставка. С участием учащихся

техникума-колледжа мясомолочной промышленности прошел литературный вечер. Рассказывали о жизни и книгах Карпова. Прозвучали и строки из письма Евгения Васильевича дорогим землякам:

«...Если идти от станции к Черной Калитве, то слева от переезда пятый дом, говорят, он еще цел, построил в 1912 году мой отец Карпов Василий Максимович. В нем я родился 6 октября 1919 года и прожил до 1934-го. А потом — и по сей день — меня мотало от Сахалина до Германии, от Алма-Аты до Норильска, от Сталинграда до Бреслау — то в военном строю, то под немецким конвоем, то за ключей проволокой, но...

Протоиерей Сергей Булгаков говорил: *«Родина есть священная тайна каждого человека, так же, как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с матерью-землей, и со всем Божьим творением... Моя родина... Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существовании, так, что дальнейшая моя, такая ломаная и сложная, жизнь есть только ряд побегов на этом корне. Все, все мое — о-т-т-у-д-а...»*

Так что, я весь оттуда, где бы и каким бы ни был — из Эсауловки, эсауловец. Я весь ваш. И что бы я ни писал в своих книжках, там обязательно духовно в той или иной мере присутствуют Черная Калитва, Баба Дырдыха, Дид Ягор и благовест из Морозовки.

Побывать бы в Россоши, где лежал в тридцать третьем в тифозной палате больницы, как тогда говорили, на «Пискаках», посидеть над тихой водичкой Черной Калитвы, но, восемьдесят пятый — шутки в сторону.

Низко всем вам кланяюсь, а вы за меня поклонитесь Черной Калитве, дому, пятому от переезда, или тому месту, где он стоял.

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО, МОИ РОССОШАНЕ!

Евгений Карпов.

* * *

Попросил друга зайти к Карпову, поздравить от земляков до недавнего бойца фронтовика с 70-летием Победы. Но Евгений Васильевич не узнал гостя, не смог поднять голову и хоть слово вымолвить.

«Неузнаваемо дышит».

«Жизнь не таких богатырей на Украине сбивает с ног, — объяснял мне в телефонную трубку товарищ. — Мы так ув-

леклись поисками якобы «исторической правды», что, заигравшись с национализмом и шовинизмом, очернив все и вся, лишили людей опоры и разбудили национал-фашизм. Что будет дальше, никто не скажет. Надежды на перемены к лучшему пока не теряем... Именно этим всегда отличался Евгений Васильевич. И в жизни, и в творчестве».

Петр ЧАЛЫЙ
Россошь—Киев

Из «Записок православного христианина»

1. Узенькая, мощенная изразцами дорожка с весело расцветшими по обеим сторонам чернобривцами, ведет в храм Святого равноапостольного Великого князя Владимира. Предстоятель — Блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и Всея Украины. Размещается этот храм в очень небольшом помещении, отведенном ему в 18-й городской больнице, при университете имени Тараса Шевченко.

В стародавние времена девятнадцатого века в университете, как и полагается высшему учебному заведению, был храм, духовно возвышавший студентов, удовлетворявший духовные потребности преподавателей университета.

Во время большевистского безбожия и произвола храм не только закрыли, но и разрушили, растащили...

Слава Богу, ушла из нашей Родины в небытие пора разбрасывания камней и настала пора собирания, пора нового духовного возвышения нашего народа.

Тесно, очень тесно в помещении нынешнего храма. Люди приходят и во время богослужений, и между ними, чтобы поделиться своими домашними бедами или радостями, чтобы обвенчаться любовью с любимым, принять святое крещение. О ком-то надо помолиться о здравии, а о ком-то — за упокой.

Сказать, что храм находится при больнице, будет не совсем верно. Точнее: храм и больница — единое целое.

В стародавнее время говорили: «В здоровом теле — здоровый дух». Но у человека с больным, угнетенным духом даже самая незначительная телесная болезнь часто приводит к тяжелым последствиям, к большой беде, а человеку духовно здоровому дух помогает одолевать, достойно переносить даже большие, неизбежные тяготы. Именно поэтому больница и храм — взаимопомощники. Не только больные приходят в церковь за помощью, но и сам отец Андрей идет к ним в палаты со своей пастырской духовной помощью.

Без такого единства не может быть сильного народа, сильной державы.

Идут в храм бабушки и дедушки, внуки и внучки, профессора и студенты. Многие из них делают свои самые первые шаги духовного рождения и возвышения. Как сказал один мудрый человек, любую машину, даже очень и очень сложную, куда как проще сделать на заводе, чем выстроить, выпестовать душу человека, поднять ее на достойную Создателя высоту.

Все мы, весь наш народ после большевистского безбожного безвременья делаем свои первые шаги возрождения, как больше тысячи лет назад их делал из язычества наш народ, ведомый к крещению, к Православному возвышению Великим князем Владимиром.

2. Речка Рось, она же Росса, Русь — правый приток Днепра, длиною 346 километров.

Всего 346, а история ее берегов, духовная высота необозримы.

Рос — так звался в древности народ, обретавшийся на этих землях.

Россы.

Позже — Святая Православная Русь на челе с Киевом, Православная Россия на челе с Москвой, Ростов Великий, Рославль, Русская Поляна на Украине, Русская Поляна в Сибири, Россошь близ Дона, Русское море...

Неоглядные просторы православия.

На берегах Роси — Корсунь-Шевченковский, основанный Ярославом Мудрым в одиннадцатом веке.

В мае 1648 года казаки, предводительствуемые гетманом Богданом Хмельницким, разгромили здесь польских захватчиков.

В Белой Церкви, основанной в двенадцатом веке, был заключен победный Белоцерковский договор 1651 года.

В 1944-м, в знаменитой Корсунь-Шевченковской операции, Красная Армия наголову разбила немецко-фашистскую группировку — было убито, ранено и взято в плен свыше семидесяти тысяч вражеских солдат и офицеров...

...На крутой горе, над привольным плесом Роси, над небесным зеркалом вечности стоит белоколонная церковь Георгия Победоносца. Ее золотые купола с крестами смотрятся в зеркало вечности, возвышаются до небесной выси, благословляют Господние дали бесконечности...

...Он услышал музыку.

Пение.

Остановился, прислушался.

В соборе пели.

Пение ему показалось знакомым.

Вошел в храм.

Бывал он в соборах Кремля, в Киеве бывал, в Лавре, как в музеях бывал, а тут вдруг — все живое. Огоньки лампад, созвездия свечей. Со стен смотрели тоже живые люди, а не рисованные. И вокруг — молодые и старые женщины в платочках, девочки и мальчики, мужчины — это они пели:

— Отче наш, Иже еси на небесех...

— Да святится имя Твое, — выговорилось в нем.

Вспомнилось: пел! Но когда?!

Этого вспомнить не мог.

Закрыв глаза и долго, очень долго стоял, пытаясь понять, что с ним происходит, что произошло. И самое интересное, он почему-то не удивлялся происходящему... Ему даже показалось, будто это или что-то подобное должно с ним рано или поздно произойти.

Что-то подобное, но что?

Вспомнились слова деда: «Мастера, дорогой внук, работают руками, а ты что-то на язык перешел. Ой, смотри, как бы тебе не потерять нашу родовую, казацкую славу».

3. В Киеве есть место, откуда виден не только весь город, но в ясные светлые дни — и его окрестности, за пятьдесят-шестьдесят километров. Место это — большая колокольня Киево-Печерской Лавры, и если, стоя на колокольне, прикрыть глаза, уйти душою в глубину, то все услышится, увидится отсюда неизмеримо дальше — в пространстве и времени.

Поднялся я сегодня, 29 июня 2003 года, в воскресенье, на колокольню, отсчитав двести тридцать девять ступенек, возвысился над землею, над Днепром.

Православная церковь в этот день торжественно праздновала светлую память всех святых, на земле нашей просиявших.

Произошло в Киеве в этот день и еще одно знаменательное событие...

...Более двух тысяч лет тому назад проходил здешней тропой на север Апостол Андрей Первозванный и сказал пророческие слова об этом святом месте, а сегодня его святые мощи, дух его — в Крестовоздвиженской церкви Киево-Печерской Лавры.

Трое суток, от зари до зари в короткие летние ночи не закрывались двери церкви — шли и шли люди приложиться к мощам великого Апостола, шли просить Его молитв пред Господом о Благодати Создателя для них, грешных.

Смотрел я на живой людской поток, протянувшийся от входных ворот, через всю Лавру к церкви, и мне думалось, что это после семидесяти лет оголтелого безбожия наш народ возвращается в лоно Христовой церкви.

А еще...

Мне хочется вспомнить нашего мудрого писателя, православного христианина Михаила Михайловича Пришвина.

В дневниковой записи за 25 сентября 1918 года он пишет:

«Друг мой, — шепчу я, — не входи до срока в алтарь исходящего света, обернись в другую сторону, где все погружено во мрак, и действуй силой любви, почерпнутой отсюда, и дождайся в отважном терпении, когда голос тайный позовет тебя обернуться назад и принять в себя свет прямой».

(Из книги «Высокое небо»)





*Стихи членов
литературного
клуба
«Малая
Медведица»*

Рис. Алисы Фаст

ЮЖНЫЙ ВЕТЕР

Анастасия Пронина

ПОВЕЛИТЕЛЬ ДОЖДЕЙ

Я хочу быть как он —
Повелитель дождей.
Хочешь — нету дождя,
Хочешь — дождь все сильнее.
Только он нас спасет,
Нас спасет его слякоть.
Видишь, дождик идет?
Все. Теперь можно плакать...

Виктор Балаянец

Учебники, звонки и перемены,
Дежурный у порога: «Ваша сменка?»
Учитель, объяснения, урок —
Все надо, все на пользу — знаю! — впрок.
Но иногда так хочется забыться,
В мечтах своих и мыслях заблудиться,
Отвлечься от привычной суеты,
Чтоб только тишина, покой и ты.
Чтоб только ветра шум и неба проседь,
Чтоб на плече моем дремала осень,
И чтобы вечер, звездами богатый,
Манил бы (мне без разницы...) куда-то,
А утро мудрое дало на все ответ...
Я школьник.
Мне уже 16 лет.

* * *

Уходит осень, рыжая красавица,
Уходит... Но по-прежнему мне нравится:
Какие краски! Глаз не оторвать!
Вот паучок по серебру спускается,
А лист кленовый лужицы касается,
И так легко художнику прославиться —
Увидеть, удивиться, написать...

Валерия Ливерко

* * *

Я себя отдаю, отдают как последний свой вздох.
И не зря меня осень, наверно, за это ругала.
Не поверишь — вчера, изучая в ночи потолок,
Наконец поняла, что тебя мне всегда будет мало.

Может, просто не знаю о шрамах от прошлых обид,
Или просто специально им не уделяю внимания,
Но я знаю, что этот удар наконец-то отбит.
Пусть не полностью... Но я и здесь все ж найду оправдание.

Что тебе я могу предложить — и себя, и любовь,
И какую-то странную, будто собачью, верность.
Только знаю, тебе будет ясно, конечно, без слов,
Что причиной обид будет только одно — моя ревность...

Вот уж редкий мотив — я ее никому не отдам!
Так крутить ею буду, как тешатся дети игрушкой.
Может, редко, но волю все ж буду давать я слезам.
Только так, чтоб не видно — тихонько и молча в подушку.

Я себя отдаю, отдают как последнюю дань.
И плевать, что мне кто-то внушает так нудно: «Опомнись!»
Я готова тебя целовать даже в самую рань,
Даже в полночь, ссылаясь на сон и довольную совесть...

А я даже не знала, что рядом с тобою тепло.
Так спокойно, уютно — всю жизнь бы тебя обнимала!
А я даже не думала раньше, когда-то давно,
Что тебя мне всю жизнь будет все-таки мало и мало...

Вот уж хочется спать и пора бы прервать монолог,
Только мне не дает успокоиться буйная нежность.
Я еще поняла, изучая в ночи потолок:
Мне остыть не дает моя крайняя бурная ревность...

Анастасия Бухинник

Ты был духовным простым человеком,
Любил поэзию, слушал Баха,
Но был погублен ты этим веком
И стал фанатом своих же страхов.

Ты был поэтом. Отличный малый,
Любил ты грезить о чем-то новом,
Теперь ты бродишь такой усталый,
Забыв о том, что творил ты словом.

Тебя испортило это время,
Таких, как ты, я видал уж много,
Теперь ты просто заложник века,
Теперь ты просто создатель слога.

Тебя испортила эта мода
И полки книг, ничего не значащих,
Ушла куда-то твоя свобода,
И ты один из толпы судачащих.

Ты был духовным простым человеком,
Мне жаль, что ты написал не густо,
Ведь был погублен ты этим веком,
И нынче здесь совершенно пусто.

Анастасия Чуйкова

РОССОШЬ — РОДИНА

Светлые, добрые улицы,
Тихие дни напролет.
Ветер здесь южный все кружится,
Ивы к земле нежно гнет.

Липа цветет ароматная,
Спелые яблоки, мед.
Все здесь родное, приятное.
Россошь — где родина ждет.



Николай Николаевич Тимофеев родился в 1939 году в городе Старый Оскол Курской области. Окончил Рязанский радиоинститут. Работал инженером, учителем физики. Литературный и театральный критик. Публиковался в журналах «Юность», «В мире книг», «Подъём», «Литературной газете». Автор радиоспектакля «Русская любовь во Франции» о И.А. Бунине, ряда театральных инсценировок. Живет в Воронеже.

Николай Тимофеев

ЧИСТЫЙ СВЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

(Из творческой истории
Россошанской актерской молодежной студии)

Это было три года назад, в мае 2012 года.

Ах, какая это роскошь —
Ехать в мае в город Россошь
На машине легкой
По дороге полевой.
Небо — бездна. И до дна
Голубая глубина.
А под ней ласкает взор
Зеленеющий простор.

Через три часа серпантинной дороги, то широкой и ровной, то узкой и ухабистой, завершилась эта чудная солнечная увертюра — мы прибыли в Россошь. Мы — это воронежский десант из четырех человек, членов секции критики региональной организации Союза театральных деятелей России. Нас пригласили принять участие в городском празднике, посвященном 45-летию первого народного театра в Россоши. Все мы бывали здесь уже не раз, а кроме того видели спектакли театра РАМС на областных фестивалях народных театров. Явление это давнее, стабильное и в своем роде уникальное не только в пределах Воронежской области, но и России в целом. Много ли вы найдете примеров, чтобы родившийся в бурные сумбурные 1990-е годы в райцентре при обычном Доме культуры обычный поначалу любительский театральный

коллектив не только выжил, но и значительно вырос в последующие годы во всех отношениях и стал основой для появления в нашей области нового профессионального театра...

Загадочная аббревиатура РАМС означает — Россошанская актерская молодежная студия, и появилась она в 1992 году. А в 2010-м на ее основе возник Россошанский муниципальный драматический театр. Так что сегодня к двум театральным городам Воронежу и Борисоглебску с полным основанием следует причислять и город Россошь. Название РАМС и сегодня сохраняется в разговорном обиходе, потому что звучное, ни на что не похожее — и как память о пройденном творческом пути. И хотя студия уже давно переросла в театр, молодежная составляющая здесь по-прежнему преобладает.

Давно знаю и люблю этот уникальный в своем роде коллектив и его руководителей. Впервые был впечатлен им в конце августа 1996 года на областном фестивале народных театров, который по традиции проводится в селе Никольское Верхнехавского района, бывшем имени родной сестры К.С. Станиславского. Оценивать выступления народных коллективов приехали в том году пятеро известных специалистов из Москвы. И члены жюри, и зрители с восторгом встретили выступления россошанцев. Были представлены яркая, фантазийная, веселая сказка-опера «Репка» и глубокий, гуманистического содержания спектакль «Лу и Ворона» по пьесе Л. Устинова. По итогам фестиваля РАМС стал лауреатом, заняв первое место. А по рекомендации столичных критиков был направлен на Всероссийский фестиваль в Калугу, а затем и в Москву. «Репку» представляли в квартирном музее К.С. Станиславского. Интересно, что юная тогда Инна Кривова, исполнявшая роль Репки, стала лауреатом, не произнося по ходу действия ни одного слова. Очаровательной и выразительной предстала зрителям и строгим критикам эта Репка!

У любого созидательного явления,



Евгений Хунгуреев

безусловно, есть имя, отчество и фамилия. Народным театральным коллективом руководят супруги Хунгуреевы — Евгений Кимович и Галина Анатольевна, направленные на работу в Россошь в 1984 году по распределению по окончании Государственного института культуры в Тамбове. За два года до их приезда скончался талантливый организатор любительского театрального коллектива профессиональный режиссер и актер Михаил Мезенев. Он создал его еще в год 50-летия Советской власти, в 1967 году. Театр имел статус «народного» и известность в пределах области. Собственно, эта дата, 45-летие первого народного театра в Россоши, и отмечалась в мае 2012 года. Однако к появлению супругов Хунгуреевых здесь о существовании драматического коллектива остались лишь теплые воспоминания. Пришлось все начинать с нуля.

Вот как рассказывает о начальном этапе деятельности Галина Хунгуреева:

— Поначалу было трудно во всех отношениях. Даже крыши над головой не было. Ночевали в доме культуры на банкетках. Но оба горели желанием создать свой театр, ни на какой другой не похожий. Наряду со взрослой группой стали набирать детскую студию из школьников и студентов техникумов, обучать их азам актерского мастерства. В начале девяностых, когда рухнула вся государственная вертикаль, театр оказался



Галина Хунгуреева

никому не нужным. Спас ситуацию счастливым случаем. Нелли Митрофановне Петуниной, которая руководила вокальным коллективом в доме культуры, потребовались драматические артисты. Итогом сотворчества стала яркая, веселая сказка-опера «Репка». Вслед за «Репкой» начали появляться спектакли как для детей, так и для взрослых. Для детей — «Пушинки от одуванчиков», «Колобок», «Бука»... Для взрослых — «Сон дождя», «Река на асфальте», «Только ты звезда в небесах моих...» (по Т. Уильямсу)...

* * *

В мае 2012-го мы стали свидетелями своеобразного творческого отчета коллектива. Вот небольшой фрагмент впечатлений тех дней.

Под звуки веселой торжественной музыки на сцене появляется пестрая компания в костюмах комедии дель арте: Арлекин и Пьеро, Коломбина и Зербина, Панталоне и Бригелла. А за ними — трехметровый Великан, из-под просторных одежд которого изящно выпархивает прекрасная Мельпомена. А рулит всей этой озорной компанией актриса в костюме Джокера.

Итак — лицедейство начинается!

Персонажи представляются зрителям, затевают споры между собой, из которых выясняется: все они сошлись на этой сцене, чтобы напомнить зрителям в зале творческую историю РАМСа. Озвучиваются названия спектаклей, и тотчас появляются персонажи поставленного пьеса: Маленький принц и его спутник Лис, Кай и Герда, Колобок, Бука... И, конечно, действующие лица спектаклей для взрослой аудитории: совершенно замечательные «Помещик и его ангелы» по пьесе Н. Некрасова «Осенняя скука» с безусловно талантливым Сергеем Садовниковым в главной роли, яркие сатирические персонажи спектакля «Хорошие люди» по рассказам А. Аверченко и Н. Тэффи, в котором заняты более 20 исполнителей, герои антиромантической комедии Л. Петрушевской «Любовь»... Артисты разыгрывают эпизоды, а зал то хохочет, то взрывается аплодисментами. В общем — ярко, озорно, театрально!

Концерт длился двое суток — в субботу и воскресенье. И несмотря на прекрасную сухую солнечную погоду, как бы предназначенную для земледельческих работ, зал на 250 человек в доме культуры железнодорожников на окраине города был почти полон.

* * *

И тут самое время обратиться к проблемам, которые испытывает замечательный творческий коллектив. С надеждой на помощь в решении этих проблем и появился в минувшем апреле в Воронеже главный режиссер РАМСа, а точнее — Россошанского драмтеатра, Евгений Хунгуреев. По старой памяти он заглянул в Кольцовский театр, и мне довелось с ним побеседовать — о прошлом, настоящем и будущем...

— Евгений Кимович, вы с Галиной Анатольевной уже 30 лет занимаетесь любимым делом в Россоши — ставите спектакли, руководите театром. Что сделано за это время, если подвести предварительные итоги?

— Главное достижение всем известно. В конце 1980-х при районном доме культуры любительский театральный коллектив насчитывал всего несколько человек. Такой имеется почти при любом ДК. А теперь вот мы имеем статус муниципального театра. В нашем штатном расписании сегодня 13 человек. Шесть ставок артистических, а кроме того — завпост, художник по свету, звукорежиссер, руководитель вокального отделения. Я совмещаю должности художественного руководителя и главного режиссера. Галина Анатольевна — директор театра и режиссер. Но это все, так сказать, техническая и организационная сторона дела. Главное, конечно, творчество. За прошедшие годы в репертуаре РАМСа появилось более 60 спектаклей для зрителей всех возрастов. Главное, на мой взгляд, что через наш театр, наши студии прошли сотни человек. Ведь мы делаем акцент на молодежь. Недаром утвердилось наше название — актерская молодежная студия.

У нас довольно сложная структура. Есть артистическая студия для молодежи старшего возраста. В ней студийцы — студенты Россошанского филиала Воронежского экономико-правового института, студенты техникумов, школьники старших классов. Есть детская студия, в которой занимаются дети от 10 до 15 лет. А есть еще вокальная студия, которой много лет руководила наша «Репка» Инна Кривова. В целом в системе РАМСа ежегодно творчески воспитываются 60-70 человек разных возрастов, в основном молодежь и школьники. При этом у нас выработались определенные этические и эстетические принципы, которыми должен руководствоваться человек, занимающийся искусством. Большинство студийцев участвуют в спектаклях наравне с артистами. Например, в спектакле для детей от 5 до 15 лет «Принцесса на горошине» занято более 20 человек. Там участвуют юные студийцы — поют и танцуют. А сколько жителей Россоши и окрестных сел были нашими зрителями! Так что для такого промышленного

города, как Россошь с населением более 60 тысяч человек, наш театр, наши студии — явление явно облагораживающее.

За прошедшие три десятка лет проявилась тенденция преемственности поколений. Начиная с нами в 1980-х давно стали взрослыми и приводят в студии уже своих детей. А некоторые связали с театром целую жизнь. Лариса Ткачева пришла к нам в 14 лет. Сегодня она ведущая актриса и по совместительству заведует постановочной частью, является костюмером. По специальности бухгалтер, она ведет все наше делопроизводство.

Магия театра непредсказуема. Она, видимо, в генетике человека. Вот, например, Сергей Садовников. Работает оператором «Водоканала». У нас на полставки артистической. Удивительной пластики человек! У нас уже восемнадцать лет. Он так играет главную роль в спектакле «Помещик и его ангелы» по пьесе Н. Некрасова «Осенняя скука», что вот уже многие годы мы держим эту постановку в репертуаре, постоянно обновляя и совершенствуя ее с новыми неглавными исполнителями. Или вот Артур Ктеянц — писатель, поэт, интеллектуал. Тоже оператор «Водоканала». У нас имеет полставки артиста.

— А есть примеры, когда ваши студийцы выбирают профессию актера, поступают в театральные вузы?

— Конечно. Таких уже восемь человек. В их числе мои дети — Маргарита и Захар. Захар, начав учиться в Воронежской академии искусств, в итоге закончил в Москве институт кинематографии и сегодня снимается в фильмах. Маргарита, ныне москвичка, подала идею, поставила и великолепно сыграла главную роль в интересной психологической драме «Только ты звезда в небесах моих...» по пьесе Т. Уильямса. Наш бывший студиец Антон Стреляев в этом году заканчивает ВГИК. Руслана Кузив обучает юные таланты хореографии в студии экспрессивной пластики «Маска». Некоторые выпускники РАМСа к сегодняшнему дню имеют яр-



Сцена из спектакля

кую биографию, достойную отдельного повествования. Бывшая «Репка», Инна Кривова, жила и гастролировала в Италии, участвовала в фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо. Потом вернулась в Россошь. Много лет руководила вокальным ансамблем «Диапазон» в открывшемся недавно прекрасном районном Дворце молодежи. Буквально месяц назад снова уехала в Италию. Прощедшие школу РАМСа работают сегодня в театрах Москвы, Петербурга, Екатеринбургa, Тамбова, Воронежа.

— **Я знаю, у нынешнего Россошанского драмтеатра немало нерешенных проблем, которые накапливались годами и которые мешают ему быть профессиональным театром во всех отношениях. Каковы эти проблемы сегодня?**

— Дело в том, что у нас до сих пор нет своего здания. Мы все годы существуем на правах квартирантов. В 1990-е размещались в районном доме культуры и были лишь одним из его подразделений, на уровне кружка самодеятельности. В районном ДК таких кружков много, и существует определенный график их работы, размещения и т.д. Хорошо было, что этот дом культуры находится в центре города. Сегодня мы, в качестве

опять же квартирантов, в ДК железнодорожников, на краю города, куда проблематично попасть, особенно вечером, не только зрителям, но и нашим артистам. У дома культуры свои планы, кружки, мероприятия. Сегодня собрать и разобрать спектакль, построить декорации, установить свет, звук и прочее требуется иногда от 4 до 7 часов. Сделать все хорошо и вовремя можно только при условии, если ты вполне располагаешь помещением. Вопрос о своем помещении для театра в Россоши не только назрел, но и перезрел.

Руководство и района и города много лет обещает решить нашу проблему. Но пока не очень получается. Хорошо, что за последние пять лет увеличили количество ставок — от 5 до 13. А недавно выделили нам цокольный этаж Молодежного центра площадью 220 квадратных метров. Он находится в центре города. На деньги, заработанные от продажи спектаклей, мы сделали эскизный проект и смету на реконструкцию помещения. Теперь нам требуются средства на эту самую реконструкцию. Собственно, за тем я и приехал в Воронеж — просить помощи в осуществлении нашего проекта. Мы планируем сделать современную камерную сцену с залом на

50 мест и всеми необходимыми для театра помещениями.

— **Знаю, в Россоши немало довольно богатых организаций, которые вполне могли бы быть спонсорами театра...**

— Есть такие, которые, по возможности, помогают. Но это далеко не самые богатые. Например, местное ТВ «Тетрагон» является нашим постоянным информационным спонсором. Помогает нам ООО «Дельтапак» (руководитель В.Т. Дорошевский), помогает Ремонтно-монтажное управление. Свадебный салон «Мрия» (руководитель В.Н. Гура) предоставил нам как-то 60 платьев для наших спектаклей...

— **А каковы ваши ближайшие творческие планы?**

— Недавно, в феврале, состоялась премьера по новелле Л. Енгибарова. Спектакль называется «Немного доброты холодной серой осенью». Инсценировку сделала Галина Анатольевна. Ее же музыкальное оформление. Она же работала и как режиссер. А всю постановку я завершил. Сегодня это самый востребованный спектакль в нашем репертуаре. Зрители в финале долго аплодируют стоя. Сейчас я готовлюсь ставить спектакль по рассказам Бориса Васильева «Пятница» и «Ис-

чезнувшие». О тех, кто погиб на войне, и кто, пережив ее, сегодня уходит из жизни. Это — к 70-летию Великой Победы.

* * *

Уже в начале 2000-х стало понятно, что в лице супругов Хунгуреевых мы имеем прекрасных режиссеров, подвижников с отличным вкусом и мастерством, а лучшие постановки в то время народного театра не уступают некоторым профессиональным. Кстати, недавно появились почетные звания областного масштаба. Создав из ничего профессиональный театр в почти сельской глубинке, работая три десятилетия и поныне в примитивных условиях, Галина Анатольевна и Евгений Кимович Хунгуреевы до сих пор не были по достоинству отмечены. А ведь оба они заслуживают большего...

Когда мы были в Россоши, я обратил внимание на Книгу отзывов и пожеланий, расположенную в фойе дома культуры. Одна из записей в ней гласила: «РАМС» — чистый свет в нашей жизни. Город должен вами гордиться и помогать».

Я бы тоже поставил свою подпись под этим высказыванием.





Иван Дмитриевич Харичев родился в 1941 году в селе Старая Калитва Россошанского района. Окончил историко-филологический факультет Воронежского государственного университета. В течение сорока лет работал в сельских школах. Публиковался в газетах Россоши, Воронежа, журнале «Подъём». Живет в селе Старая Калитва.

Иван Харичев

КАЛИТВА — У ПОРОГА И ОКРЕСТ

(Страницы летописи
старейшего придонского села)

Удивительна история старейшего в округе донского села Старая Калитва. В государственных документах оно числилось слободой, городом, уездным и заштатным, а нынче — селом. Любовь к родному краю подвигла учителя-краеведа Ивана Дмитриевича Харичева сложить в книгу «Калитва» страницы летописи о селе и его жителях, чтобы их дела оставались в памяти потомков. Ведь в судьбе села — судьба Отечества, которую надо знать каждому из нас. Чтобы быть помнящими свое древнее славянское родство.

Своим расположением Старая Калитва похожа на осеннюю паутинную сеть. Так мне рисуется образ села с причудливо вилюжистыми овражными подгорными и нагорными улицами по ярам и крутогорам. На центральной Базарной площади — памятник и братская могила воинов и мирных жителей села, погибших в годы гражданской войны и Великой Отечественной 1941 — 1945 годов. Здание поселковой администрации, Дом культуры с библиотекой, почта и магазины. Есть молитвенный дом. Планируют предприниматели Кухтенковы на месте Поклонного Креста возвести деревянную церковку, благоустроить территорию.

По названию площади, прилегающую часть села поименовали Базар.

В балке Тупка от Липова яра до Крейдянки занял место Барлог. В украинском языке это слово означает большую грязную лужу, в которой, возможно, в стародавние времена не жили дикие кабаны. Сейчас подобную картину трудно представить. Ведь в укрытом от степных ветров укромном месте веками живут люди, рядом широкий яр, где пасут лошадей, коров и овец. По рассказам старожил, в 1917 году донской разлив дошел до самой Крейдянки, и там было самое богатое рыбное место для ловли сетями.

Жителей отвершков и склонов Липова яра калитвяне называют липовцами, а часть села — Липовка. Струился здесь родниковый ручей и росли могучие липы. Но давно уже нет ручья и лип, а название сохранилось.

Улицей до самого Дона раскинулась часть села, известная под именем Подгоряна. Огороды и сады на плодородных почвах. Густо стояли хаты, наполненные детворой.

Многолюдное население Барлога и Подгоряны было объединено в колхоз имени Степана Разина. В настоящее время здесь более двадцати домов, в которых живут одинокие старики и дачники. Остальные бесхозны или порушены. На душе камень: больно смотреть на родную улицу, на бугры, зарастающие бурьяном, и Тупку в зарослях диких кленов-самосевок.

Когда-то на пожизненную и наследственную службу из «вольных людей» набиралось стрелецкое войско. Служили в Москве и гарнизонах окраинных городов. А Калитва в начале восемнадцатого века была пограничем. По рассказам, у озера Подгорного на взгорье подразделение Ивана Чупахи охраняло здешнюю территорию. Потомственный стрелец двухметрового роста и непомерной силы погиб в сражении с кочевниками.

Крутогорье и склоны в ту пору были заселены и названы — Чупаховка. Мало кто помнит сейчас старое название, большинство эту часть села называют «Победа» по имени колхоза.

Две женщины попросили остановить автобус. Не без удивления водитель спросил: «А где вы живете?».

— В ярке. По дороге вниз — и дома.

На дне широкого оврага облюбовали себе местечко слобожане. Церковь и магазины недалеко, на левады и к озеру Подгорному рукой подать. Нарезали участки земли, построили жильё и назвали улицу — Яровая, а часть села — Яр...

ОЗЕРА СТАРОРЕЧЬЯ

В донской пойме, у изножья села, много озер. Ближняя к Старой Калитве — цепь озер, оставшихся от старого русла Дона: Приступино, Подгорное, Поганчик. Они соединялись ериками и протоками между собой и Доном.

Дамба и водозабор химического завода перекрыли природное движение воды во время разливов. Исчезли озера староречья Тимошина Яма, Холодное, в бедственном положении Приступино. Первое название получило по фамилии владельца, разводившего на озере гусей и уток.

В детстве пугали нас, непослушных мальчишек, огромным сомом на озерной яме, который уток и гусей проглотить мог... Поймали «разбойника», везла его лошадь на бричке, хвост по земле тянулся.

Озеро Подгорное в полном смысле слова раскинулось под горой, за ним пойменный луг.

Поганчик — плохая вода, плохая рыба. По-калитвянски: «пагана рыбка, та пагана и юшка».

ЛЕСНЫЕ И ПОЙМЕННЫЕ ОЗЕРА

Живописны лесные озера левобережной поймы Дона: Короб, Подпольное, Песчаное, Стародонье, Желтое, Красное... Они заполняются вешними водами реки во время весенних половодий. Колебания глубин от одного до трех метров, а яма на Коробе — до двенадцати метров. Здесь илистое дно, береговые заросли камыша, рогоза, куга остролиста, осоки, кувшинок и лилий. Озера

питаются родниковой, дождевой и талой снеговой водой. Цвет воды зависит от цвета кореньев и размокших осенних листьев. Эти озера имеют продолговатую и округлую форму.

По рассказам стариков: «Короб в лесном окружении, как в коробке». Подпольное — название характеризует географическое расположение озера, — около поля, ниже его.

У Старой Калитвы на заливных лугах наиболее известные озера: Волчье, Жабино, Куговатое, Кривое, Каменное, Плоское, Хрещатое, Чернобыльное. Хрещатое — озеро «с разветвлениями, имеющее развилки, отвершки». Озера в окружении зарослей лозы, ивы, вербы, куги, осоки. Многие из них летом пересыхают.

ЖДАНОВСКИЕ ПРУДЫ

Призывный лозунг: «Колхозники, стройте пруды и водоемы!» был одобрен широкой общественностью Калитвы. Балку Правой Тупки, в хвостике Малого Мышенского решили запрудить. Возвели земляную плотину. Многоснежная зима и дружная теплая весна позволила быстро наполнить водоем. Плотина не выдержала, и бурный поток двинулся на Калитву. Так и получилось, что пруд построили на свою беду. Сохранилась полуразрушенная плотина, а урочище так теперь и называют «У пруда».

Старый пруд у бывшего хутора Топило больше похож на лесное озеро в живописной балке у самой опушки Большого Мышенского леса. Вековые дубы смотрятся в зеркало воды, а бережки обросли осокой и рогозом.

Малый прудик за бугром в естественной родниковой ложбине зарос камышом и вербами. Из земли бьют ключи. Здесь же был срубленный колодец, к которому тянулись тропинки от хуторских дворов.

В прудах рыба немудреная, мирная — карась. Прудовое мелководье и малокормица замедлили у карасей рост. На поплавочную удочку можно наловить карасей-лилипутов, которых рыба-

ки зовут «пятакми». Иногда клюет сазанчик.

Много здесь зеленых жаб и лягушек, с глазу на глаз встречался я с простоватым и открытым взглядом ужа и кроваво-красными глазами черной гадюки.

В безлюдный день на степных прудах, на полевых болотцах можно встретить цаплю-кочевника, степную утку огарь, чирков, быстрокрылых ласточек. В недавние годы наши места облюбовали аисты... Есть вода — есть жизнь.

Прудовое хозяйство колхоза «Победа» при председателе Александре Павловиче Жданове увеличилось. Были построены два пруда в вершине Липова яра, в Грушках, в Топило, подновлена плотина в Молошниках.

Чиста вода донских родников, как девичья слеза, вкусная и холодная, что зуб ломит, а чай пить — не напьешься. Присядешь на корточках к роднику, почерпнешь ковшиком, и утолишь жажду в жаркий полдень. А ключ выбивает водицу, и искрится она в солнечных лучах своей чистотой, а на дне родника можно разглядеть каждый камушек. Добрый человек оставил частицу сердца, обустроивая родник.

БУГРЫ, ОБОЖЖЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Живописна донская пойма у Калитвы. Остроумны и точны названия мест. Например, Танковый ров, урочища Гусевница, Куточек, Кушталовы вербы, Паром, Почтарское, Соловей... В донском левобережье — Медвежья и Чалая поляны. Неспроста их называли так, живут в этих именах легенды, бывальщина, выдумки, побрехушки. В беседах со стариками можно услышать загадки и шутки, затаившиеся в названиях.

Поэт Станислав Сериков писал:

Большим и малым поселениям
Давал названья человек.
То брал приметы у природы,
То бытовые брал слова,
И возникали — Сошки, Броды,
Двуречки, Сёлки, Калитва.

В старокалитвенской округе в результате выселки жителей сел и слобод

возникли хутора. Некоторые переросли в села, другие исчезли.

Кулаковка стала селом. Расположено оно на берегу Дона. Возникло в 1780 году как хутор. Назван по фамилии первопоселенца Кулакина. Часть села местные жители называют — Керсон. Слово довольно близкое к Херсону. Неудивительно, что оно перекочевало в наше Придонье вместе с украинскими черкасами. Украинско-белорусские фамилии распространены в наших селах и среди росошанцев — Живолуп, Толстун, Руденко, Дорошенко, Павленко, Вернигорovy, Кульбацкие, Долголевы, Кривонос... Удивительны названия кулаковских урочищ: Вылындык, Пристены, Коловерть, Джугивка, Пыризнэ, Хиврина... Имена древние, но память поколений сохранила их. Урочища эти в донском набережье: Вылындык — пляж в конце села, Пристены — гора возле Вылындыка; Коловерть и Джугивка — скопление оврагов у Пристен и Лысой Горы; Пыризнэ — холм, разделяющий поля; Хиврина — донская пойма в начале села, названа по имени помещицы земли, помещицы Хевроньи.

Во второй половине XIX века число жителей в Кулаковке значительно выросло, но для церковного прихода было мало. Упросили калитвян пожить во время переписи населения в хуторе. Хитрость удалась, и в 1856 году здесь была построена деревянная Никольская церковь.

В 1930 году образовался здесь колхоз «Оборона». В хозяйстве было развито полеводство, животноводство, овощеводство, пчеловодство и огородничество.

В селе была начальная школа, почтовое отделение, медпункт, клуб, магазин.

В 1959 году Кулаковка вошла в состав колхоза «Победа».

В 2011 году в селе — 65 дворов с населением 160 человек. Территория входит в состав Старокалитвенской администрации.

Кулаковка — родина доктора биологических наук Татьяны Михайловны

Решетниковой, кандидата технических наук Павла Алексеевича Мозгового, кандидата химических наук Валентины Васильевны Худиной.

Лощина — село на левом берегу реки Черная Калитва. Названо по природным особенностям местности. Лощина — низменная впадина, долина. Основано выходцами из Старой Калитвы в 1924 году.

По данным 2011 года в селе жителей 412 человек и 131 двор.

В настоящее время село Лощина входит в Старокалитвенскую администрацию, здесь производственный участок сельхозпредприятия «Берег».

Хутор Мирошников — находился в вершине балки Левая Тупка. Образован выходцами из Кулаковки и украинскими переселенцами в начале XX века. Назван по фамилии первопоселенца. Входил в состав колхоза имени Чапаева. Распался в пятидесятые годы прошлого века.

Хутор Рогожин старожилы Калитвы называли Рогожиной деревней. Размещался на отвершке балки Правая Тупка, в раскохе степного оврага. Полею проходила дорога из Старой Калитвы на Карабут. В 1910 году родным братьям Михаилу, Николаю и Федору Сакардиным выделили эту землю для поселения.

В толковом словаре С.И. Ожегова рогожка — белая толстая и редкая ткань с негладкой поверхностью. Возможно, по одежде поселенцев из рогожиной ткани хутор назвали Рогожиным. Проживало в нем более десятка человек. В коллективизацию вошел в колхоз имени Чапаева. Жители хутора переехали в Старую Калитву. Колодец, выкопанный ими, называют Рогожкиным, а поля — Россохвата и Рогожино.

Солонцы и Ясный — послереформенные стольшинские хутора, основанные в 1906-1910 годах. Хутора-соседи — недалеко от Лощины, у леса Сруб на солончаковых почвах. Происхождения названий понятно. В Солонцах и Ясном было до сотни жителей. Во время коллективизации организован колхоз, трижды менявший название — «Красная Звезда»,

«Семнадцатый Партсъезд», «Заря коммунизма». Начиная с 1959 года, хутора распались. Большинство жителей разъехались в соседние села.

ЛЕСНОЙ ОКРЕСТ

Старокалитвенские небольшие леса и лесочки по пальцам можно пересчитать: Буерачные от первого по шестое в Кулаковке, Большой, Малый и Средний Мышинские, Круглик, Озероватое, Панское, Провалье, Панский Лужок, Пойменный лес Задонья, Тополевая роща (Сокорки). Рукотворный сосновый бор на песчаных дюнах в излучине Дона сгорел в засушливое лето 2010 года. Названия лесов носят частично описательный и частично переносный характер происхождения.

Мышинское — лес под крутогором и на крутогоре бугра, холма. Панское и Панский Лужок — по украинскому обращению «пан». Панское принадлежало помещице Ксении Величко. Панский лужок потерял во времени слово Панский, но сохранил название Лужок.

Бугры, обожженные войной, врачуют время и люди. Степное лесоводство преобразовало донскую степь в обширные поля, в плодородный край. Государственные полевые полосы прошли донским побережьем до его впадения в Азовское море. Желтеют нивы вблизи дубрав, в клетках лесных полос. Зреет богатый урожай. И всюду — жизнь.

КАК ЗОВУТ ТЕБЯ, ПОЛЮШКО?

Более двадцати названий полей хранит людская память. Не удержался и записал полевой алфавит. Грушки, Глыбоке, Дьяконово, Дорошева, Западня, Зрубы, Крейдянка, Майданы, Молошники, Петриково, Прогин, Расщепы, Разрожное, Рогожино, Россохвата, Свинуха, Сорочье, Смолына, Хиврина, Чаячье, Шпыль, Ясыновы...

Названия полей носят описательный характер с учетом местности и растительности.

Владельческие земли — в одном названии — овраг, берег Дона, поле. Дьяконово, Дорошева, Петриково, Рогожино, Хиврина — названы по фамилиям.

Свинуха — Гадюче. Об этом отдельной строкой. В то время излучина старого Дона, соединенная неглубокой протокой образовала остров. На нем водились дикие свиньи, а по оврагам и в поле гадюки. Так и дали урочищу два названия.

Советская и коммунистическая атрибутика просматривалась в названиях колхозов: имени Чапаева, имени Степана Разина, Красная Звезда, Зажиточный, Заря Коммунизма, Оборона, Семнадцатый партсъезд, Победа.

* * *

На необъятных просторах России села — это целый мир со своей историей и культурой, людьми. Селянам есть, чем гордиться. Главное, чтобы не зарастали тропинки памяти, чтобы длилась эта жизнь. Проникновенные строки о селе написал поэт Николай Дмитриев:

Не исчезай, мое село, —
Твой берег выбрали поляне.
И ты в него, судьбе назло,
Вцепись своими тополями.
Прижмись стогами на лугу
И не забудь в осенней хмари:
Ты будто «Слово о полку...» —
В одном бесценном экземпляре.
Вглядись вперед и оглянись,
И в синем сумраке былинном
За журавлями не тянись
Тревожным и протяжным клином.
Твоя не минула пора,
Не отцвели твои ромашки.
Как ими, влажными, с утра
Сентябрь осветят первоклашки!
Послушай звонкий голос их,
Летающий празднично и чисто,
И для праправнуков своих
Помолодей годков на триста...





*Алексей Сергеевич Де-
вятко родился в хуторе
Чернышевке Россошанского
района Воронежской обла-
сти. Окончил Воронежское
областное культпросвету-
чилище, исторический фа-
культет Воронежского госу-
дарственного университе-
та. Печатался в региональ-
ных и федеральных СМИ, в
коллективном сборнике
«Слобожанская тетрадь».
Основатель и хранитель
сельского краеведческого
музея. Живет в селе Лизи-
новка Россошанского района
Воронежской области.*

Алексей Десятко

РЯДОМ С ДРЕВНОСТЯМИ

(Необычные экспонаты из сельского музея)

Дети украинцев-слобожан начинали позна-
вать историю своего края, можно сказать,
«з самого пупышка» (с раннего детства).
Когда в украинской семье рождался ре-
бенок, счастливый отец подвешивал к
винченному в «стэлю» (потолок) кольцу
«колыску» (люльку), где малыш и про-
водил свои первые годы жизни.

Кроме лица матери, он постоянно видел над со-
бой побеленный меловым раствором потолок.
Мел или «крэйда», как его еще называют
слобожане, и есть тот древнейший в исто-
рии земли материал, сложившийся из
обитателей древнего моря и отходов их
жизнедеятельности. Материал, без кото-
рого не обходились прежде славящиеся
своей чистоплотностью украинки, вы-
беливающие снаружи и изнутри свои
хаты-мазанки.

Если взять кусок обыкновенного мела, то за-
метить в нем невооруженным глазом
останки каких-то живых существ не-
возможно. Однако в меловых оврагах,
в осыпях можно найти и довольно круп-
ные составляющие доисторических
морских животных. При обследовании
близлежащих к селу балок и оврагов
мне посчастливилось найти створки ра-
ковин, размер которых достигает 6 сан-
тиметров. Среди них четко выделяются
4 разновидности моллюсков.

Хорошо известные с детских лет «пацын-паль-



Белемниты (вверху)
и окаменевшее дерево

ци» — чертовы пальцы (у местных жителей слово «пацюк» имеет двойное значение — черт и поросенок), бывают в длину по 10 и более сантиметров. Они служили нам игрушками и использовались в народной медицине — наскобленным с них порошком слобожане посыпали ранки, порезы, заменяя им аптечный стрептоцид. Да и сейчас некоторые диабетики посыпают белемнитовым порошком трофические язвы.

Окаменевшие родственники современных кальмаров — белемниты привычной пулеобразной формы на меловых и белоглинных обнажениях не редкость. Но мне попался один представитель этих древнейших моллюсков необычной формы, расширяющейся в месте одной трети длины не к острой, как у пулеобразных форм части, а к тупой. Похоже, что это какая-то особая разновидность тогдашних родичей кальмаров.

Впервые попались на глаза и разнокалиберные мини-белемниты с законченной веретенообразной формой толщиной от 5 миллиметров. Скорее всего, это кальмаровая детвора.

В 1970-х годах в песчаном карьере на западной окраине Лизиновки экскаватор поддел ковшом ствол огромного дерева. Как определил районный лесничий, это была разновидность сосны из древнейших пермолесов, которые состояли тогда из хвойных пород деревьев. Когда они падали по каким-то причинам в воду, то сначала подвергались нападению червей (хорошо видны их ходы), а потом постепенно минерализовались, становясь уже стволами каменными. Их присутствующая деревьям текстура сохранялась, но даже щепка размером с ладонь бывает довольно увесистой.

Долгое время эта находка считалась исключительной, но когда я объехал окрестные балки, оказалось, что фрагменты окаменевших деревьев от 1-2 см до кусков в 20-30 см или сучьев можно найти повсюду, хотя и не на каждом шагу.

В этом же карьере, когда его уже закрыли, при просеивании ситом камешков из разделявшего белый и желтый пласты песка, я добыл... зубы. Зубы каких-то ископаемых животных. Самый крупный из них у корня длиной 13 мм, длина зуба от корня до острой части — 10 мм. Остальные разнокалиберные зубы с несколько иной формой кор-

ней и соответственно самих зубов, что позволяет предполагать, что они принадлежали другим разновидностям ископаемых животных.

Самой большой загадкой для меня стала находка фрагментов, как я полагаю, скорлупы яиц каких-то древнейших яйцекладущих животных, возможно, даже динозавров. Эти фрагменты покоились на глубине примерно в один метр в толще песка и мела, которые обнажил бульдозер, сгребая вер-

хний слой грунта. Именно на этой расчищенной поверхности и были обнаружены скорлупки.

Слегка вогнутая форма и толщина стенок в 3 мм указывают на то, что в первоначальном виде это было, очевидно, яйцо значительного размера и такого же белого цвета, как у многих современных птиц и рептилий.

Вот такие интересные находки хранятся теперь в нашем краеведческом музее.



Департамент культуры и архивного дела Воронежской области

**Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области
«Журнал «Подъём»**

Директор-главный редактор Щёлоков И.А.

Редакция вступает в переписку только с авторами, материалы которых приняты к публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Авторы присылаемых материалов обязаны сообщить редакции: домашний адрес с почтовым индексом; день, месяц, год своего рождения; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; банковские реквизиты (название местного банка) СБ РФ: корсчет, БИК, расчетный счет, ИНН; в назначении платежа указывается номер филиала и лицевой счет клиента.

Редакция убедительно просит авторов присылать электронную версию своих произведений с обязательной распечаткой текста. Рукописи без распечатки не принимаются. Параметры набора: 14-й кегль через 1,5 интервала, отчетливо читаемый.

**Корректор Кобелева Л.В.
Компьютерная верстка Вовчаренко И.К.**

Адрес редакции: 394036, г.Воронеж, пр.Революции, 3а.
Телефоны: директор-главный редактор — 253-14-50, заместитель директора-главного редактора, ответственный секретарь, отдел поэзии — 253-11-28, отдел прозы, производственный отдел, корректор — 253-11-34, бухгалтерия — 253-13-77, отдел верстки — 253-14-09.
Факс: 253-11-34.

Электронная почта: podiem@mail.ru
Сетевая версия журнала «Подъём»: <http://www.podiemvrn.ru>
Электронный архив журнала с №1, 2001 г. по №6, 2008 г.: <http://www.pereplet.ru/podiem>
Журнал «Подъём» зарегистрирован в Минпечати РФ.
Свидетельство № 331 от 03.10.1990 г.

Рассылку журнала осуществляет цех экспедирования печати Воронежского главпочтамта: 394068, г.Воронеж, ул.Лизюкова, 2, ЦЭП.

Во всех случаях полиграфического брака в журнале обращаться в ОАО «Воронежская областная типография — издательство им. Е.А. Болховитинова».

Подписано в печать 03.06.15. Формат 70x100¹/₁₆. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,12.
Тираж 1600 экз. Заказ

Отпечатано с готового оригинал-макета в ОАО
«Воронежская областная типография —
издательство им. Е.А. Болховитинова»:
394071, Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73а.